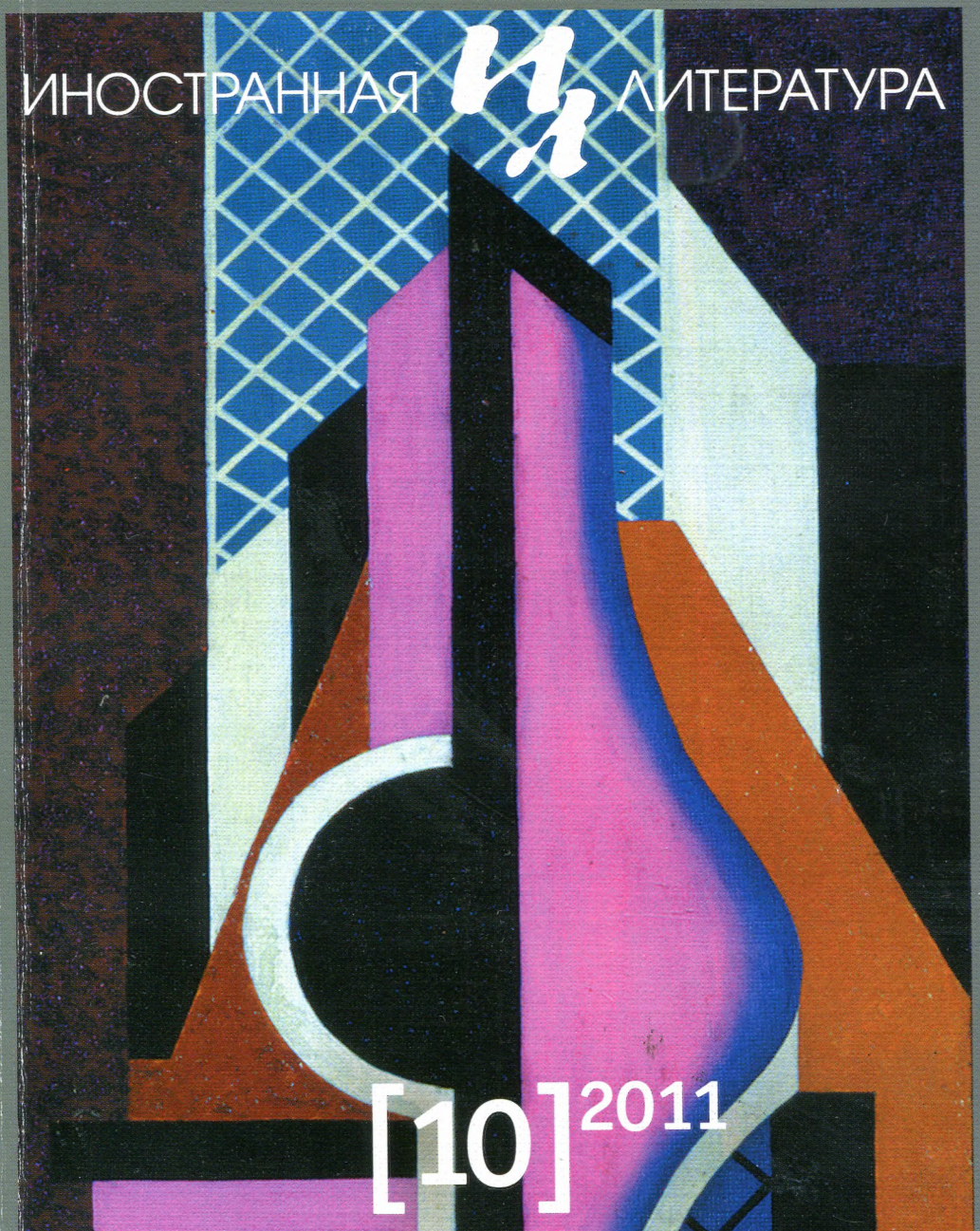
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[10] 2011

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР

ПОЛЬША: ЛИТЕРАТУРА ФАКТА

Основан в 1955 году

Польша: литература факта

"Мы — против литературы вымысла, именуемой беспристрастной, мы — за примат литературы факта", — в 1929 году объявили члены творческого объединения ЛЕФ (куда входили, в частности, Маяковский, Асеев, А. Крученых) в предисловии к сборнику теоретических и критических статей "Литература факта". С тех пор понятие "литература факта" утвердилось у нас в научном обиходе; оно чрезвычайно широко и не лефовцами придумано; к какой категории, например, отнести "Гибель Помпеи" Плиния Младшего? Или биографический жанр — Лев Толстой даже говорил: "Моя биография ценнее всех томов выдумки, которые я написал". В Советском Союзе литература факта расцвела в 20-е годы; в сегодняшней России — конечно, иначе трактуемая — она едва ли не вытесняет из обихода беллетристику; то же самое мы видим сейчас в Польше. Польский словарь литературных терминов определяет литературу факта как современное направление документального характера, "обычно частично беллетризованное, основная цель которого — достоверный отчет о подлинных событиях". Критика ввела эту категорию в годы существования независимого польского государства (1918—1939 — так называемый межвоенный период). В 30-е годы активно развивалась "репортерская повесть", тесно связанная с литературным репортажем, в качестве отдельного жанра сформировавшимся во второй половине XIX века. В Народной Польше на первый план вышел "производственный репортаж", но после "польского октября" 1956 года (когда произошла смена внутриполитического курса, связанная с перестановками в партийной верхушке и либерализацией политической системы) началась "золотая эпоха" литературы факта. И если во второй половине XX века бывало поразному, то в XXI столетии "золото" не только не потускнело, но блестит все ярче. Поэтому редакция *ИЛ* решила познакомить своего читателя с тем, что сейчас происходит в Польше в этой области.

Все представленные в номере материалы имеют документальную основу — даже те, которые числятся по разряду художественных произведений (роман, пьеса). А в репортажах заметны черты набирающей все большую популярность гонзо-журналистики — основанного американским писателем и журналистом Томасом Хантером направления, отличающегося глубоко субъективным характером: репортер здесь выступает в качестве непосредственного участника описываемых событий, используя свой личный опыт для того, чтобы подчеркнуть их смысл, и не скрывая собственного к ним отношения.

Перед редакцией стоял трудный выбор: подобного рода материалов множество, но журнальный объем диктует свои законы — пришлось себя ограничивать. Мы постарались уместить на заданном количестве страниц наиболее характерную и выразительную часть — к сожалению, небольшую! — того лучшего, что предлагает сегодня читателю польская литература факта.

К. Старосельская,
составитель номера

[10]
2011

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный литературно-художественный журнал

Польша: литература факта

3 Тадеуш Слободзянек *Одноклассники.* Пьеса. Перевод Ирины Адельгейм. Вступление Виктории Мочаловой

62 Петр Черский *Отец уходит.* Минироман. Перевод К. Старосельской

Репортаж сегодня

117 Малгожата Шейнерт *Польский репортаж и китайская кухня.* Перевод К. Старосельской

123 Войцех Тохман *Бешеный пес.* Перевод Полины Козеренко

136 Витольд Шабловский *Убийца из города абрикосов.* Перевод Мадины Алексеевой

163 Влодзимеж Новак *Окружность головы.* Перевод Ирины Подчищаевой

180 Яцек Антчак *Надежда на развалинах Всемирного торгового центра.* Перевод Дениса Вирена

Документальная проза

187 *ГРОМ: Сила и честь. С генералом Славомиром Петелицким беседует Михал Комар.* Фрагменты книги. Перевод Марины Болевской

Обратная перспектива

232 Марек Радзивон *Ивашкевич. Писатель на фоне катастроф.* Глава из книги. Перевод и вступление В. Хорева

246 Адам Поморский *Мандельштам в Польше.* Перевод и вступление Натальи Горбаневской

Статьи, эссе

255 Валентин Курбатов *Свой среди своих*

263 Дмитрий Веденяпин *Далекая близость*

266 Лех Молинский *dokument.pl.* Перевод Дениса Вирена

Журнал в журнале

271 Полина Козеренко *Литература в свете лампы*

БиблиоФИЛ

276 *Информация к размышлению. Non-fiction* с Алексеем Михеевым

Библиография

279 *Польская литература на страницах ИЛ. 2006—2011*

Авторы номера

282

© "Иностранная литература", 2011

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Г. М. Дашевский
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный совет:

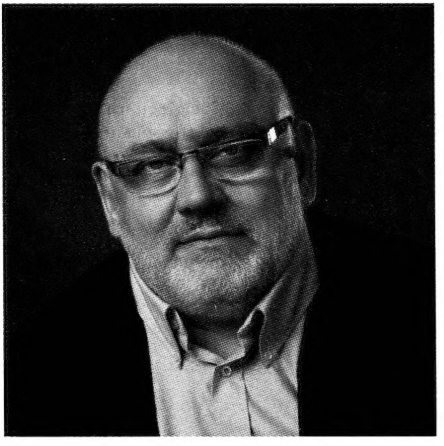
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Роберт Чандлер
Умберто Эко

Редакция :

Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Ю. А. Ларикова
А. Ю. Лешневская
Е. М. Мамардашвили
Ю. Д. Романова
Л. Г. Харлап

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда "Президентский центр Б. Н. Ельцина"

Тадеуш Слободзянек



Одноклассники
История в XIV уроках

Пьеса

Перевод Ирины Адельгейм
Вступление Виктории Мочаловой

Уроки истории на сцене

В 2008 году драматург Тадеуш Слободзянек написал пьесу, уже само название которой призывало осознать трудные уроки истории — "Одноклассники. История в XIV уроках". Действие пьесы начинается в маленьком безымянном городке в конце 20-х годов, а судьбы персонажей — польских и еврейских мальчиков и девочек из одного класса — прослеживаются вплоть до наших дней. Городок такой в Польше есть и называется он Едвабне, а у десяти героев пьесы есть реальные прототипы.

Прошло 70 лет с того страшного дня, 10 июля 1941 года, когда в оккупированной немцами Польше польские жители Едвабне согнали в овин и заживо сожгли сотни своих еврейских соседей. Подобные кровавые драмы происходили и в других городках Северо-Восточной Польши. После войны эти преступления разбирались в суде, были вынесены приговоры, но до подлинного осмысления этого "урока истории" в польском обществе дело дошло значительно позже.

© Tadeusz Słobodzianek
© Ирина Адельгейм. Перевод, 2011
© Виктория Мочалова. Вступление, 2011

В 2000 году вышла книга американского исследователя польского происхождения Яна Томаша Гросса с, казалось бы, скромным, но вдруг ставшим зловеще многозначительным названием "Соседи". Эта книга вызвала в польском обществе шок, ибо подрывала миф об исключительном мученичестве и жертвах польского народа. "Поляки, по крайней мере, уже двести лет верили в миф, что они на протяжении всей своей истории были лишь жертвами насилия со стороны других, но сами никого не обидели", — писал ксендз Станислав Мусял, назвавший Едвабне "новым именем Холокоста". Расставание с привычными мифами вообще процесс болезненный, сопровождающийся мощным сопротивлением сознания, или скорее подсознания, и отнюдь не всегда увенчивающийся успехом. В данном же случае публичное обнажение страшной правды внезапно превращало жертву в палача, лишало национальное историческое сознание позитивной самоидентификации, с чем, разумеется, не было готово согласиться большинство, и по вопросу о Едвабне в польском общественном мнении произошел раскол. Жаркие дискуссии свидетельствовали о том, что время усвоения "уроков истории", осмысления прошлого sine ira et studio[1] настало. Институт национальной памяти издал два тома исследований и документов "Вокруг Едвабне" (2002), вышла документальная книга Анны Биконт "Мы из Едвабне" (2004); режиссер Агнешка Арнольд сняла телевизионный документальный фильм "Соседи" (2001), Рафал Бетлеевский в 69-ю годовщину трагедии в Едвабне устроил перформанс: сожжение овина, куда были помещены записки поляков, содержащие "все недоброжелательные мысли о евреях, которые когда-либо возникали в наших умах и которые нас тяготят".

Слободзянек использовал все доступные фактографические источники, стремясь понять, как стало реальным непредставимо чудовищное, как, с одной стороны, можно жестоко убивать своих бывших соучеников и, с другой — "оплакать взаимные вины". Пьеса — уже не методом исторического анализа, документального свидетельства, журналистского расследования, а художественными средствами — бесспорно, выполняет функцию и демистификации, очищения общественного сознания и социальной психотерапии, направляя свет юпитеров на глубоко запрятанные страхи, неприятную правду, комплексы вины, взаимные обиды, страшные тайны. "Урок истории" по Слободзянеку, преподанный с изысканной, мастерской простотой, основанный на подлинных фактах, но достигающий глубины художественного обобщения, необходимо осмыслить для разрешения внутреннего конфликта польского общества, преодоления подспудной или явной ненависти и агрессии.

Пьесу уже в 2008 году читали в тель-авивской "Габиме", в сентябре 2009 года в Национальном театре в Лондоне состоялась ее мировая премьера, в варшавском "Театре на Воле" она была поставлена осенью 2010 года. Тогда же "Одноклассники" были отмечены главной литературной

1. Без гнева и пристрастия (*лат.*).

премией Польши *Ника*, вручая которую автору, Адам Михник заметил, что, пока в Польше есть такие писатели и такие жюри, можно смотреть в будущее оптимистически.

Теперь трудная "история в четырнадцати уроках" Слободзянека предлагается вниманию российского читателя, который, хотелось бы надеяться, сможет по достоинству оценить и смелость автора в обращении к позорному факту национальной истории, и владение документальным материалом, и мастерство его воплощения в художественном образе.

Действующие лица

Дора (1920—1941)
Зоська (1919—1985)
Рахелька, затем Марианна (1920—2002)
Якуб Кац (1919—1941)
Рысек (1919—1942)
Менахем (1919—1975)
Зигмунт (1918—1977)
Хенек (1919—2001)
Владек (1919—2001)
Абрам (1920—2003)

Урок I

Все (*поют*).

Чирикают воробушки
с самого утра:
чик-чирик, детишки,
вам куда пора?
Дети отвечают
гомоном веселым:
школьный год начался —
торопимся мы в школу[1].

Абрам. Меня зовут Абрам.
Мой папа — сапожник.
Я тоже хочу быть сапожником.
Как мой папа, Шломо.

Хенек. Я — Хенек.
Отец — крестьянин.
Я хочу быть пожарником.

1. Здесь и далее стихи в переводе В. Кульницкого. (*Прим ред.*)

Рахелька. Я — Рахелька.
Отец — мельник.
Я хочу стать врачом.
Как дядя Мойше.
Якуб Кац. Якуб Кац.
Мой папа — торговец.
Я хочу быть учителем.
Владек. Владек.
Отец — крестьянин.
Я хочу быть возчиком.
Менахем. Менахем.
Отец — мясник.
И я тоже хочу — возчиком.
Зигмунт. Зигмунт.
Мой отец — каменщик.
Я буду военным.
Зоська. Я — Зоська.
Мама работает в прислугах.
Я хочу стать портнихой.
Дора. Дора.
Папа — торговец.
Я буду киноактрисой.
Рысек. Я — Рысек.
Отец — каменщик.
Я стану пилотом.
Все.
Дорогой пилот,
С дыркой самолет!
Двери отворились!
Гости провалились!

Урок II

Все (*поют и танцуют*).
Платочек вышит по углам,
кого люблю — тому отдам.
Эту — не люблю я,
ту — не поцелую,
ты ж мне люба очень —
забирай платочек!
Рысек. В школе было здорово. Столько всего интересного. Я подружился с мальчишками, и девчонки мне нравятся — они красивые. Одна еврейка так мне понравилась, что я вырезал из розовой бумажки сердечко, написал на нем стишок, побрызгал духами и положил ей в ранец.

Дора. Я увидела, что Рысек копается в моем ранце. Испугалась. Подбежала и увидела сердечко. Рысек мне нравился. Дурачок, но красивый. Я стояла с этим сердечком в руке, а тут вдруг подошел Менахем и прочитал стишок вслух.

Менахем. В этом сердце вся
К тебе любовь моя!

Якуб Кац. Тогда я сказал: "Мазлтов, Рысек!"

Все. Мазлтов!

Рахелька. Хупа!

Все. Хупа!

Владек. Маца!

Все. Маца!

Зоська. Мацева!

Все. Мацева!

Хенек. Менора!

Все. Менора!

Абрам. Мохел!

Все. Мохел!

Зигмунт. Лехаим! Шолом алейхем! Тумбала-ла!

Все. Лехаим! Шолом алейхем! Тумбала-ла!

Дети разыгрывают "еврейскую свадьбу".

Рысек. Весь класс надо мной смеялся. Все ребята. И поляки, и евреи. Мне было обидно.

Дора. Мне было его жалко. Но что я могла сделать?

Урок III

Якуб Кац. То, что произошло в 1935 году[1], изменило судьбу каждого из нас. Все плакали. Но больше всех — евреи. Чтобы почтить это печальное событие, мы решили устроить патриотический утренник с декламацией траурной поэмы Марчина Вихы "Сердце Маршала". (*Всем.*) Девочки и мальчики! Уважаемые одноклассники! Давайте повторим еще раз. Только хором и с выражением. Завтра нас будет слушать вся школа! Наши родители. Наши учителя. И сам пан директор Павловский! Давай, Дорка! Начинай.

1. Речь идет о смерти главы государства, маршала Юзефа Пилсудского (1867–1935). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Все.

Мама, мама, глянь — уланы!
Едут, словно на парад,
Только это очень странно:
Почему никто не рад?

Кони резвые не скачут,
А плетутся, как во сне.
Почему все люди плачут,
Или это дождь в окне?

Нет, уланы не на марше,
Польша вся сейчас скорбит.
Белый гроб, во гробе Маршал
Сном героя крепко спит.

Все собрались с ним проститься,
Плачет будто целый мир!
Был он настоящий рыцарь,
Хоть простой носил мундир.

Вот идут жена и дети,
Президент, министры рядом...
Кажется, у всех на свете
Слезы горя льются градом.

На кого он нас оставил,
Наш защитник и герой,
Станет склепом ему Вавель,
Там он обретет покой.

Пусть спит рядом с королями,
И хотя его нет больше,
Славными его делами
Вечно будет славна Польша!

Хенек.

Маршал хоть кого обманет —
Много денег прикарманил,
Баб любил не по годам,
Продал родину жидам!

Якуб Кац. Этого нет в поэме! Хенек, ну зачем ты так? Всякие гадости про Маршала...

Все. Кто? Что? — Маршал.
Кого? Чего? — Маршала.
Кому? Чему? — Маршалу.
Кого? Что? — Маршала.
Кем? Чем? — С Маршалом.

О ком? О чем? — О Маршале.
Звательный падеж — О, Маршал!

Хенек. Рыцарь без страха и упрека! Ризница! Алтарник!

Все. Кто? Что? — Алтарник.
Кого? Чего? — Алтарника.
Кому? Чему? — Алтарнику.
Кого? Что? — Алтарника.
Кем? Чем? — Алтарником.
О ком? О чем? — Об Алтарнике.
Звательный падеж — О, Алтарник!

Хенек. Ксендз Хенек! Викарий! Жидов — на Мадагаскар!

Все. Кто? Что? — Мадагаскар.
Кого? Чего? — Мадагаскара.
Кому? Чему? — Мадагаскару.
Кого? Что? — Мадагаскар.
Кем? Чем? — Мадагаскаром.
О ком? О чем? — О Мадагаскаре.
Звательный падеж — О, Мадагаскар!

Абрам. Ша, тихо! Уважаемые одноклассники! Дорогие друзья! Мне очень жаль, но я должен с вами попрощаться. Я уезжаю. Правда не на Мадагаскар. Учиться, в Америку! Так решили наш раввин и мой дедушка Хаим, дедушка Якуб, бабушка Роза и бабушка Фейга.

Якуб Кац. Как же так? Почему? А наш Союз? Бунд? (*Напевает.*) Цузамен, цузамен, ди фон зи из грейт! (*Говорит.*) Мы же договаривались никуда не уезжать! Мы же хотели здесь...

Абрам. Мой папа Шломо и моя мама Эстер...

Якуб Кац. А как же Мицкевич? Сдвинься, твердь, с орбиты бывалой?!

Менахем. Перестань, Якуб Кац! Абрама отправляют в Америку? Вот и пусть Абрам едет в Америку. Все хотят в Америку!

Якуб Кац. Тебе-то откуда знать, деревня?! Уж тебе в Америке точно делать нечего. Твое место разве что в кибуце! Кактусы в пустыне разводить!

Рахелька. Ша, евреи, тихо! Не ссорьтесь! Успокойся, Менахем! И ты, Якуб Кац, успокойся! У каждого свое предназначение. Абрам едет в Америку — это его предназначение. И гит.

Все.

Три утлых суденышка,
бескрайний простор...
подумай, подумай,
Колумб Христофор.

Кто бурь не боится,
в судьбу свою верит,
лишь тот доплывет
до далеких Америк.

Урок IV

Хенек. Ребята, согласно распоряжению министра просвещения, предлагаю прочитать католическую молитву, а наших одноклассников — евреев и евреечек — прошу пересесть на задние парты.

Рахелька, Дора, Менахем и Якуб Кац пересаживаются.

Спасибо.

Поляки. Аминь.

Хенек. Верую во единого Бога, Отца Всемогущего...

Поляки. Творца неба и земли,
видимого всего и невидимого,
и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия
Единородного, от Отца рожденного
прежде всех веков...
воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы...

Менахем (*шепотом Доре*). Слушай, в Ломже, в кинотеатре "Ломжа"...

Поляки. Распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного...

Менахем (*шепотом Доре*). Идет "Я люблю всех женщин"[1].

Поляки. Воскресшего в третий день по Писаниям, восшедшего на небеса и сидящего одесную Отца...

Менахем (*шепотом Доре*). Классный фильм... с Яном Кипурой... Такой сексуальный... Кстати, мне купили новый велосипед...

Дора (*шепотом*). Дурак...

Зигмунт. Простите, уважаемый Менахем, мы вам не мешаем своей молитвой?

Менахем. Мне — нет. Я неверующий...

Хенек. А мы — верующие, уважаемый Менахем...

Якуб Кац. Правда? Все-все? И во что же вы веруете? Какая вера велит громить еврейские лавки? Бить окна? Опрокидывать бочки и банки? Топтать ногами селедку и квашеную капусту? Какая вера, Владек, велит бросить камень в мою сестру и разбить ей голову?

1. Немецкая музыкальная комедия (1935), в главной роли знаменитый польский певец и актер Ян Кипура (1902—1966).

Рахелька. Владек бросил в женщину камень? Что бы сказал пан Скшетуский[1]?

Владек. А чего она орала, как резаная... (*Якубу Кацу.*) Вообще-то я в тебя метил, просто промазал.

Якуб Кац. Какой позор, Владек! И об этом позоре узнает весь мир, потому что я напишу Абраму. Я как раз получил от него письмо.

Зигмунт. И что же он пишет?

Абрам. Дорогие девочки и мальчики! Уважаемые одноклассники!

В первых строках моего письма сообщаю, что 18 августа 1938 года после долгого, но захватывающего плавания на корабле "Баторий" я прибыл в Америку! Это было потрясающе — когда после многих недель путешествия в переполненной каюте мы увидели на горизонте статую Свободы. Пассажиры словно обезумели. Все кричали от радости.

Потом мы очень волновались, когда проходили пограничный контроль на Эллис Айленд. Я ждал вместе с тысячами других беженцев. Со всего земного шара — евреи, итальянцы, ирландцы, азиаты. Два дня мы дожидались своей очереди — отошлют ли нас обратно или примут в новый мир. Когда наконец наступил мой черед, чиновник спросил:

— What's your name?[2]

— Абрам Пекарь, — ответил я.

— Абрам what[3]?

— Пекарь, — повторил я и добавил по-английски: — Бейкер.

— OK! — сказал он и написал: "Абрам Бейкер".

Вот так, мои дорогие, ваш Абрам Пекарь стал Абрамом Бейкером! Какой отсюда вывод? Надо учиться, учиться и еще раз учиться. В особенности иностранным языкам и прежде всего — английскому. В современном мире без него никак. Помните это, дорогие друзья!

Всегда ваш *Абрам Бейкер.*

P. S. Да хранит вас Всемогущий Господь!

Менахем (*Доре*). Ну что? Поедем в кино? На моем новом велосипеде?

1. Ян Скшетуский — один из героев трилогии Г. Сенкевича "Огнем и мечом", "Потоп", "Пан Володыёвский".
2. Как тебя зовут? (*англ.*)
3. Здесь: Кто? (*англ.*)

Дора. Знаешь, что сказал мой отец? Он сказал: "Увижу тебя с Менахемом, на этом его новом велосипеде — домой можешь не возвращаться!" Езжай с Зоськой.

Зоська. Чтó с Зоськой?

Дора. Хочешь поехать с Менахемом в кино? На его новом велосипеде?

Зоська. А что за фильм?

Менахем (*поет*).

Блондинка ли, брюнетка,
Мне все равно...

Зоська. С Яном Кипурой? Хочу!

Зигмунт. Зоська едет с Менахемом в кино! На новом велосипеде. На фильм с Кипурой. А мне дашь прокатиться? Или, может, тебе жалко?

Поляки (*бьют и пинают Менахема*). Я катаюсь на новом велосипеде Менахема.

Ты катаешься на новом велосипеде Менахема.
Он/она/оно катается на новом велосипеде Менахема.
Мы катаемся на новом велосипеде Менахема.
Вы катаетесь на новом велосипеде Менахема.
Они катаются на новом велосипеде Менахема.

Якуб Кац. Бандиты, вы еще пожалеете!

Хенек. Ребята, мы не закончили молитву. Так нельзя. (*Продолжает молиться.*)...сидящего одесную Отца...

Поляки. ...вновь грядущего со славою судить живых и мертвых, и Царству Его не будет конца.

И в Духа Святого...
И во единую, Святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
Исповедую единое крещение во отпущение грехов.
Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века.
Аминь.

Урок V

Якуб Кац. Но судить живых и мертвых вместо Иисуса Христа пришел Иосиф Сталин.

Хенек. В честь Красной армии евреи построили приветственную арку.

Владек. Красные флаги вывешивали и евреи, и поляки!

Зигмунт. А мой отец вывесил бело-красный флаг!

Зоська. Лошади у них были тощие-претощие.

Рахелька. Кожа да кости, смотреть страшно.

Менахем. Лошади жрали цветы, с которыми мы встречали красноармейцев.

Зоська. А красноармейцы хлестали бедных кляч до крови.

Дора. От зависти, что лошадям есть, что́ пожевать.

Рысек. Из магазинов тащили все что ни попадя!

Владек. Офицеры ходили, обвешанные колбасами!

Рысек. У стекольщика забрали всю замазку.

Абрам. Думали — халва?

Владек. Потом эта замазка валялась по всему городу.

Хенек. Католический дом превратили в кинотеатр "Аврора".

Владек. На торжественное открытие кинотеатра пришли все мои одноклассники.

Якуб Кац. Товарищи! Дорогие одноклассники, дорогие одноклассницы!!! Вот и наступил этот долгожданный день! Вот и к нам пришло важнейшее из искусств. Как назвал Великий Ленин кинематограф. Теперь — спасибо Великому Сталину! — и у нас есть кинотеатр "Аврора", то есть "Утренняя звезда". Приветствуем тебя, Звезда Свободы! А как обстояло дело в прежние времена? Слово Поэту.

Менахем изображает Маяковского, а Зоська — лошадь.

Менахем. Владимир Маяковский. Хорошее отношение к лошадям.

Били копыта,
Пели будто:
— Гриб.
Грабь.
Гроб.
Груб. —

Ветром опита,
льдом обута
улица скользила.

Лошадь на круп
грохнулась,
и сразу
за зевакой зевака,
штаны пришедшие Кузнецким клёшить,
сгрудились,
смех зазвенел и зазвякал:
— Лошадь упала!
— Упала лошадь! —
Смеялся Кузнецкий.

Лишь один я
голос свой не вмешивал в вой ему.
Подошел
и вижу
глаза лошадиные...

“Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте —
чего вы думаете, что вы сих плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь”.

лошадь
рванулась,
встала на ноги,
ржанула
и пошла.

Хвостом помахивала.

Рыжий ребенок.

Пришла веселая,
стала в стойло.
И всё ей казалось —
она жеребенок,
и стоило жить,
и работать стоило.

Якуб Кац. Товарищи! Дорогие одноклассники и одноклассницы! Стоит жить, и работать стоит! Еще раз спасибо. А теперь, прежде чем мы перейдем к следующему пункту нашей программы, то есть угощению и танцам, передаю слово директору кинотеатра “Аврора”.

Менахем. Как уже сказал товарищ Кац, здесь, в бывшем Католическом доме, будет теперь кинотеатр “Аврора”, и я, его директор, обещаю, что скучать вам, товарищи, не придется. Уже завтра приглашаю вас посмотреть шедевр мирового кинематографа — “Октябрь” Эйзенштейна. На следующей неделе мы покажем комедию “Веселые ребята”, а затем “Цирк” и “Золотую лихорадку”...

Рысек. А “Я люблю всех женщин”?

Менахем. “Я люблю всех женщин” — тоже будет. Только одна просьба ко всем: помогите с мебелью — принесите в

зрительный зал стулья и скамьи из костела, все равно его скоро закроют...

Рысек направляется к выходу.

Якуб Кац. Ты куда, Рысек?

Рысек. Долой жидокоммуну! Да здравствует Польша! (*Выходит.*)

Якуб Кац. Печально, товарищи! Перейдем к делам более приятным. Итак, танцы! Только еще один организационный момент... Пиво бесплатное, каждому полагается по две бутылки. Пиво Рысека прошу не трогать. (*Включает граммофон, звучит советский вальс, все танцуют.*)

Менахем (*Доре*). Потанцуем?

Дора. Все это плохо кончится, Менахем.

Менахем. Ничего не плохо.

Дора. У нас будет ребенок, Менахем.

Менахем. Здорово. Давай поженимся. Расписаться теперь стоит три рубля, и ничье разрешение не требуется.

Дора. А развод сколько?

Менахем. Развод — пять.

Дора. Дурак.

Менахем. Ты зато больно умная.

Владек (*Рахельке*). Потанцуем, Рахелька? (*Танцуют.*) Я тебе вот что скажу, Рахелька! Мне, пожалуй, даже нравится этот Советский Союз. Нет ни богатых, ни бедных. Покончено со всеми этими предрассудками. Еврей с поляком может пива выпить. На танцы сходить. И ничего. Терпеть не могу этих жуликов в сутанах. Это они во всем виноваты.

Рахелька. Ладно, Владек, ты уж лучше танцуй.

Хенек и Зигмунт подходят к Зоське.

Зигмунт. Зоська, ты что — с ума сошла? Что ты такое изображаешь?

Хенек. Что это еще за лошадь, Зоська?!

Зоська. Никакая не лошадь!

Зигмунт и Хенек. А кто же тогда?

Зоська. Польша.

Зигмунт и Хенек. Потанцуем?

Зоська. С обоими?

Зигмунт. А кто тебе больше нравится?

Зоська. Оба вы хамы. Но Хенек красивее.

Танцует с Хенеком. Зигмунт подходит к Якубу Кацу.

Зигмунт. Твое здоровье!

Якуб Кац. Твое здоровье! (*Чокаются бутылками.*) Я тебе вот что скажу, Зигмунт. Живи и давай жить другим. Никому ничего не угрожает. Кто старое помянет... Мы ведь одноклассники, верно? Или я не прав? (*Всем.*) Танцуем, товарищи: и раз, и два, и три! Раз, два, три! (*Зигмунту.*) А что это Рысек себе вообразил? Тоже мне герой... (*Всем.*) Запевай! (*Запевает.*) Широка страна моя родная...

Все поют.

Урок VI

Рысек. Я вовсе не собирался геройствовать. Просто сил не было смотреть, как нас, поляков, унижают!

Зигмунт. Отца забрали сразу. За тот бело-красный флаг. Мы с ним никогда не ладили. Чуть что — он хватался за ремень. И мать бил. А теперь ей пришлось скрываться. Как и мне. Я решил — сколько можно? Всю жизнь, что ли, прятаться?

Владек. Советский Союз мне разонравился, и я решил бороться. Надо готовить восстание. Вооружаться. Как подобает полякам. Я сказал об этом матери. Она принесла топор и сказала, чтобы я сначала зарубил ее этим топором, а потом уже шел поднимать восстание.

Хенек. Мы создали подпольную организацию "Белый орел".

Зигмунт. На улице раздавали советскую конституцию. Я взял, почитал. Нашел то, что меня интересовало. Что в Советском Союзе сын за отца не отвечает. Взял у ксендза писчую бумагу и написал письмо Сталину.

Якуб Кац. Пришло письмо от Абрама.

Абрам. Дорогие девочки и мальчики! Уважаемые одноклассники! Что у вас хорошего? Со всего мира приходят плохие вести, а я, ваш Абрам, хотел бы услышать, как дела у Рахели и Доры, а также у Зоськи? Вышли ли они замуж? Хорошие ли, работящие у них мужья? Особенно у Рахельки, в которую я когда-то был влюблен. А ты как поживаешь, Якуб Кац? Что поделывает наш красавчик Менахем? По-прежнему ли в него влюблены все девушки? И наконец, как там наши четыре мушкетера — Зигмунт, Рысек, Хенек и Владек?

Я учусь. Учеба дается мне легко. Мою жену зовут Дебора, она ждет нашего первенца.

Не забывайте обо мне. Всегда ваш *Абрам.*

Рахелька. Вот так новость! Оказывается, Абрам был в меня влюблен! Просто даже не знаю, как теперь быть...

Зоська. Ладно, решила я. Ничего не поделаешь. И вышла за Олеся. Он был старый, меня не трогал, а мать с ним договорилась, что он отпишет мне хозяйство. Не бог весть что, но все же. А чего мне было ждать?

Зигмунт. Письмо возымело действие. Из Москвы его переслали в наш НКВД, мне сообщили, что дело рассматривается, и велели прийти. Я пошел. Принял меня сам майор. Угостил папиросой и сказал по-польски: "Я очень рад с вами познакомиться, пан Зигмунт". Спросил, что я думаю о том вечере в кинотеатре "Аврора", о поведении Рысека и "Мазурке Домбровского"[1], которую майор, оказывается, знал наизусть — спел все куплеты. Мы долго обсуждали, почему евреи так переимчивы, а поляки — такие горячие патриоты. Майор предложил мне сотрудничать под фамилией Попов.

Рысек. Для начала мы решили застрелить одного майора из НКВД. Не помню, чья это была идея. Кажется, моя. Мы всё подготовили. Явочную квартиру. Оружие. На всякий случай я перестал ночевать дома. Вечером мы с Зигмунтом и Хенеком немного выпили.

Хенек. Мы здорово надрались. Зигмунт принес самогон. Отличный. На черносливе. Мы пели песни ксендза Матеуша из "Песенника антисемита" и плакали.

Поляки.

Боже, что Польшу столько веков
Оберегал от жестоких врагов —
Турок, татар, немцев, шведов —
И даровал нам над ними победу,
Боже, мы молим тебя: поскорее
Польшу избавь от поганых евреев!

Рысек. Я жутко надрался. Даже не заметил, когда ушли Зигмунт и Хенек.

Якуб Кац. За мной пришли ночью. Из НКВД. Велели одеваться, вещи сказали не брать. Я решил, что меня ведут на расстрел. Они молчали. От них несло перегаром. И еще эти их кожанки страшно воняли... Зима в тот год была очень снежная. Меня посадили в сани, и мы поехали в лес. Я весь трясся от холода и страха. Мне дали какое-то старое одеяло. Боже! В чем моя вина? Что я не написал в отчете об открытии кинотеатра про то, что

1. Песня польских легионов, созданных в наполеоновской армии после раздела Польши (1795); национальный гимн Ноябрьского (1830) и Январского (1863) восстаний; с 1926 г. — государственный гимн Польши.

Рысек крикнул: “Еще Польша не погибла!”? Боже! А может, дело в том письме, которое прислал из Америки Абрам? Мы подъехали к какой-то сторожке. Из нее вывели Рысека и спросили меня: “Кто это?” Я говорю: “Рысек”. А что я должен был сказать? Рысек посмотрел на меня и что-то пробормотал, я не разобрал, что́. Только увидел, как один из энкавэдэшников ударил его прикладом по лицу. Разбил в кровь.

Рысек. Они привезли меня к себе и спрашивают: “Как тебя зовут?” Я: “Так, мол, и так”. Они: “Врешь. Ты — Ясень, командир подпольной террористической организации ‘Белый орел’”. Я: “Да вы что?” Тогда один достал из-за печки ветку орешника, меня швырнули на пол, заткнули рот моей же шапкой, один сел на ноги, другой держал голову, а третий бил, так, что от шапки скоро остались одни ошметки. Потом они посадили меня к стенке, на табурет, схватили за волосы и стали колотить головой об стену с такой силой, что я подумал: конец моей голове. Волосы выдирали клочьями. И все время требовали, чтобы я признался и сказал, кто еще состоит в нашей организации. Я подумал, что тогда и других будут так же бить. Пусть уж лучше я один мучаюсь. Я не знал, что человек способен столько выдержать.

Зигмунт. Мне хотелось с кем-нибудь поделиться. Хенек — слабак, не выдержит. Владек — тем более. А вот Рысек всегда был сильный.

Хенек. Мне повезло. Когда мы возвращались из сторожки, Зигмунт сказал, что дома нам ночевать не стоит. На всякий случай. Я так и сделал. После того как забрали Рысека, дома больше не появлялся. Уехал в деревню, жил в разных местах. У ксендзов. Помогал в костеле. В ризнице. В плебании[1]. А потом пришли немцы.

Владек. Когда с Рысеком все это случилось, а Зигмунту с Хенеком пришлось скрываться, я понял, что мать права. Пришел к выводу, что к восстанию мы пока не готовы. И сам тоже старался особо глаза не мозолить — на всякий случай.

Рахелька. Мельницу у отца отобрали и национализировали. Директором поставили какого-то русского с тремя классами образования. Ровно через месяц мельница перестала работать. Вызвали отца. Оказалось, они сломали турбину. Швейцарскую. Купленную отцом по франши-

1. Приход, а также дом приходского священника.

зе. В тридцать седьмом году, в Цюрихе. Она стоила дороже нового "мерседеса". Пять тысяч долларов. Главное наше богатство. Отец этого не пережил. Высох, почернел, стал болеть и через несколько недель умер. Будто растаял. Я начала учить немецкий.

Менахем. Осточертели мне эти киносеансы. Новых фильмов в центре не мог допроситься. Посылали в командировки — в Белосток, один раз в Вильно, потом еще во Львов. Это мне нравилось — банкеты, гостиницы, киномобители. И киномобительницы. Но сколько раз можно смотреть "Веселых ребят", "Бронепоезд" или даже Чаплина? Нет такой власти, чтоб могла заставить человека дважды посмотреть один и тот же фильм.

Дора. Я боялась. Все сильнее и сильнее. Менахем возвращался домой все позже. Всегда пьяный. Ребенок то и дело болел, мы ссорились. Снова ты пил, чертов придурок!

Менахем. Перестань, детка, а то я с тобой разведусь!

Дора. Так разведись наконец и катись к своим бабам!

Рысек. Однажды ночью — был уже март или апрель, потому что земля оттаяла — пришли трое, посадили меня в телегу, отвезли в лес, дали лопату и велели копать яму. "Себе могилу роешь", — сказали. Я начал копать. Молча. Один раз посмотрел на небо. Сколько звезд! Я разглядел Большую Медведицу и Полярную Звезду. И так мне стало всего жаль! Особенно себя. Почему я, такой молодой, должен умереть? Ради кого? Ради своего одноклассника? Якуба Каца? Я выкопал яму и говорю: "Готово". — "Ладно, — сказал лейтенант, — сегодня мы тебя не станем расстреливать. Подумай еще. И признайся. Признаешься — вернешься домой. А нет — привезем обратно. Яма уже готова. Никуда не денется".

Якуб Кац. Это был какой-то кошмар. То и дело кого-нибудь арестовывали и увозили. За всем очереди. За хлебом. За крупой. За картошкой. За солью. За керосином. Абсолютно за всем. С ума можно сойти. Только кинотеатр пустовал. Я подумал, что если это и есть обещанный ими рай, то с меня довольно.

Зигмунт. Я не знал, что́ с отцом. И что́ с Рысеком. Сидят ли они по-прежнему в ломжинской тюрьме? Или их вывезли в Сибирь? А может, расстреляли? Столько народу исчезло бесследно. Один раз меня вызвал майор — у него возник какой-то вопрос, — а я разозлился и сказал, что он меня обманул — не выпустил Рысека с отцом, так что я больше не хочу на них работать. Пускай себе другого ищут. А майор улыбнулся и говорит: "А ты, Попов, что

же — думаешь, ты у нас один такой? Один доносы пишешь?"

Все.

Вождь наш Костюшко,
отвагой горя,
поднял народ
на москаля.

С косою мужик
не жалел своей жизни.
Господь наградит всех,
кто пал за Отчизну.

Урок VII

Якуб Кац. Ночью мне приснился странный сон. Очень страшный. Будто выхожу я на крыльцо — так мне снилось... Смотрю: повсюду — у забора, у открытой калитки — стоят черные волки и скалят клыки. Боже, думаю, кто же открыл им калитку? Запираю дверь, а они к окнам, подпрыгивают, ярятся, мордами бьют стекла, я хватаю кочергу и давай лупить по этим мордам. Без толку. Просыпаюсь. Кто-то колотит в дверь. Сердце от страха выскакивает из груди. Открываю. На пороге Менахем с чемоданом.

Менахем. Якуб, спрячься где-нибудь, пока все не успокоится.

Якуб Кац. Куда же я спрячусь?

Менахем. Не знаю!

Дора. А я? А ребенок? Нам как быть, а, Менахем?

Менахем. Дора, вам они ничего не сделают. Не выходи на улицу. Не попадайся никому на глаза. Как только все закончится, я вернусь.

Дора. Ой, Менахем, говорила я тебе — не лезь, куда не просят.

Якуб Кац. Я хотел рассказать Менахему про письмо от Абрама, но он повернулся и ушел. Я побрился. Умылся. Побрызгался одеколоном. Надел чистое белье, белую праздничную сорочку и черный костюм. Почистил ботинки. В карман положил документы, немного денег и письмо Абрама. Вышел из дому. Улица была почти пуста. Стояла приветственная арка с выложенной из шишек свастикой. Убогая какая-то. То ли дело наша — два года назад, с серпом и молотом! Так я подумал и пошел дальше. Смотрю — они поворачивают со Школьной.

Они — это Владек, Хенек, Рысек и Зигмунт. Вид у Рысека был жуткий. Лицо все сизое.

Владек. Я увидел его первым. "О, — говорю, — Якуб!"

Хенек. Какой еще Якуб?

Зигмунт. Якуб Кац.

Якуб Кац. Они остановились шагах в десяти. Стоят и смотрят. Я хотел им сказать, что получил письмо от Абрама и что оно у меня в кармане, но у них были такие глаза, что я повернулся и побежал.

Рысек. Держи его!

Зигмунт. Хватай!

Владек. Лови!

Хенек. Я догнал его и подставил подножку!

Якуб Кац. Я споткнулся. Упал. Они начали меня бить. Ногами!

Владек. Я не бил.

Зигмунт. Ну что, Якуб Кац, допрыгался?

Рысек. Сукин ты сын!

Хенек. Стукач!

Якуб Кац. Что я мог сказать? Что всё не так, как они думают? Спросить почему?.. Я только пытался закрыть голову, живот, пах. Почувствовал, что мне сломали ребра. Ладно, думаю, это ничего, заживет. Сам виноват, дурак. Тут они вдруг перестали меня бить. Вот теперь я все им объясню, подумал я. Но что я мог сказать? Рот полон чего-то липкого. Я сплюнул на ладонь и увидел, что это кровь.

Менахем. Я прятался в кустах смородины, в саду у Пециновичей — перед их домом избивали Якуба Каца. Через щель в заборе я видел, как они пинали его ногами, а потом вдруг остановились. Тяжело дыша. Точно марафонцы в кино. Я увидел, как Якуб медленно поднялся и пошел. Раскачиваясь, будто пьяный.

Владек. "Хватит с него", — сказал я.

Якуб Кац. Только бы уйти, думал я, уйти подальше. Они не станут меня догонять. Только бы уйти. Светило солнце. Лошадь, запряженная в телегу, смотрела на меня. Мужик повесил ей на шею торбу с овсом. Долго будут стоять, подумал я. Эврика! Закон Архимеда! Как там было?

Зигмунт. Я подошел к забору Пециновичей и выломал доску.

Хенек. Я выломал доску из забора Пециновичей.

Менахем. Я сидел в двух шагах от них, когда они выламывали эти доски, но ни один меня не заметил. В таком они были бешенстве. Я прятался в кустах смородины, потом

на четвереньках переполз в другой конец сада. Решил через лес пробираться к Зоське. Может, она меня спрячет? Дома у Зоськи никого не было. Я спрятался в хлеву. Чуть погодя смотрю — идет Зоська с ведром, свиней кормить. "Зоська!" — говорю...

Зоська. Боже, Менахем, что ты тут делаешь?

Менахем. Спрячь меня, Зоська, меня ищут...

Зоська. Кто тебя ищет?

Менахем. Зигмунт, Рысек, Хенек и Владек! Они избили досками Якуба Каца.

Зоська. Иди в коровник, полезай на чердак. Олесь туда не заглядывает.

Рысек. Я выломал из забора самую толстую доску, какую только нашел. Кац уже подходил к рыночной площади, когда я догнал его и ударил по голове. Он сделал несколько шагов и упал прямо перед калиткой своего дома.

Хенек. Я ударил его несколько раз, доской. Доска сломалась. Гнилье.

Зигмунт. Стал собираться народ. Я сказал, что этот сукин сын сдал Рысека красным, а моего отца по его милости сгноили в Сибири. Как и многих других поляков. И ударил его доской.

Владек. Они били Якуба, пока доски не превратились в щепки. "Хватит!" — сказал я. Но кто-то из толпы, какая-то женщина, сказала, что нет, не хватит. Все стояли и смотрели. Кац ногтями скреб мостовую.

Якуб Кац. Мне было так больно, что я уже ничего не чувствовал. Смешно, подумал. У меня ведь была пятерка по физике. И по химии, и по математике. А я не могу вспомнить закон Архимеда. И умираю возле калитки собственного дома.

Рысек. Он мучился. Никак не умирал. Мне стало его жаль. У самой калитки булыжники были расшатаны. Я взял один. Кило десять-пятнадцать... так, навскидку. Поднял повыше и изо всех сил бросил ему в голову. Раздался хруст, что-то теплое брызнуло мне в лицо. Я потрогал пальцем. Это были мозги Каца.

Владек. Рысек облизал палец, испачканный кровью и мозгами Каца.

Хенек. Меня стошнило.

Зигмунт. Собралась толпа. Я сказал: "В нашем городе еще много таких, как этот Кац!"

Рысек. А где этот киношник Менахем?

Владек. Мне нужно к матери. Я обещал, она ждет. И пошел. Но не к матери. А к Рахельке. Сказал ей: "Спрячься где-нибудь! Они убили Якуба Каца прямо на рыночной площади".

Рахелька. Кто убил Каца? И потом, где же я спрячусь, Владек?

Владек. Я тебя спрячу, Рахелька.

Рысек. Я умылся у колонки на площади.

Зигмунт. Пошли к Менахему! Я обыскал карманы Каца. У него были с собой паспорт, десять рублей, чистый платок и письмо от Абрама.

Абрам. Дорогой мой товарищ Якуб Кац!

Я закончил школу, был посвящен в раввины и принес в жертву своего первого ягненка. После обеда мы все, вся иешива, пошли в Battery Park, где проходят регаты, а с эспланады хороший вид на Liberty Island и Statue of Liberty. Наверное, весь Нью-Йорк пришел полюбоваться парусниками. Какие же они были красивые! Изящные и пузатые, маленькие и большие, длинные и короткие, с тремя мачтами, с двумя, с одной... Так и порхали по волнам. Мне запомнилось, что первой пришла красивая двухмачтовая яхта под названием "Swallow". Ласточка.

Видишь, я не забываю польский, хотя мой язык теперь — английский.

А что у тебя? Как поживают наши одноклассники? Почему мне никто не пишет?

Привет всем. Навсегда ваш *Абрам Бейкер.*

P. S. Я часто обо всех вас думаю.

Урок VIII

Дора. Я ужасно рассердилась на Менахема. Вот вечно так — когда он нужен, его нет. У малыша болел животик. Я дала ему укропной воды. Кто-то постучал в дверь. "Кто там?"

Зигмунт. "Польская армия!" — пошутил я.

Хенек. Где Менахем?

Дора. Не знаю. Уехал куда-то. Он все время куда-нибудь ездит. Собрал чемодан и ушел.

Рысек. Удрал вместе с красными?

Зигмунт. Чего мало́й орет? Уложи его спать. Надо поговорить.

Дора. У него болит живот.

Зигмунт. У тебя есть укропная вода? Дай-ка сюда ребенка. (*Берет мальчика на руки и напевает.*)

На войнушке хорошо,
кто Бога попросит,
солдаты стреляют,
солдаты стреляют,
Господь пули носит...

Малыш успокаивается, Зигмунт уносит его на кухню.

Ну вот и славно.

Так ты говоришь, Дора, этот сукин сын Менахем бежал с красными? Нагадил полякам и удрал...

Дора. Он ничего плохого не делал. Ну что он такого сделал? Вы же знаете, как все было. Спросите у Якуба Каца, это он начал.

Рысек. Кац уже больше ничего никому не скажет. Он лежит на площади. А рядом — его мозги.

Дора. У меня ноги подкосились.

Рысек. Вот смотри, Дора, как оно было! (*Показывает шрамы.*)

Зигмунт. А у тебя, Дора, не осталось шрамов от красных?

Дора. Что ты такое говоришь, Зигмунт? Я почувствовала, что краснею....

Рысек. Я почувствал, как у меня встал. Аж больно сделалось. Я обрадовался, а то уже боялся, что красные мне все напрочь отбили.

Зигмунт. Посмотрим, посмотрим, что у тебя за шрамы...

Дора. Они схватили меня за волосы и потащили на кровать. Рысек сорвал с меня блузку и юбку. Больше на мне ничего не было. Я же была дома. Я вырывалась. Пыталась лягаться. Но кто-то из них держал меня за ноги.

Хенек. Я держал.

Дора. Я кричала, потом почувствовала, что у меня там стало мокро.

Зигмунт. Она кричала по-еврейски.

Дора. Найн, найн, найн....

Зигмунт. Я сказал Рысеку: "Мазлтов, Рысек!"

Рысек. Мы с Хенеком раздвинули Доре ноги, я расстегнул брюки и воткнул ей, глубже некуда. Почти сразу кончил. Она кричала. У меня опять встал, и я начал снова...

Дора. Мне было приятно... первый раз в жизни.

Хенек. Глядя на них, я кончил в штаны.

Зигмунт. Когда Рысек слез с Доры, я сказал: "Держи ее". Навалился сверху и вошел. Она вырывалась как бешеная,

но руки у парней были крепкие. Я кончил и говорю Хенеку: "Теперь я ее подержу, а ты, Хенек, давай".

Хенек. Я сказал: "Хватит".

Зигмунт. Вот видишь, Дора, у Рысека шрамы от красных есть, а у тебя — нет.

Дора. Я молчала, чтобы не злить их. Очень хотелось натянуть на себя покрывало, но я боялась, что они рассердятся. Я лежала голая, внутри все болело, но я ничего не говорила.

Рысек. Я открыл буфет. Увидел графин с какой-то цветной настойкой. Разлил ее по красивым хрустальным рюмкам, мы выпили. Одну, другую, третью. Пили мы с Зигмунтом. Хенек отказался.

Хенек. Мне блевать хотелось.

Зигмунт. Ладно, господа, пошли. Посмотрим, что делается в городе.

Дора. И они ушли. Закрыли за собой дверь и ушли. Самое ужасное, что хотя внутри у меня все болело, но было приятно... Эти гады меня изнасиловали — и что? Мне приятно. Я себя ненавидела. Что я за тварь?! И еще эти глаза Рысека... Такие красивые... Боже! Меня поразила тишина. Почему ребенок молчит? Что Зигмунт с ним сделал? Я вскочила и бросилась в кухню. Игорек сидел в корзинке, чмокал соской и улыбался.

Все.

В парижском салоне,
средь блеска и фальши,
в душе у Шопена
музыка Польши.

Крестьянские скрипки,
журчанье рек малых,
все то, что с младенчества
в душу запало.

Урок IX

Менахем. Я сидел в этом коровнике и изнемогал от жары. Внизу было ведро с водой, и я все время бегал туда пить. Пришла Зоська.

Зоська. Что ты делаешь, Менахем? Почему не сидишь наверху? Я иду в город. Погляжу, что там и как.

Менахем. Погляди, Зоська, умоляю. Что там с Дорой и Игорьком? До чего же жарко...

Зоська. Только спрячься, Менахем, заклинаю... Не дай бог Олесь увидит...

Зигмунт. Я пошел на рыночную площадь, там в доме 10 был НКВД, думал, вдруг они бросили какие-нибудь документы. Может, найду свое письмо Сталину. Из-за него я больше всего боялся. Одно только это письмо я подписал своим именем. Все остальное — фамилией "Попов". Но там уже были жандармы, от НКВД с их бумагами и следов не осталось. Новый бургомистр представил меня амтскомендану, сказал, что красные убили моего отца и на меня можно положиться. Амтскомендант, элегантный пожилой мужчина, видимо, австриец — отутюженная форма, белое шелковое кашне, — поглядел на меня внимательно и сказал по-польски: "Гут, поможешь навести орднунг с евреями".

Владек. Я спрятал Рахельку на чердаке. Даже мать ни о чем не догадывалась. Впрочем, по этой лесенке ей все равно было не взобраться.

Рахелька. Я сидела тихо, как мышка, вздохнуть боялась. Было невыносимо жарко...

Владек. Я побежал в город. На площади евреи ложками скребли мостовую. Вокруг стояли мужики с палками. За ними толпа баб и детей. Как на престольном празднике. Вокруг площади молодые евреи носили на снятой с коровника двери обломки памятника Сталину и пели советскую песню "Широка страна моя родная". Впереди шел раввин, нес на палке свою шляпу. Старик едва передвигал ноги. Жарища. Все обливались по́том, но те евреи, что, полумертвые, таскали эту груду камней, вышагивали и пели вроде бы с удовольствием. Музыканты подыгрывали им на гармошке и кларнете. Даже смотреть было противно. Тех, кто отставал, били палками или резиновыми дубинками. Откуда-то вдруг появился Хенек. В руке у него была толстая ветка.

Хенек. А ты, Владек, чего прохлаждаешься?! Взял бы хорошую палку да помог похоронить товарища Сталина.

Владек. Ладно, сказал я, сейчас возьму хорошую палку и буду помогать. А сам перешел на другую сторону площади и продолжал смотреть. Увидел, как Зигмунт избивает дубинкой портного Элека.

Зигмунт. Удрать собрался, поросячье рыло? Бросить семью и бежать? Разве мужчины так поступают? Так поступают только коммунисты! А не мужчины. Не слышал приказа господина амтскомменданта? Он велел вам си-

деть здесь и чистить землю, которую вы изгадили своим присутствием. Ясно?

Владек. Боже, подумал я, да что же это такое? Вернулся домой, залез на чердак и говорю Рахельке: "Рахелька, сиди тут. Не ходи никуда. В городе творятся страшные вещи. Похоже, погром".

Рахелька. А как же мама? Ребекка? Роза?

Владек. Выскребают ложками траву на площади.

Рахелька. Владек, помоги им, умоляю.

Владек. Ладно, попробую. Посмотрю, что можно сделать. Но даже не пытался. Всех разве спасешь?..

Хенек. Мы отвели их в овин, что у еврейского кладбища. Им разрешили сесть на землю. Люди упали почти замертво. Еле дыша. Оркестр играл "Утомленное солнце". Я заглянул в овин. В одном из закромов была выкопана свежая яма. Там стояли га́ллеровец[1] Селява, Сташек Колченогий, Тарнацкий, мясник Василевский, Олесь — Зоськин муж, старик Валек и Рысек. Все с топорами и длинными мясницкими ножами. Какими свиней режут. Валек держал еще кузнечный молот. Боже! — подумал я.

Рысек. Первыми привели раввина и портного Элека. Селява велел им раздеться. Раввина била дрожь. Нам стало смешно, что он так трясется. Раввин тоже захихикал. Тогда Селява подошел к нему сзади и обухом ударил по голове. Раввин аж подскочил. И упал. Тогда Селява воткнул топор в землю, выхватил из-за пояса нож, схватил раввина за бороду и смаху перерезал ему горло. От уха до уха. Хлынула кровь. "Учись, сынок", — сказал он. И вытер нож о песок. Мы взяли раввина за руки и за ноги, раскачали и бросили в яму. Портной Элек потерял сознание, так что с ним управились быстрее. Потом Селява распределил обязанности. Шестеро раздевали евреев. Потом держали. По трое на одного. Двое за руки. Один за ноги. Бронек оглушал топором, Валек — молотом. Селява с мясником перерезали горло. И вспарывали живот. Чтобы земля потом не шевелилась. "И так пускай скажут спасибо, что мы их по-христиански убиваем, — сказал Селява, — а не так, как они скотину режут. Пока вся кровь не вытечет..." Мне досталось держать за ноги. "Когда я устану, ты меня сменишь, — сказал Селява, — а пока смотри".

Хенек. Я не мог на это смотреть и вернулся на площадь.

1. Солдаты дивизий, сформированных во время Первой мировой войны генералом Галлером.

Дора. Я была на площади, выскребала ложкой траву между булыжниками. Вокруг собралась толпа. Все знакомые. Соседи. Смотрели на нас. Смеялись. Хуже всего сопляки-подростки. Эти швыряли камни. Били палками. Грозились изнасиловать. Старухи хохотали. Еще эта жара. Малыш плакал. От жажды. Мне тоже страшно хотелось пить. Я увидела в толпе Зоську. Помахала ей. Она подошла. Зоська, дай пить!

Зоська. Воды?

Дора. Воды. Чего угодно. Зоська, что с нами сделают?

Зоська. Что-что... Подержат да отпустят.

Дора. Зоська, возьми Игорька. Пусть у тебя побудет. Я боюсь. Пока Менахем не вернется.

Зоська. Ну как я могу его взять, Дора? Что Олесь скажет? Да ты не волнуйся. Все будет хорошо.

Дора. Зоська, меня изнасиловали. Рысек, Зигмунт и Хенек...

Зоська. Я чуть не упала. Голова закружилась. Отошла в сторону и вернулась домой.

Дора. Даже воды не принесла. Одноклассница...

Зоська. По дороге я ломала голову: как быть? Чужой ребенок! Только этого еще не хватало. Олесь мне покажет еврейского подкидыша! Я вернулась в деревню. Менахем прятался в коровнике.

Менахем. Ну что там, Зоська?

Зоська. Что-что... Бьют, насилуют, издеваются.

Менахем. Дору видела?

Зоська. Где я могла ее увидеть?

Дора. Пришел Зигмунт, велел нам встать парами.

Зигмунт. В интересах вашей же собственной безопасности господин амтскомендант и господин бургомистр приказали запереть вас в овине. Завтра вы отправитесь в гетто, в Ломжу. Сами видите, какое к вам отношение — не надо было прислуживать красным. Исполняйте приказ. Иначе... сами видите, что делается. Потом пеняйте на себя.

Дора. Мы послушно встали парами. Как в школе. Как будто нас ведут на экскурсию. Послушно пошли в этот овин. Нас провожали соседи! В основном, женщины. Они кричали: "Так вам и надо! Христоубийцы! Дьяволы! Коммунисты!" Что же это такое? Ведь Зигмунт сказал, что нас отправят в гетто, в Ломжу. На углу Кладбищенской улицы стоял Рысек. Весь грязный. С безумными глазами. Я закричала: "Рысек!" Он подошел и ударил меня дубинкой — я чуть ребенка не выронила.

Рысек. А что я мог сделать? Все вокруг смотрели. На самом деле, мне было жалко Дору. Она была красивая.

Дора. Как только все уместились в этом овине?

Менахем. Все местечко!

Абрам. Боже! Тысяча шестьсот человек — дети, женщины, старики...

Зигмунт. Тысяча шестьсот? Быть того не может! Даже если уложить, как сельдей в бочке, друг на дружку, все равно столько не влезет!

Хенек. Там и тысячи не было. От силы человек семьсот. А может, и того меньше.

Дора. Нас заталкивали в этот овин, били.

Рысек. Некоторые отчаянно сопротивлялись.

Дора. Земля в овине была словно только что вскопанная. Желтый песок, сверху разбросана солома.

Рысек. Мы закопали там тех жидов, зарезанных. И памятник Сталину.

Дора. Было душно. Жарко. Женщины теряли сознание. Дети кричали. Как дожить до утра?

Хенек. Мы подперли дверь жердями, подкатили камни. Валуны.

Дора. Запахло керосином. Все замолчали. Кто-то сказал, что это дезинфекция.

Зигмунт. Керосин лил Василевский. Шустрый такой коротышка. Бегал по крыше, как обезьянка. Мы ему только бутыли подавали. Когда он вылил весь керосин, я решил подшутить и потихоньку убрал лестницу. Василевский увидел — лестницы нет, вокруг горящие факелы, — и как завопит: "Дайте сюда лестницу, курва, курва, курва!" Орал будто резаный. Наконец как-то спрыгнул. Мы от хохота по земле катались.

Хенек. Все отошли, и мы подожгли овин с четырех сторон!

Рысек. Огонь вспыхнул моментально! Ясное дело — лето, жара, соломенная крыша.

Зоська. Этот крик я никогда не забуду. Господи!

Владек. Черный дым было видно чуть не за десять километров.

Дора. От дыма стало темно. Люди плакали. Кричали. Потом начали кашлять. Зачем они это сделали? Ведь Зигмунт говорил, что завтра нас отправят в гетто. Врун. Кто-то схватил меня за волосы, дернул. Я выронила ребенка. Кто-то меня ударил. Я тоже кого-то ударила. Рысек, Рысек.... Зачем? Я почувствовала, что наступаю на кого-то, на меня тоже кто-то наступил. А Менахем, небось, сидит у какой-нибудь девки. Я закашлялась, стала зады-

хаться, меня стошнило. Потом я описалась. И это вся моя жизнь?

Все (*поют*).

Зайди, зайди, солнышко,
поспеши немного,
давно уже ноют
усталые ноги.

Скорее, скорее
настала бы ночь,
болят у нас руки,
работать невмочь.

Когда бы, как мы,
ты так тяжко трудилось,
давно бы уже
за лесами бы скрылось.

Урок X

Владек. Когда все затихло, мы закопали евреев у овина — это было очень неприятно, но ничего не попишешь, кто-то же должен был это сделать, тем более, что господин амтскомендант сказал: "Жечь евреев вы умеете, а кто после вас станет убирать?" Мы взяли лопаты, вилы, топоры, кирки — сгорели ведь только евреи, что были сверху, а те, что внутри, просто задохнулись, да еще тела переплелись, точно корни деревьев: там ведь в основном были женщины и дети, которые прижимались, цеплялись друг за дружку, поэтому пришлось рубить их на куски и в таком виде сваливать в яму. Это было ужасно. К тому же стояла чудовищная вонь. Пахло гарью и дерьмом. Меня два раза вырвало. А хуже всего было, когда я увидел свою одноклассницу Дору и вцепившегося в нее малыша — я даже расплакался, не разрешил их рубить, а похоронил так. Кое-кто искал золото — золотые коронки, — но этих потом ожидал сюрприз: когда мы закончили, господин амтскомендант велел всем вывернуть карманы и раздеться догола, и если у кого чего находили, били так, что мало не казалось. Потом я вернулся домой, вымылся, надел чистую одежду, взял бутылку самогону и пошел к Зигмунту, Хенеку и Рысеку. Говорю им: так, мол, и так, мы ведь одноклассники, что было, то прошло, а теперь у меня вот какое дело — я спас Рахельку и хочу на ней жениться.

Зигмунт. Ладно, Владек, хочешь — дело твое. Сердцу не прикажешь. Только надо сперва ее крестить и обвенчаться по-людски, в костеле.

Хенек. Чтобы люди не болтали. Я поговорю с ксендзом. Только он катехизис очень строго спрашивает. Придется вызубрить.

Рысек. Венчаться — так венчаться, креститься — так креститься.

Зигмунт. Хенек поговорит с ксендзом. Владек влюбился, и мы должны ему помочь. Владек — наш одноклассник. А одноклассник — все равно что родственник. Может, даже больше. А самогон спрячь, Владек, — выпьем на твоей свадьбе.

Владек. Я пошел к матери и сказал, что Рахелька покрестится, станет католичкой и мы с ней обвенчаемся. В костеле. Мать промолчала. Только заплакала. Я ничего больше не стал говорить. Пошел наверх, к Рахельке, и все ей рассказал. Спросил, что она об этом думает.

Рахелька. Креститься? Венчаться? В костеле? Мне с тобой?

Владек. Рахелька! Я же хочу тебя спасти! Ты тут сидишь и не знаешь, что́ творится. У нас уже ни одного еврея не осталось. Всех убили. Креститься — другого выхода нет. Только катехизис придется вызубрить. Я договорился с ребятами, они помогут. Зигмунт, Рысек и Хенек.

Рахелька. Эти убийцы?

Владек. Рахелька, это наши одноклассники.

Рахелька. У тебя есть катехизис?

Владек. Ясное дело. Мы спустились вниз, я сказал матери, что теперь Рахелька будет жить с нами. Мать промолчала. Я дал Рахельке катехизис. Она села у окна в сад и начала читать. Вечером пришел Хенек.

Хенек (*Рахельке*). Четвертая церковная заповедь?

Рахелька. Исповедайся в грехах по меньшей мере раз в год и принимай на Пасху святое причастие.

Хенек (*Рахельке*). Молодец. Седьмое таинство?

Рахелька. Брак.

Хенек. Молодец. Третье условие хорошей исповеди?

Рахелька. Твердое намерение исправиться.

Хенек. Молодец. Пятая заповедь?

Рахелька. Почитай отца твоего и матерь твою.

Хенек. Плохо! Не убий! Учи как следует, Рахелька, не то ксендз откажется тебя крестить. (*Владеку.*) Ксендз запросил шесть четвертей ржи.

Владек. Откуда ее взять?

Хенек. Слушай, Владек, не валяй дурака! Ксендз шутить не любит. И пошел — я уже стал немного злиться на Владека. Мать плачет, эта до сих пор ни в зуб ногой, а он еще кочевряжится.

Рахелька. Вот, Владек, возьми.

Владек. Что это, Рахелька?

Рахелька. Кольцо. Мамино. Бабушкино. И прабабушкино.

Владек. Я купил ржи и отвез ксендзу. Он даже не соизволил выйти. Передал через прислугу, чтобы высыпали на чердаке, в плебании. Я поднялся на чердак, а там горы зерна, и все поедено долгоносиком. Мою рожь часа за три сожрет. Мать так слова и не сказала, но принесла Рахельке свое свадебное платье и перчатки. В костел поехали на бричке. Рахелька, я, Зоська — она согласилась быть крестной матерью и свидетельницей, Зигмунт — крестный отец и Рысек — свидетель. Ну и Хенек, который всю дорогу проверял, хорошо ли Рахелька вызубрила катехизис. Было, в общем, даже весело. Только раз мы поспорили — когда они спросили, какое имя мы хотим дать Рахельке при крещении.

Зигмунт. А какое имя мы дадим Рахельке?

Владек. Мария.

Зоська. Красиво.

Хенек. Владек, ты с ума сошел? Хочешь еврейку назвать именем Богоматери?

Владек. А Богоматерь, по-твоему, кто?

Рахелька. Пускай будет Марианна.

Хенек. Марианна?

Зигмунт. Так лучше. Гораздо лучше.

Рысек. Марианна — это можно.

Зоська. Тоже красиво.

Рахелька. Так я стала Марианной. Ехала в бричке по городу, где не осталось ни одного еврея, а из еврейских домов, из окон, с порогов, с крылечек на меня с ненавистью глядели новые хозяева. Мне даже не приходилось закрывать глаза, чтобы увидеть рядом с ними прежних. Тогда я впервые пожалела, что осталась жива. Все прошло как по маслу. Катехизис меня не спросили. Приходской священник даже не появился. Крестил меня, а потом венчал нас с Владеком какой-то молодой ксендз. Очень симпатичный. Когда мы возвращались, на улицах было пусто. Только на Сокольской какая-то баба, завидев нас, сплюнула!

Владек. На счастье!

Марианна. Мать Владека собрала на стол: колбаса, ветчина, бигос, водка и компот. И ушла к соседке.

Владек. Но одноклассники наши пришли. Почти все.

Зигмунт. Я.

Рысек. И я.

Хенек. И я.

Зоська. И я была.

Дора. И я.

Якуб Кац. Я тоже.

Абрам. Можно сказать, что и я был...

Менахем. Меня не было, но Зоська все мне рассказала.

Зигмунт. Дорогая Марианна и дорогой Владислав! Владек! На новом пути вашей жизни — пока трудной, но, может, дальше будет легче — хочу пожелать, чтобы ваша любовь расцветала пышным цветом. А теперь давайте споем невесте — она у нас, так уж вышло, сирота — польскую сиротскую свадебную песню! Чтобы она всегда знала и помнила, что мы всё помним! Но сперва давайте выпьем! Ваше здоровье! Мазлтов!

Все. Мазлтов!

Зоська (*запевает*).

Полный двор у нас коней стоит,
Полна горница гостей сидит.
Одного-то гостя нет у нас...

Все (*поют*).

Что родимой да матушки...

Зигмунт. А потом она тоскует по батюшке, сестрицам, братьям и так далее! Твое здоровье! Мазлтов! Лехаим!

Все. Ваше здоровье! Лехаим! Мазлтов!

Владек. Спасибо, ребята! Спасибо! Мы с Марианкой очень рады, что в такой день вы с нами. Ешьте и пейте вволю! Чем хата богата, все, как у людей! Матушка постаралась! Нелегко пришлось, но что за свадьба без бигоса!? Зельц, ветчинка и кореечка! И отбивные! Марианна, ты теперь христианка, должна научиться есть по-нашему! Ну, ребята, лехаим!

Все. Лехаим!

Зигмунт. А теперь, молодожены, подарок! Подсвечник! Чистое серебро! Нравится?

Якуб Кац. Чей это?

Дора. Мой!

Абрам. Боже!

Менахем. Твою мать!..

Владек. Спасибо.

Марианна. Красивый!
Хенек. А от меня — поднос. Чистое серебро!
Дора. Чей?
Абрам. Мой.
Якуб Кац. Боже.
Менахем. Твою мать!
Владек. Спасибо.
Марианна. Красивый.
Рысек. А от меня — сахарница. Чистое серебро!
Абрам. Чья?
Якуб Кац. Моя.
Дора. Боже!
Менахем. Твою мать!
Владек. Спасибо.
Марианна. Красивая.
Зоська. Скатерть. И салфетки.
Дора. Чьи?
Рахелька. Мои?..
Зоська. Правда? Олесь принес...
Абрам. Боже!
Менахем. Твою мать!
Марианна. Красивые.
Владек. Лехаим! Теперь — танго-милонга. Танцуют все!
Все. Лехаим! (*Поют и танцуют танго-милонга.*)
Зигмунт. Потанцуем, Зоська?
Зоська. С тобой, Зигмунт, — с удовольствием!
Зигмунт. Что́ в деревне? Как там твой старик?
Зоська. Ничего, только все охает да кряхтит.
Зигмунт. Так ты у нас скоро богатой вдовой станешь. Тебе мужик понадобится! Ты уж тогда про меня не забудь.
Зоська. Хватит, Зигмунт, перестань!
Дора. Потанцуем, Рысек?
Рысек. Дора, что я мог сделать?! Я хотел тебе помочь, но не мог! Все смотрели... Я любил тебя, а ты вышла за Менахема! Я тебя любил, Дора! Уйди! Сгинь! (*Вынимает пистолет и стреляет.*) Оставь меня! Оставь! Вон отсюда!
Мужчины. Что с тобой? Брось ствол! Пьяный, что ли? Так иди домой, проспись!
Зигмунт. Что тут, курва, происходит?!
Якуб Кац. А ты думаешь, Зигмунт, Рысек никогда не узнает, кто на него красным донес? Правду не закопаешь.
Зигмунт. Что, курва? Кто это здесь?
Хенек. Ребята! Дорогие мои одноклассники! Хочу открыть вам свой самый главный секрет. Исполнилась моя меч-

та. Епископ дал согласие! Я уезжаю в Ломжу! Буду учиться на ксендза!

Владек. Какое счастье! Лехаим! (*Пьет.*)

Все (*пьют*). Лехаим!

Марианна. Иди спать, Владек! Хватит!

Все.

На тропинку сел жучок,
словно бы листочек —
мой зеленый сюртучок
не помни́, дружочек.

Ты смотри не запыли
сюртучок мой новый,
шили мне его шмели,
а кроили совы.

Урок XI

Марианна. Владек был совершенно пьян и сразу уснул. Я сняла с него ботинки; брюки не сумела. Легла рядом. Мне не спалось.

Зоська. Зигмунт и Рысек проводили меня до самого дома. Я боялась, что Менахем вышел из укрытия и они на него наткнутся, поэтому притворялась пьяной — нарочно громко говорила, смеялась, как дурочка.

Зигмунт. Зоська, может, посидим подождем, пока твой старик проснется?

Зоська. Это где же мы будем ждать, Зигмунт?

Зигмунт. А на сене, в овине!

Зоська. У старика чуткий сон, Зигмунт!

Зигмунт. Зоська, когда же ты, наконец, станешь вдовой?

Зоська. Хватит, Зигмунт, перестань!

Зигмунт. И мы ушли — я хотел еще поговорить с Рысеком.

Рысек. На воздухе мы оба протрезвели.

Зигмунт. Все хорошо, пока свидетелей нет.

Рысек. Каких свидетелей? Ты про Менахема? Да никуда он от нас не денется, киношник этот!

Зигмунт. Я не о нем. Менахем ничего не знает. Если вообще жив.

Рысек. А о ком?

Зигмунт. Сам знаешь.

Менахем. Им и в голову не приходило, что нас разделяет пара метров. Эх, мне бы хоть какой-нибудь ствол. Или

топор хороший. Избавил бы человечество от этих мерзавцев! Но пришлось все выслушать. Молча. Когда они ушли, прибежала Зоська.

Зоська. От меня водкой пахнет — пришлось выпить. Попробуй не выпей — на свадьбе-то! Боже, Менахем, какой это был кошмар. Бедная Рахелька! Что за жизнь ее ждет! А нас? Господи, Господи...

Менахем. Я крепко ее обнял. Ну а дальше — понятное дело...

Зоська. Только осторожно!

Менахем. Я осторожно!

Зоська. А то — мне только этого не хватает! Все знают, что Олесь уже старый.

Менахем. Зоська...

Марианна. Меня разбудил Владек. Молча раздвинул мне ноги и вошел. Было больно. Это же первый раз. Глаза у Владека налились кровью. Изо рта несло перегаром и бигосом. Он быстро кончил. Лег рядом. Закурил и сказал:

Владек. Мать уже прибралась. Ты и вправду первый раз? А еще говорят, все еврейки — шлюхи.

Марианна. Что я могла сказать? Я подумала обо всем, что случилось. Вспомнила маму, Ребекку и Розу, которых поляки сожгли в овине. Папу, чье сердце не выдержало того, что́ красные сотворили с его мельницей. Вспомнила, что я осталась совсем одна. С этим придурковатым поляком и его стервой-матерью, которая относится ко мне хуже, чем к собаке — с той она хоть разговаривает. Подумала, что надо взять веревку, пойти в овин и повеситься. С другой стороны, дурак-то он дурак, но ведь спас меня. Наперекор матери, друзьям, всему миру. Он смелый и упрямый. Похоже, меня любит. Только бы не обижал наших детей! Дети! Вот, что самое главное! А евреи и не такое переживали. Я надела шерстяную юбку и рубашку. Повязала по-деревенски голову платком и спросила: "Что надо делать, Владек?"

Владек. Мне понравилось, как она это сказала. Я поцеловал ее и говорю: "Пошли, позавтракаем, а потом я тебе покажу хозяйство. Посмотрим, что ты умеешь".

Менахем. Прятаться было невыносимо. Книг у Зоськи оказалось всего две — Библия и советский учебник "Трактора и сельскохозяйственные машины" Волкова и Райста. На Библию я сначала смотреть не мог. Слюнявые сказки для идиотов. Но после всего случившегося кое-что постепенно западало в душу. Да не пощадит глаз твой: душу за ду-

шу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Старик все реже выходил из дому, а зимой уже почти не вставал с кровати. Все хозяйство было на Зоське. Но она приходила ко мне почти каждый день. Это было единственное, что осталось во мне человеческого.

Зоська. Только осторожно, Менахем.

Менахем. Я осторожно, Зоська...

Марианна. Я пыталась подражать деревенскому выговору, коверкала слова... все напрасно. Мать Владека думала, я ее передразниваю, и продолжала молчать. Я говорила: с Богом, хвала Господу, Бог в помощь. Она злобно бормотала что-то в ответ. Наконец я забеременела. Тогда все и случилось.

Владек. Я поехал за дровами в лес.

Рысек. Я в это время был уже шуцманом[1]. Получил велосипед, автомат, форму с фуражкой. Конечно, это было прикрытие. На самом-то деле я работал на подпольную организацию. Не на немцев.

Зигмунт. Это я его уговорил.

Рысек. Пришел приказ вывезти всех оставшихся евреев в гетто, в Ломжу. Но у нас ведь никого не осталось...

Зигмунт. А Марианка?

Рысек. Марианка?

Зигмунт. Приказ есть приказ, Рысек. Она жива, и у нас могут быть неприятности. Владек еще молодой, найдет себе жену.

Рысек. Я увидел, что Владек куда-то поехал на телеге. Взял автомат, сел на велосипед и отправился к ним.

Владек. Я уехал в лес на целый день.

Марианна. Я увидела жандарма в окно. Спряталась.

Рысек. Открыла мать Владека. Я объяснил, в чем дело, она обрадовалась, позвала Рахельку. Та — плакать.

Марианна. "Рысек, сжалься! Я жду ребенка!" Он ничего не ответил. Зато отозвалась свекровь: "Приказ есть приказ, ничего не поделаешь".

Рысек. Я связал Рахельке руки веревкой и сказал, что, если она попытается бежать — застрелю.

Владек. Случилось чудо. В лесу гляжу: забыл точило для топора. Если б не это — все было бы кончено. Я вернулся домой. Мать мне: был, мол, жандарм, увел Марианну. "Куда увел?" — "А в гетто!" Я выпряг лошадь, оседлал, сунул в карман доставшийся от красных наган. Мать в

1. Полицейский.

крик: "Далась тебе эта жидовка!" — "Заткнись, — говорю, — еще раз услышу — пожалеешь!"

Рысек. Я увидел: человек на коне — и сразу понял, кто это.

Марианна. Он мчался, словно Скшетуский на помощь Оленьке!

Владек. Я увидел их издалека. Рысек ехал на велосипеде, а она бежала за ним на веревке. Беременная. От ярости у меня потемнело в глазах, я сунул руку в карман и взвел курок.

Рысек. Я остановился. Сдернул с плеча автомат, снял с предохранителя. И говорю: "В чем дело, Владек?"

Владек. "В чем дело, Рысек?" А сам стараюсь подойти к нему поближе. "Что случилось?"

Рысек. Я гадал, есть ли у него оружие. "Всем евреям приказано идти в гетто". Похоже, есть. "Не приближайся, буду стрелять".

Владек. "Давай поговорим, Рысек, говорю, обсудим все. Мы ведь одноклассники". И, не вынимая наган из кармана, выстрелил ему в живот.

Рысек. Ты что, Владек? В одноклассника стреляешь?

Марианна. Он выронил автомат и упал вместе с велосипедом. Я тоже упала. Наверное, Рысеку было очень больно, потому что он заплакал.

Владек. Ты хотел, сукин сын, ее в лесу застрелить, чтобы не осталось свидетелей того, что вы натворили, да?

Рысек. Это Зигмунт приказал! Владек, добей меня, курва, не могу больше! Господи, как больно! Дора...

Владек. Я выстрелил ему в ухо. Все-таки одноклассник...

Рысек. Куда мы идем, Дора?

Дора. Никуда, Рысек, мы уже пришли.

Марианна. Что мы наделали, Владек?

Владек. А что нам было делать? Дать себя убить? Как эти твои евреи?

Марианна. Что же теперь будет?

Владек. Да ничего не будет. Спишут на партизан... Придется только спрятаться.

Марианна. С ребенком?

Владек. "Ничего, справимся". Я раздел Рысека до трусов и затащил в лес. Велосипед и форму бросил в Нарев. Сапоги и автомат спрятал на дереве. Мы вернулись домой, мать увидела Марианку, но ничего не сказала. Я тоже — ни слова. Запряг лошадь, положил в телегу кое-какую одежду, перину, одеяла, немного еды и денег. Переночевали мы у Зоськи.

Зоська. Что случилось?

Владек. Я объяснил что́ и как, попросил пустить нас на пару ночей, пока я не договорюсь с дальними родственниками.

Менахем. Я видел их и слышал весь разговор, но не показывался.

Зигмунт. Рысека нашли через два дня. Лисы обглодали ему ноги, руки, лицо. Говорили, будто его убили партизаны. Но жандармы застрелили мать Владека и сожгли их дом.

Владек. Я, понятное дело, не был на похоронах. Мы поехали к тетке в Конопки. Та увидела Марианку и даже на порог нас не пустила. Дядя, может, и разрешил бы, но его сын, староста, сказал, что отвечает за всю деревню. Я объехал почти всех родственников. Дальних, близких. Никто, ни один человек не согласился нам помочь.

Марианна. Мы ночевали в лесу, в оврагах, в бункерах вместе с крысами. Когда удавалось помыться — это был праздник.

Владек. Главное, что не голодали. У меня с собой были книги. Я читал вслух.

Марианна. У него была "Трилогия" Сенкевича. Дочитав до последней страницы, он начинал сначала. В одних и тех же местах смеялся, в одних и тех же плакал! Господи, я думала, с ума сойду! Просила, умоляла: "Владек, давай я тебя английскому научу, пока есть время. Или бухгалтерии. Ведь кончится же когда-нибудь война".

Владек. Это мысль. Английский. После войны уедем в Америку.

I speak English.

You speak English.

He speaks English...

Марианна. Через двадцать минут он засыпал.

Владек. Ну нет у меня способностей к языкам.

Зоська. Олесь потребовал, чтобы я нажарила ему рыжиков с луком. Наелся, живот вздулся, и он умер. Ну и пошли слухи, будто я его отравила.

Менахем. Я перебрался из коровника в хату и прятался теперь там. Вот было счастье!

Марианна. Роды начались в бункере.

Владек. Я принимал роды. Боже! Я знать не знал, что надо делать!

Марианна. Я рожала и говорила ему, что делать. Хотя сама ничего не знала.

Владек. Я старался, как мог, но ребенок умер.

Марианна. Это была девочка. Прелестная. Здоровая.

Владек. Умерла через несколько часов. Может, оно и к лучшему — втроем мы бы не выжили. С маленьким ребенком? Да никогда.

Марианна. Я думаю, он ее задушил, пока я спала.

Владек. Мы похоронили ее в лесу.

Марианна. Под именем Доротка.

Владек. Когда война закончилась, мы вернулись на мельницу. Мой дом сожгли немцы.

Марианна. Все было разграблено, сломано, испоганено, даже деревья в саду выкопаны.

Владек. Каким-то образом удалось запустить мельницу. Чудом. Конечно, с русской турбиной она работала не так, как с довоенной, швейцарской, но все же. Однажды пришел Зигмунт. Принес литр водки.

Зигмунт. Мир!

Владек. Мы же одноклассники — выпили и помирились.

Зигмунт. Обо всем условились — чего не касаться, о чем не говорить.

Владек. Главное, чтобы Марианка была в безопасности, верно, Зигмунт?

Зигмунт. А как же! Чтобы никто не смел ее обижать! Никто!

Владек. На следующий день я сказал Марианке, что война закончилась и она свободна. Может уйти, если хочет. Но Марианка заявила, что никуда не пойдет, потому что перед Богом и перед людьми она — моя жена и все тут.

Марианна. Вот только детей у нас больше не было.

Все.

С гордостью законной,
оглянись вокруг:
ты же ведь — сын Польши,
Коперника внук.

Над Вислой голубою
старый Торунь дремлет...
Поляк остановил Солнце
и закрутил Землю.

Урок XII

Зоська. Не знаю, как Зигмунт догадался, что это я спрятала Менахема.

Зигмунт. Зоська, признайся по-хорошему. Мы знаем, что он у тебя всю войну скрывался! Ты и Олеся грибами отравила, чтобы спать с этим пархатым. Ну и дурак же я, что сразу не допер!

Зоська. "Да ты что, Зигмунт? Какой еще Менахем?" Он залепил мне пощечину.

Зигмунт. Я велел товарищам подождать во дворе.

Менахем. Я все слышал, но что мне было делать?

Зоська. По правде говоря, я сама согласилась. Только бы он не стал искать Менахема. Я понимала, что, если они хорошенько поищут — непременно найдут.

Зигмунт. Ты, Зоська, помни: мы — не бандиты. Мы — польская армия. Если этот паршивый большевик не объявится, мы вернемся сюда и поговорим с тобой иначе, а потом тебя расстреляют от имени Республики Польша!

Менахем. Когда они ушли, я вылез из укрытия.

Зоська. Надо отсюда уезжать.

Менахем. Поедем в Америку. Надо бежать. Обо всем забыть. Начать новую жизнь. Здесь нас убьют. Мстить не имеет смысла. Иначе жизни не будет.

Зигмунт. Однажды я сел и написал Абраму письмо.

Дорогой Абрам!

В первых строках своего письма сообщаю тебе грустную весть: наш одноклассник Якуб Кац и наша одноклассница Дора со своим ребенком, а также все наши евреи мертвы — их убили гитлеровские нелюди, заживо сожгли в овине женщин и детей. Никого из твоих родных не осталось! Нет раввина. Убит гадами и наш одноклассник Рысек. Нет слов описать, что вытерпела наша родная Польша, наш народ и наши несчастные одноклассники.

Боже, зачем ты подвергаешь нас таким испытаниям?

Желаю тебе всего доброго. *Зигмунт.*

Абрам. Дорогой мой товарищ Зигмунт,

твое письмо надрывает мне сердце. Я плачу день и ночь, и даже в молитве не нахожу утешения. Значит, нет больше на свете нашего Якуба Каца? И Доры? И нашего товарища Рысека?

Я вспомнил, как в день моего отъезда собралась родня — все пошли со мной, когда я прощался с синагогой и могилами предков. Помню, как дядя Бенек, мамин брат, всю дорогу играл на кларнете, а бедная моя мама, не переставая, плакала, словно что-то предчувствовала. Но она, бедняжка, наверное, беспокоилась обо мне — о том, что может случиться с ее сыном, а не о своей судьбе, о

том, что злодеи запрут ее в овине и сожгут заживо. Вместе с другими евреями нашего местечка. Из всей нашей большой семьи остался один я.

Не могу писать, дорогой мой товарищ Зигмунт, потому что слезы текут уже не ручьем, а рекой. Напиши, не нужно ли тебе чего-нибудь.

Твой *Абрам.*

P. S. Будь здоров, и да хранит тебя Всемогущий Господь.

Зигмунт. Дорогой Абрам!

Нам ничего не нужно. Худо-бедно справляемся. Как говорится, гол, да не вор, беден, да честен. Мы хотим увековечить память об этом страшном событии, поставить памятник. Если бы ты сумел помочь скромной суммой, мы были бы благодарны.

С приветом. *Зигмунт.*

P. S. Моя жена Хеленка, с которой ты не знаком, шлет тебе привет.

Зоська. Я продала все, что можно, и мы уехали в Лодзь.

Менахем. У меня были там знакомые из Вильно — еще с тех пор, как я туда ездил по киношным делам. Нам помогли с работой. Я устроился в театр электриком. Зоська — гардеробщицей. Оказалось, что она беременна.

Зоська. Надо избавиться от ребенка.

Менахем. Зачем?

Зоська. Неизвестно, чей он. Твой или его? Я не знаю. Не знаю. Не знаю. Господи, что делать? Нам тут никогда не дадут жить спокойно. Тебя убьют. Меня убьют. Обещай, что мы уедем! Поклянись!

Менахем. Я поклялся, но после аборта отношения у нас стали портиться.

Зоська. Ты обещал, что мы уедем! Когда?

Менахем. Уедем, детка, я же сказал!

Зоська. Снова ты пьяный, черт тебя побери! Где ты был? В "Актерском", да?

Менахем. "Детка, надо подсобрать деньжат на дорогу! Ты же знаешь". И я собрал. Занял у одной актрисы, любовницы полковника НКВД, у которой осело добро, наверное, половины виленского гетто. Купил Зоське билет и проводил в Вену.

Зоська. Ты приедешь?

Менахем. "Приеду, детка, как только смогу". Зоська так высовывалась из окна, что я боялся, как бы она не выпала.

Зоська. Он стоял на перроне. В своем светлом пиджаке. Я думала, у меня сердце разорвется. Словно чувствовала, что вижу его в последний раз.

Менахем. У меня была простая цель. Заработать немного денег и убраться из этой страны. Один приятель посоветовал, что самое доходное дело — официальное мародерство. А кто у нас самый официальный мародер? ГБ.

Зоська. В New York мне очень помог Абрам. Приютил, пока я не нашла комнату и работу. Его семья жила в скромном доме. Куча детей. Жена Абрама, кажется, меня полюбила. Мы разговаривали часами. Абрам хотел знать все. Каждую мелочь. Когда я рассказала ему, кто на самом деле сжег евреев, он сперва не поверил. Показал мне письма Зигмунта. Я засмеялась.

Абрам. Я думал, сойду с ума. А я еще этому негодяю деньги посылал. Тогда я написал письмо в польское правительство.

Я, Абрам Бейкер, в 1937 году уехал в Америку.

В Польше остались мой дед Хаим и мой дед Якуб, моя бабушка Роза и моя бабушка Фейга.

Мой папа Шломо и моя мама Эстерка.

Мои братья Хаимек, Изя и Кубек.

И мои сестры: Лейча, Фруня и Фаня.

Мои дядья по матери: Мендель, Иосиф, Шаоль, Райзер, Давид и Шмуль.

И мои тетки по матери: Хана, Сара, Хинда, Дебора, Моли и Зизи.

Мои дядья по отцу: Исаак, Акива, Яша, Зелиг, Бенек и Шимон.

И мои тетки по отцу: Рахеля, Леа, Мириам, Зельда, Гитель и Годль.

Мои двоюродные братья: Шмулек, Монек, Янек, Давид, Урек, Вельвусь, Адась и Элек.

И мои двоюродные сестры: Зузя, Хайка, Фримча, Итка, Тыля, Геня, Мальча, Соня, Ядзя и Дуня.

Все они были сожжены поляками в овине. Убийцы, забравшие себе все их имущество, живут теперь в их домах. Так что же — эти бандиты и воры могут спать спокойно? Что говорит по этому поводу ваш ксендз? Церковь? Польское правительство?

Все.

Патриот Сенкевич
истину поведал:
из вчерашней славы
вырастут победы.

Менахем. В сорок восьмом, где-то под конец лета — да, точно, я как раз был в Ястарне, в отпуске, — меня вызвал полковник и сказал, что есть приказ открыть следствие по делу участия поляков в убийстве евреев в начале немецкой оккупации и что народная власть уполномочила меня участвовать в нем под оперативным псевдонимом Здислав Холева. И добавил от себя лично: "Наподдай этим сукиным детям, которые изнасиловали и убили твою жену, но только в рамках закона. Пусть народная власть хорошо себя зарекомендует..." ну, и все такое.

Зоська. Любимый! Почему ты не приезжаешь? Ты даже себе не представляешь, как я тоскую!

Менахем. Я написал Зоське, что мне поручили важное дело, и больше я ей писать не смогу.

Зоська. Семья, в которой я тогда работала, была очень культурная. И муж, и жена — профессора. Евреи. Говорили по-польски. Когда к ним приходили friends, они представляли меня и добавляли: "Это наша Зося, которая во время войны спасала евреев". А friends только качали головой: "Не может быть! Ведь поляки такие антисемиты". Это было после того, как Менахем сообщил, что не сможет больше писать из-за своей ответственной работы, я была вся на нервах, разозлилась и сказала: "А чем американцы помогли евреям во время войны?" Хлопнула дверью и ушла. Села в метро. Несколько часов ездила просто так, без всякой цели. Наконец вышла в польском районе. Услышала, как какой-то парень говорит своей девушке по-польски: "Я тебя, курва, люблю, а ты спишь". Я села на скамейку и расплакалась. Боже! Мне тридцать лет. Что делать? Этот сукин сын сказал, что даже писать больше не будет. Приехать он тоже не может. Железный занавес. Как мне жить? Ни мужика. Ни детей. Ни образования. До конца дней работать в прислугах? У евреев? И тут рядом присел Януш. "Почему вы плачете? Жаль портить слезами такие глазки". И все такое. Через две недели мы поженились. Абрам был в ужасе.

Абрам. Зоська, что ты делаешь?! Как можно выходить замуж за человека, которого знаешь две недели? А как же Менахем? И потом, надо получить образование! Ты ведь даже английский до сих пор толком не выучила! А работа? Эти благородные евреи, с которыми ты так

обошлась... Чем они могли помочь во время войны? Чем я мог помочь? Подумай сама! Не ожесточайся. Они хорошие люди. Образованные. Помогут тебе, если захочешь получить аттестат зрелости. Или высшее образование.

Зоська. Не смеши меня, Абрам. Какое там высшее образование... Я выхожу замуж. А о Менахеме даже слышать не желаю. Свинья он и больше ничего. Избавился от обузы.

Зигмунт. За мной пришли под утро, на глазах жены и детей надели наручники и на "газике" отвезли в Ломжу, в ГБ.

Хенек. Они явились в плебанию. Пес рвался с цепи, лаял. Его застрелили. Надели на меня наручники, отвезли в ГБ.

Владек. Пришли на мельницу, надели наручники, отвезли в ГБ.

Зигмунт. Меня привели в какую-то комнату. Посадили на табурет. Шторы задвинуты. Хотя за окном светило солнце. Лампа в лицо. За столом — Менахем.

Менахем. Поручик Здислав Холева. Буду вести ваше дело. Фамилия?

Зигмунт. Менахем, это ты?..

Менахем. Я встал из-за стола.

Зигмунт. Он встал из-за стола.

Менахем. Подошел к нему.

Зигмунт. Подошел ко мне.

Менахем. И дал ему по морде.

Зигмунт. И со всей силы ударил меня по носу. По-моему, у него был кастет. Я услышал, как что-то хрустнуло. Упал с табурета и потерял сознание.

Менахем. Чушь. Какой еще кастет? Меня немного занесло, когда я увидел улыбку этого сукина сына, который изнасиловал мою жену, сжег моего ребенка и убил моего друга. Не говоря уже о тысяче других.

Зигмунт. Они облили меня водой. Я пришел в себя. Нос распух. Глаза едва открывались. Что делать? К кому обратиться? За что меня взяли? Кто может помочь?

Менахем. Ты должен называть меня "пан поручик". Ясно?

Зигмунт. Есть, пан поручик.

Менахем. Я подумал, что жалко тратить время на протокольные вопросы. Я ведь знаю о тебе все, сукин ты сын. Например, что ты живешь в доме убитого тобой раввина. А вот интересно, знают ли об этом твоя жена и твои дети? Знают ли они, что в сорок пятом ты был одновременно вожаком банды и председателем совета гмины?

Милиционеров сдавал бандитам, а бандитов — милиции. Когда как было выгоднее. Вот только свидетелей, курва, не осталось, подумал я.

Зигмунт. А ты, курва, попробуй найди свидетелей, подумал я.

Менахем. Но сейчас меня интересует только одно. Что ты сделал с Якубом Кацем 24 июня 1941 года на углу Пшитульской и Нового Рынка?

Зигмунт. Ах вот о чем речь! Не понимаю, что вы имеете в виду, пан поручик. Насколько мне известно, 24 июня Якуб Кац был убит немцами...

Менахем. Мне не хотелось его бить. Я просто вызвал ребят и приказал с ним поработать.

Зигмунт. Они били меня палками, обливали водой и опять били. Приходил врач, говорил, что можно продолжать, и они продолжали. Этот сукин сын только заглядывал время от времени и спрашивал, кто и когда убил Якуба Каца. Боже! Но я уже знал, что делать.

Хенек. Меня привели в темную комнату, посадили на табурет. Лампа в лицо, за столом — Менахем.

Менахем. Я поручик Здислав Холева, буду вести ваше дело. Фамилия?

Хенек. Если ты, Менахем, — Здислав Холева, то я — китайский император.

Менахем. Я встал.

Хенек. Он встал.

Менахем. Я подошел.

Хенек. Он подошел.

Менахем. И ударил его по морде.

Хенек. И со всей силы ударил меня по лицу. Я сказал: "Бог тебя простит, брат мой". И подставил вторую щеку.

Менахем. Я врезал ему по второй. Он подставил третью. Я разозлился и позвал ребят. "Вспомни, кто убил Якуба Каца", — сказал я. И велел ребятам приниматься за дело.

Хенек. Меня били. Обливали водой. Опять били. Приходил врач, говорил, что можно продолжать, и они продолжали. И всё спрашивали про Якуба Каца.

Менахем. Позвонили из министерства: "Что ты творишь, Менахем? Зачем издеваешься над ксендзом? На хер нам война с костелом? Ты что, хочешь, чтобы из него мученика сделали?" Курва, ничего в этой стране не добьешься! У ксендзов везде свои люди.

Владек. Из подвала меня привели в светлую, солнечную комнату. Глаза с трудом приспосабливались к свету. Посадили на стул. Смотрю — входит Менахем. Я очень обрадовался.

Менахем. Привет, Владек, рад тебя видеть.

Владек. Менахем, сколько лет, сколько зим! Я так рад! Как там Зоська?

Менахем. Зоська в Америке. Но письма не доходят. Сам понимаешь, Владек.

Владек. Понимаю, Менахем. За что меня посадили? Марианка одна на мельнице осталась. Ты же знаешь, что это за работа. Она не справится.

Менахем. Ладно. Скажи только, кто убил Якуба Каца?

Владек. Хорошо, Менахем.

Менахем. Мало-помалу картинка стала складываться. Зигмунт в конце концов признался. Хенек — нет, но у нас имелось свидетельство Владека. И других. Получилось убедительно. Начался процесс.

Зигмунт. Я не признаю своей вины. Показания были получены поручиком Холевой путем применения побоев и пыток.

Хенек. Я не признаю своей вины. Показания были получены путем насилия. В тот день меня вообще не было на рыночной площади. Насколько я знаю, Якуба Каца убили немцы.

Владек. Я не видел, что обвиняемые делали в тот день, потому что меня в тот день не было в городе.

Марианна. Я хочу подтвердить слова мужа. Его в тот день не было в городе — он спасал мне жизнь. И еще: я выкрест и осталась жива, в частности, благодаря Зигмунту, который стал моим крестным, и ксендзу Хенрику, который все организовал. По отношению ко мне они никогда не проявляли антисемитизма.

Менахем. Я ушам своим не поверил. Зачем ты это делаешь, Рахелька?

Марианна. Как ты не понимаешь! Ты приехал и уедешь. Месть? Око за око? А помнишь закон Архимеда? А что Кант говорил о звездах — помнишь?

Все.

Что еще за бред?
Ты не Архимед!
Хватит бегать голым —
возвращайся в школу!

Ведь любой ребенок
выучил с пеленок,
что в горячей ванне
всяк худее станет.

Менахем. Я вернулся в Варшаву. Получил орден Строителей Народной Польши. Новую квартиру. На Мокотове. Семьдесят квадратных метров. И отвратительную работу. С подпольщиками.

Зигмунт. Мне дали пятнадцать лет. Хеленка осталась одна с Ханей, Малгосей и Юреком. Как мальчик будет расти без отца? В тюрьме в Равиче я подумал: надо бороться. Что мне терять?

Менахем. Я начал пить. Крепко. Это было похоже на кошмарный сон. Побои, крики, кровь, потом водяра, дансинг и шлюхи. И опять все сначала.

Зигмунт. Я написал генсеку. Ответа не получил. Премьеру. Тишина. Еще раз. Снова молчание. А потом меня вызвали к начальству. Смотрю — сидит какой-то тип в штатском. Не еврей.

Менахем. Я пробудился от этого сна после смерти Сталина, когда меня арестовали. И обвинили в "использовании противозаконных методов следствия". Курва! Те, кто меня обвинял, действовали точно так же. Свидетелями выступили палачи. И Зигмунт.

Зигмунт. Я охотно подтвердил, что обвиняемый использовал сорок видов пыток. В том числе ломал дверью пальцы. Загонял иголки под ногти. Бил милицейской дубинкой по гениталиям. Голым задом сажал на ножку стула.

Менахем. "Что ты несешь, сукин сын! Когда это я тебе пальцы ломал? И где у тебя вторая дырка в жопе?" Я бросился на него, но нас растащили! Я получил десять лет. И предложение. Или тюрьма, или вон из Польши!

Зигмунт. Я вернулся домой. К Хеленке, Хане, Малгосе и Юреку. Юрек не отпускал меня ни на шаг. Вцепился в штанину и ходил следом, как собачка.

Менахем. Я уехал в Израиль. В кибуце "Даверат", то есть "Пчела", устроился механиком сельскохозяйственных машин. Вот когда пригодился учебник советских авторов Волкова и Райста "Трактора и сельсохозяйственные машины".

Зигмунт. В 1956 году я вступил в Польскую объединенную рабочую партию.

Хенек. Я долго был викарием, потом наконец получил свой первый приход. В богом забытой деревне под Белостоком, где даже католики говорили по-хохляцки. Но и то хлеб, как говорится.

Менахем. Я написал Абраму. Хотел узнать, как дела у Зоськи.

Абрам. Как дела у Зоськи? Менахем, мало ты принес людям горя? Мало из-за тебя женщины слез пролили? Зоська вышла замуж, у нее дети. Оставь ее в покое.

Зоська. Когда Стэн пошел в школу, а Люси — в детский сад, я начала подрабатывать портнихой. В общем, жизнь как-то наладилась.

Менахем. Я женился на Рут, сефардской еврейке. У нее были красивые глаза и ноги. Как у Доры. Родился Иаков. Настоящий сабра. Я ушел из кибуца, взял кредит и открыл собственную мастерскую. Построил дом.

Зигмунт. В шестидесятые годы все складывалось отлично.

Хенек. Хвала Богу, наконец исполнилась моя сокровенная мечта. Когда Господь призвал к себе моего предшественника, епископ назначил меня приходским священником в наш город. Этому поспособствовал один из моих одноклассников.

Зигмунт. Товарищи, ксендз Хенрик — один из нас. Наш одноклассник. Нам известны его достоинства и, так сказать, его грехи. Он разбирается в специфике нашего города. Он здесь родился. Всех знает, и все его знают. Я считаю, нужно убедить епископа поддержать кандидатуру ксендза Хенрика.

Хенек. Только среди своих человек может по-настоящему расправить крылья. Особенно ксендз.

Зигмунт. Я выдал замуж обеих дочерей. Ханя вышла за врача. Гося — за прокурора. Юрек поступил на архитектурный в Варшавский политехнический. Во время так называемых "мартовских событий"[1] он, в отличие от других студентов, не поддался на еврейские провокации и прилежно учился. С Хенеком мы сработались. Одноклассники, мы доверяли друг другу и помогали, сообща решая спорные вопросы. Раз, по пьянке, он сказал:

Хенек. Я знаю, Зигмунт, это ты тогда на Рысека красным донес, а не бедняга Кац. Я всегда это знал.

1. В Польше в марте 1968 г. была развязана антисемитская кампания. Поводом стали массовые студенческие протесты. 8 марта 1968 г. мирный митинг студентов Варшавского университета был разогнан отрядами милиции и вспомогательных служб. Это стало началом повсеместных студенческих митингов и забастовок, которые были также подавлены силой. Пропаганда подчеркнуто указывала на студентов-организаторов этих событий, происходивших из семей отдельных влиятельных лиц, особенно еврейского происхождения.

Зигмунт. Перестань, Хенек! Хочешь, чтобы я тебе напомнил, за какую ногу ты держал Дору? И что при этом происходило у тебя в штанах?

Хенек. Больше мы к этой теме никогда не возвращались.

Зигмунт. Мы не забывали и о других наших одноклассниках. Владек, не без моего участия, был провозглашен Праведником народов мира, но семейная жизнь у него не заладилась, на мельнице, которая могла его озолотить, дела шли плохо, он слишком много пил, и помочь ему было трудно.

Владек. Зигмунт, одолжи сотню до первого числа...

Зигмунт. Держи, Владек, но, курва, кончай пить!

Владек. Зигмунт, я по ночам глаз не могу сомкнуть. Зигмунт, ко мне приходят Якуб Кац, Рысек, Дора с Игорьком... А ты, Зигмунт, хорошо спишь? Скажи честно...

Зигмунт. Давай сюда мою сотню, придурок!

Владек. Нет, Зигмунт, не волнуйся, курва, спи спокойно.

Зоська. Когда Люси пошла в школу, мы взяли кредит и купили домик в Нью-Джерси. И тут стряслась беда. Меня разыскал Абрам — не знаю, как это ему удалось.

Абрам. Зоська, подпиши вот эти документы — может, выйдет какой-нибудь толк. Может, тебе денег дадут. Это медаль "Праведник народов мира". Менахем за тебя в Израиле похлопотал. Видишь, не все евреи плохие, некоторые помнят добро и умеют за него отплатить.

Зоська. Уж он мне отплатил! В газетах написали, что во время войны я прятала евреев, и началось. "Ах, ты прятала евреев? Где же тогда их золото? Ты с ним спала, еврейская подстилка?!" Даже в больнице, умирая, муж не захотел помириться. На похоронах я узнала, что его отец был еврей, погиб в Треблинке. Тут уж я вообще перестала что-либо понимать...

Менахем. В 1967 году меня призвали в армию. Я руководил авторемонтной базой. В чине капитана.

Зигмунт. В конце шестидесятых, через ветеранские организации, я стал ходатайствовать об экстрадиции Менахема. Впустую — оказывается, Израиль не выдает своих граждан. Так что же — этот палач-гэбэшник останется безнаказанным?

Менахем. 22 мая 1970 года за завтраком мой сын Иаков сказал, что они будут писать классное сочинение про своих отцов. "А ты, папа — кто?" — спросил он. Я ответил, что сегодня я солдат, как все евреи. "Ладно, — сказал сын, — вырасту — тоже буду, как все евреи". В 7.45 Рут

посадила Иакова в школьный автобус, который каждый день забирал детей из нашего квартала.

Зигмунт. Юрек учился блестяще. Овладел двумя иностранными языками. Английским и французским. В институте его очень хвалили. Еще студентом он выиграл конкурс на проект спорткомплекса. В начале июня досрочно защитил диплом, и профессор Хрыневецкий предложил ему место в своей архитектурной мастерской. Я гордился сыном и дал ему денег на двухмесячное путешествие по Франции, Италии и Греции. Он собирался уехать в июле. В конце июня они с приятелями отправились на неделю на озеро Вигры — поплавать на яхте.

Менахем. В 8.10 в Авивиме в автобус попал снаряд из гранатомета. Автобус взорвался. Погибло двое учителей и девять школьников, еще двадцать четыре были тяжело ранены. Террористы поливали автоматными очередями детей, которые пытались выбраться из горящего автобуса. Мой десятилетний сын погиб, спасая одноклассницу.

Зигмунт. 24 июня в полдень над озером Вигры разразилась гроза. Говорят, она продолжалась совсем недолго. Минут десять-пятнадцать. Яхта, на которой плыл Юрек с друзьями, перевернулась и затонула. Все выплыли. Кроме Юрека.

Абрам. 24 июня в полдень? Боже! Ровно через тридцать лет, после того как Зигмунт, Хенек и Рысек избили до смерти Якуба Каца на рыночной площади.

Хенек. Похороны были красивые, торжественные. Я произнес одну из лучших своих проповедей. Об Аврааме и Исааке. Ты не послал агнца, Господи! Исаак умер! Отчего ты испытываешь нас своим гневом? Отчего трепещут наши сердца? Юноша! Архитектор! Молодой специалист! Столько планов! Стремлений! Родители возлагали на него такие надежды! Он собирался в Рим — любоваться Колизеем! В Париж — увидеть Лувр! В Афины — насладиться видом Акрополя! Господи, ты не послал агнца, но мы помним, что агнец все же пришел к нам. Ты и есть тот агнец!

Марианна. Это было ужасно. Невыносимо. Я не могла его слушать.

Владек. Юрека хоронили в закрытом гробу. Говорят, лицо его обглодали угри.

Менахем. После похорон Рут сказала, что надо мной тяготеет проклятие, и бросила меня.

Владек. Жена Зигмунта попала в психиатрическую больницу в Хороще.

Менахем. Я попросил знакомого, чтобы связал меня с израильской разведкой. Меня принял подполковник. Я рассказал, кто я такой и что делал в Польше, сказал, что хочу наказать террористов, которые убили моего сына. Подполковник ответил, что прекрасно знает, чем я занимался в Польше, потому что в ящике его стола лежат десять заявлений с требованием моей экстрадиции. Да, им нужны профессионалы, но не маньяки. И велел мне продолжать то, что я так хорошо умею делать, а именно — ремонтировать танки. Разве что я предпочитаю вернуться к тракторам.

Хенек. После смерти Юрека Зигмунт изменился до неузнаваемости. А был элегантный мужчина, на шее всегда белое шелковое кашне... Он вышел на пенсию и совершенно отстранился от дел. Часами сидел у меня в плебании и молчал, уставившись в одну точку. Бог знает, что он там видел. Курил сигарету за сигаретой. Однажды сказал:

Зигмунт. Просрали мы свою жизнь, Хенек. Куда только смотрел Господь?

Менахем. Тем временем началась война Судного дня, и Эрец Исраэль едва не прекратил свое существование. Все решала техника. Оказалось, что мои танки, по сравнению с новыми советскими и американскими ракетами, — груда металлолома. В конце концов, все немного затихло и объявили мир. Я вернулся домой и вдруг осознал, что мне пятьдесят пять лет, и ничего нового жизнь уже не принесет. Я помылся, побрился, надел чистую форму, как следует запер дом, сел в машину, заправил ее самым дорогим бензином и поехал по направлению к Масаде. Изо всех сил давил на газ.

Абрам. В газете "Едиот" написали, что бордовый "форд-мустанг", двигавшийся с превышением скорости, упал с автострады, перевернулся, ударился о дерево и взорвался. Остался только обгоревший кузов. И оплавленные золотые часы Менахема. Больше ничего. Тысячелетняя олива не пострадала.

Хенек. Когда я узнал, что у Зигмунта инсульт, я сразу поехал к нему в больницу. Уход за ним был прекрасный. Зять делал все, что мог! А я вместе с дочерьми Зигмунта дежурил у его постели день и ночь.

Владек. Ну разумеется — боялся, как бы он не проговорился перед смертью.

Марианна. Все-то ты знаешь.

Хенек. В последние минуты жизни с Зигмунтом произошло что-то странное. Он задрожал, заметался по кровати. Из глаз покатились слезы.

Владек. На памятник из черного мрамора пошло, кажется, все наворованное еврейское золото.

Марианна. А тебе завидно?

Хенек. Смерть Зигмунта потрясла меня. Memento mori. Примерно так я это воспринял. Я понял, что перед лицом смерти все наши дела ничтожны и в конечном счете значение имеют только высшие ценности: отчизна, честь, вера. Словно в подтверждение этих моих мыслей Бог послал нам Папу-поляка и профсоюз "Солидарность". Я решил, что пробил мой час. Стал организовывать детские католические лагеря, устраивал семинары, встречи. Не ради занудной пустой болтовни — нет, по примеру Святого отца, моего ровесника, я помогал подросткам искать Бога во время походов по горам, на байдарках, в долгих ночных беседах.

Зоська. В 1981 году, при "Солидарности", я купила турпоездку в Польшу. Приобрела пару приличных шмоток в "Чемпионе". И села в самолет. Боже, видели бы вы эту свободную Польшу! На полках — уксус и репчатый лук. У нас было несколько свободных дней, так что я решила навестить родные места. Договорилась с одним таксистом — за twenty dollars[1] он согласился возить меня, куда ни попрошу. Мы поехали на мельницу. К Марианне и Владеку. Они выглядели стариками. Без конца ругались. Когда Марианна на минуту вышла, Владек сказал:

Владек. Видишь этот еврейский бардак? Если бы не я, мы бы заросли грязью.

Зоська. А что с вашей мельницей?

Владек. Не окупается. Мы отказались от нее, зато получаем пенсию.

Зоська. Когда Владек вышел....

Марианна. Знаешь, Зоська, если бы мне сказали, какая жизнь меня ждет, я бы сама пошла в тот овин с остальными.

Зоська. Я дала Владеку dollars. Он где-то раздобыл водки, колбасы, огурцов. Мы посидели. Поговорили. Повспоминали. "А что у Хенека?"

Владек. С тех пор как Папой стал поляк, к нему не подступишься! Картежник! Жулик! Педераст!

1. Двадцать долларов (*англ.*).

МАРИАННА. Перестань, Владек, как ты можешь говорить такое о ксендзе?!

ЗОСЬКА. В конце концов, Владек напился и пошел спать. Я спросила Марианну, не хочет ли она съездить со мной на кладбище.

МАРИАННА. Что ты, Зоська, еще кто-нибудь увидит!

ЗОСЬКА. Я дала ей dollars, попрощалась и поехала одна. На месте овина лежал камень с надписью: *Жандармы и гитлеровцы сожгли здесь 1600 евреев.* Еврейское клабище заросло лещиной. Я зашла на католическое кладбище и сразу увидела могилу Зигмунта. Черный мрамор. Огромный скорбящий ангел. И надпись: *Судия Справедливый, загляни в души наши*! Могил Олеся и матери я не нашла. Уходя, встретила возле костела Хенека. "Слава Иисусу Христу!"

ХЕНЕК. Во веки веков! Зоська?

ЗОСЬКА. Она самая....

ХЕНЕК. Что привело тебя в нашу скромную обитель?

ЗОСЬКА. Хочу навестить могилу Олеся и матери.

ХЕНЕК. "Я тебя провожу". И проводил.

ЗОСЬКА. Обе могилы ухоженные. Чистые. "Кто это о них так заботится?"

ХЕНЕК. Мои харцеры[1].

ЗОСЬКА. Я была тронута. Все-таки ксендз есть ксендз, подумала и дала ему fifty dollars[2] на заупокойную службу по Олесю и матери.

ХЕНЕК. А по нашим одноклассникам? Рысеку, Зигмунту, Доре, Якубу и Менахему?

ЗОСЬКА. По всем?

ХЕНЕК. А почему бы и нет, Зоська?

ЗОСЬКА. Мне полегчало, я села в такси и велела ехать в Варшаву. Вернулась в New York. На детей рассчитывать было нечего. Однажды Люси заявила мне, что это я убила ее отца. Так что я решила не церемониться. Продала дом вместе с невыплаченным кредитом и поселилась в "Доме спокойной старости под покровительством святой Терезы Младенца Иисуса". Все удобства. Красивая комната с ванной, окно выходит в чудесный парк. Пятиразовое питание. Кормят вкусно. Врач. Парикмахер. Каждый день церковная служба. Женщины, вместе с которыми я молилась, смотрела телевизор и играла в по-

1. Польская скаутская организация.
2. Пятьдесят долларов (*англ.*).

кер, однажды спросили, не еврейка ли я, а то, мол, дети похожи. Вообще-то они были симпатичные, но евреев, похоже, не любили. "Of course not"[1], — сказала я. Чтобы Стэн и Люси меня навещали, я собиралась платить им fifty dollars. Плюс расходы на дорогу. Пришлось договориться, что я буду платить fifty dollars в месяц за то, чтобы не приезжали, — получилось даже дешевле, не надо оплачивать дорогу. Теперь я могла спокойно играть с соседками в покер, смотреть телевизор и молиться. Так и прошла моя жизнь.

Абрам. Говорят, Зоська не проснулась, наглотавшись каких-то таблеток. Стэн и Люси подозревали, что ее убили — отравили, — поскольку все наследство досталось монахиням, но вскрытие ничего такого не показало. Хотя в девяностые годы следствие возобновилось, и кого-то даже арестовали.

Хенек. За мое преданное служение мне доставались одни попреки. Я любил играть в бридж. Нет бубей — ходи с червей. Два валета — счастья нету. И кем меня выставили в восьмидесятые годы? Картежником, просаживающим деньги прихожан. А в девяностые в газетах писали о том, что я "питаю слабость к смазливым алтарникам". Эти наветы тоже оказались беспочвенными, свидетели отозвали свои показания, а епископ назначил меня ксендзом-деканом. Тогда кто-то пустил слух, будто я сотрудничал со службой безопасности. Якобы доносил на "Солидарность" в обмен на льготы при строительстве! Это я-то! В 2000 году — очередная провокация. На сей раз жителей нашего городка обвинили в убийстве евреев. Я заколебался. Попросил епископа об аудиенции, спросил совета. "Может, стоит частично признать свою вину?" Епископ так и подскочил: "С ума сошли?!"

Владек. Я всегда верил, что правда в конце концов одержит верх. И что на пороге смерти я еще покажу себя. Когда ко мне обратились журналисты, я принял решение все рассказать.

Марианна. Зачем? Нам тут житья не будет. Хоть раз в жизни меня послушай.

Владек. Я рассказал все, как было. Кому какая была корысть. И своей роли не утаил.

Марианна. Изобразил нас Ромео и Джульеттой, а себя — единственным праведником в Содоме и Гоморре.

1. Конечно, нет (*англ.*).

Хенек. Я прослышал, что главные пособники наших врагов — Марианна и Владек. Пришел к ним после колядок и говорю: "Что это вы такое несете?"

Владек. Так ведь это правда, Хенек!

Хенек. А что есть правда, Владек? Чья она? Кто в ней заинтересован? Ты об этом подумал? Или вам славы захотелось на старости лет? А вы не думали, что здесь, среди этих людей, которых вы только что облили грязью, вам предстоит покоиться до самого Судного дня? А может, вы не хотите лежать на главной аллее? Предпочитаете, чтобы вас закопали где-нибудь в кустах, у ограды?

Владек. Он прошел уже два курса химиотерапии, но говорили, будто снова появились метастазы. Я сказал: "Неизвестно, кто из нас первый в очереди, Хенек!" Он хлопнул дверью и ушел. Через несколько дней какие-то хулиганы разбили нам окно.

Марианна. Камень был завернут в лист бумаги со словами: "Если не заткнетесь, мы довершим начатое".

Владек. Надо признать, что настоящие друзья познаются в беде...

Хенек. Ночью к их дому подъехал немецкий автомобиль с прицепом, с варшавскими номерами, и они уехали! Точно преступники — под покровом тьмы!

Владек. Мы поселились под Варшавой, в пансионате "Золотая осень". Никто об этом не знал. Медицинское обслуживание, завтрак, обед, ужин, телевизор — пятьдесят шесть каналов...

Марианна. А главное — ванная. Отдельно ванна и душ. Как у дяди Мойше до войны. Впервые за шестьдесят лет я сняла с себя деревенские тряпки, развязала платок и хорошенько выкупалась.

Владек. Мы отнимали друг у друга телевизионный пульт.

Марианна. Владека интересовали только репортажи про него самого и боевики...

Владек. Марианка без конца смотрела документальное кино или фильмы о природе. Да еще по-английски — скукотища...

Марианна. К счастью, он отвлекся на лечение.

Владек. Это был рак легких.

Марианна. Я же говорила: не кури столько.

Владек. Меня обследовали специалисты. Профессора. Но время было упущено. Однако я решил дотянуть до шестидесятой годовщины и открытия нового памятника.

Хенек. По телевизору я увидел, что Владек приехал на открытие памятника, но ни я, ни мои прихожане в этом паноптикуме участия не принимали.

Владек. Я сидел в первом ряду. Рядом — президент, посол, мэр, депутаты сейма, сенаторы, актеры.

Хенек. Зато я встретил своего одноклассника, теперь он раввин в Нью-Йорке... Абрамек Пекарь, ныне Бейкер.

Абрам. Я зашел к Хенеку в плебанию.

Хенек. Я принял дорогого гостя. С истинно польским гостеприимством. Домашние пироги. Пряники. Торты. Наливки. Кофе и чай. Чем хата богата.

Абрам. У меня диабет, я ничего не ел.

Хенек. Мы очень тепло повспоминали прежние времена. Как до войны поляки и евреи вместе учились, работали и веселились, а ксендз и раввин сообща решали все споры...

Владек. Ну да, конечно — сколько евреи должны пожертвовать на строительство костела, чтобы в Страстную пятницу обошлось без погрома!

Марианна. Да хватит уже! Кто старое помянет, тому глаз вон!

Абрам. Скажи, Хенек, когда немцы и эти польские подонки гнали евреев в овин, правда, что наш ребе шел впереди с Торой? И благословил всех — жертв, палачей и свидетелей? А в горящем овине запел Киддуш Хашем?

Хенек. Правда, Абрам.

Владек. Я был рад повидать Абрама. Прошло шестьдесят шесть лет. Он меня даже не узнал. Но поздоровался тепло. Жаль, Хенек не захотел увидеться. Вот была бы встреча! Трое одноклассников! Раввин, ксендз и я.

Абрам. Престарелый раввин стоял на рыночной площади, мучимый голодом и жаждой. Стоял многие часы. Вместе со своим народом. Он видел, как издеваются над людьми на улицах. Насилуют женщин. Убивают детей. Наконец ему велели идти с теми, кто нес обломки памятника, на котором было написано про Ленина — что он верит в коммунизм. Избави Господи! Подталкивая вилами и палками с гвоздями, ребе загнали в овин, и там, в свой последний час, он — вы помните — готовился совершить бераха, благословение Киддуш Хашем, о котором говорится в молитве: "Возлюби Бога своего всем своим сердцем, всей жизнью, всей силой". Это послание Польше и всему миру. Да снизойдет благословение Отца Небесного на всех, кто пришел сегодня сюда. Аминь.

Хенек. Я смотрел все это по телевизору со смешанными чувствами.

Владек. Это была прекрасная проповедь. Все плакали. Я тоже.

Марианна. Сначала я даже прослезилась, когда смотрела это по TVN, но потом, когда Абрам, седой, старенький, стал рассказывать об этом раввине, как будто там никого больше не было, быстренько переключила телевизор на Animal Planet, где как раз шел отличный фильм о пингвинах.

Владек. В сентябре мне стало хуже.

Марианна. Когда его увозила "скорая", он крепко схватил меня за руку и долго не отпускал. Но ничего не говорил. Я тоже промолчала. Что уж тут скажешь?

Владек. Дозы морфия все увеличивали.

Хенек. Ухудшение я принял смиренно, с достоинством. Отказался от болеутоляющих. Я жил ради Господа, страдал ради Него и ради Него хотел теперь умереть. Но когда начались настоящие боли, оказалось, что я не в силах терпеть. При всем своем желании. Мне стали давать наркотики. Я видел сны наяву. Кошмары. Фигуры евреев, не отступавшие от меня ни на шаг. Якуб Кац. Портной Элек. Дора с Игорьком. Иногда являлся Зигмунт. Стоял молча. Бежать было некуда. Бога — не было!

Владек. Раз — не знаю, во сне или наяву — пришел Рысек. Я хотел сказать: "Рысек, прости!" — но не смог выговорить эти слова, какая разница, простит он или не простит? — подумал я. Я сам должен нести это бремя. И проговорил только: "Рысек!.." А он молча подошел и обнял меня. Я зарыдал. Потом увидел, что пришла мать. С маленькой Дороткой на руках. "Мама", — сказал я и заплакал еще горше. И тогда вижу — еще кто-то стоит... Это был Хенек.

Марианна. Их похоронили в один день. Хенека — на главной аллее. Торжественно. Был епископ. Служба. Через час — Владека, у ограды. Рядом с матерью. Я не поехала. У меня не было сил. Тем более, что и те, и другие похороны показывали по TVN. О Владеке я почти не вспоминала. Что нам выпало пережить вместе, я пережила. Он безусловно был типичный поляк. Один красивый жест, а потом много лет унижений. Но я не могла забыть, как он мчался на лошади — мне на помощь. Так что, когда ко мне обратились из одного варшавского фонда, который оплатил нам надгробие из красивого китайского терразита, с вопросом, хочу ли я подписать-

ся как "Рахель" или как "Марианна", я не колебалась ни минуты — Марианна.

Абрам. Дорогая моя одноклассница Рахель Фишман!

Пишет тебе Абрам, твой одноклассник. Я узнал твой адрес, когда был в Польше в связи с годовщиной мученической смерти евреев нашего города. Я говорил с Владеком, твоим мужем. Теперь я узнал, что Владек умер, и ты осталась одна. Мое пристанище на Mount Hebron Cemetery тоже уже ждет меня. Таков наш удел. Все мы скоро покинем этот мир. Я пишу тебе, чтобы ты не чувствовала себя одиноко на этом неразумном свете.

Твой одноклассник *Абрам Бейкер.*

P. S. Я видел тот фильм, в котором тебя сняли еще вместе с Владеком. Я там тоже есть. Ты совсем не изменилась. Скажи, а я очень изменился? Дам тебе хороший еврейский совет. Никогда не соглашайся на интервью меньше чем за 200 dollars. Помни: если им очень надо, обязательно заплатят. *Абрам.*

Марианна. Годы, которые я провела наедине с телевизором и его пятьюдесятью каналами, были самыми счастливыми за всю мою жизнь. Я чувствовала себя свободной. Да, это самое подходящее слово. Кстати, оказалось, что я не забыла ни английский, ни немецкий, ни французский. Все-таки, чему научишься в молодости, то останется при тебе навсегда. Я смотрела все подряд. Сериалы, викторины, художественные фильмы, документальные. Любимые каналы? Discovery. Planet. BBC.

Абрам. Дорогая моя одноклассница Рахель, получила ли ты мое письмо?

В последнее время я часто думаю о тебе. Помнишь ли ты, как я проходил бармицву и, впервые надев талес и тефилин, читал и комментировал отрывок из Торы? Об Аврааме и Исааке в земле Мория. Знаю, что ты была тогда на женской половине, но ни разу мне об этом не сказала.

За это время многие наши одноклассники потеряли веру и отвернулись от Бога, а мой друг Якуб Кац, с которым мы часто по вечерам сидели под твоим окном, дожидаясь, пока в нем погаснет свет, даже не пришел в синагогу. А я ведь его имел в виду, когда говорил, что вера — лучшее из того, что дал нам Тот, в чьих руках сосредоточены все нити. И что случившееся с Авраамом, Исааком и Сарой так чудовищно, что помочь это пережить может лишь глубокая вера, и, если у нас хватает

глупости отказаться от нее, наша жизнь теряет всякий смысл.

Будь здорова, напиши, что у тебя хорошего и что плохого. *Абрам.*

P. S. До чего же причудливо сложились наши судьбы.

Марианна. С кровати я вставала, только чтобы поесть. И раз в день выходила на прогулку. Без особой охоты. Особенно с тех пор, как одна старуха спросила меня, не я ли — "та" еврейка. Тогда я решила больше не выходить. И не читать писем. Раз только хотела прочитать письмо от Абрама, но оно было написано такими мелкими и кривыми буковками, такими каракулями, что мне расхотелось. И потом, столько всего интересного показывали по телевизору. Больше всего мне нравились фильмы о животных. Наверное, я искала ответ на вопрос: какой смысл был в нашей жизни? Искала и не находила. В мире людей. Зато находила в мире животных.

Абрам. Дорогая Рахель, случилась беда. Заболела и умерла моя жена Дебора. В прошлое воскресенье мы все похоронили ее на Mount Hebron. Вся моя семья, которой благословил меня Господь.

Мои любимые сыновья: Ицхак, Иаков, Давид и Сэм.

И мои любимые дочери: Дора, Тыль и Ханна.

Мои чудесные невестки: Дэррил, Зельда, Джина и Джуди.

И мои замечательные зятья: Джо, Мики и Адам.

Мои любимые внуки: Абрам, Перси, Томас, Дейв, Джейк, Джозеф, Джон, Бен, Саймон, Сэм, Эзра, Илия, Зелиг, Бастер, Ол, Аллан, Мозес, Джек, Марк, Дирк, Гарри, Элиот, Дик, Том, Ноэль, Гордон, Ларри, Терри и Билл.

И мои любимые внучки: Дебби, Леа, Мириам, Молли, Ава, Диана, Дороти, Соня, Эстер, Фей, Энн, Аделя, Рита, Линда, Шейла и Дора.

Горячо любимые правнуки: Абрам, Джейкоб, Лестер, Айвэн и Омар, близнецы Чоу и Чень, любимые девочки: Сара, Лили, Дора, Энн, Соня и Ли.

Ну и самый-самый любимый шалун Бенцион, который сыграл своей бабушке на кларнете, как в свое время его двоюродный дедушка Бенцион (неисповедимы пути Твои, Господи!) играл для меня, когда я покидал наш город.

Сегодня я сел писать тебе письмо, потому что мне пришло в голову: а не встретиться ли нам? Может, ты приедешь в New York? Познакомишься с моей семьей, кото-

рая считает тебя героиней. Я сам не могу приехать в Польшу, потому что ноги совсем уже не ходят.
Напиши хоть несколько слов — как ты поживаешь?
Твой преданный друг *Абрам Пекарь.*
P. S. Благословляю тебя от всего сердца.

Все.

На небе ковшик золотой —
зовут Медведицей Большой.
Секрет найти где север, прост:
по направленью крайних звезд
прямую линию веди,
Звезду Полярную найди.
Стань прямо, на нее гляди,
и север будет впереди,
а позади, конечно, юг.
Ты не заблудишься, мой друг!

Конец

Петр Черский

Отец уходит

Минироман

Перевод К. Старосельской

1

НАЧИНАЕТСЯ все это накануне моего двадцать четвертого дня рождения. Итак, сегодня 31 марта 2005 года; вечер, мы в Гдыни, в переулке между двумя оживленными улицами, стоим прямо рядом с "Аркадией" и пьем водку. "Аркадия" — кабак, который мы недавно обнаружили: кажется, при коммунистах это был ресторан класса люкс, так, по крайней мере, утверждает моя мать. С тех пор ровным счетом ничего не изменилось. Внутри. Это уже не ресторан класса люкс, а скорее трогательный скансен. Сейчас вообще такая тенденция, ПНР в моде, радикальные интеллектуалы более-менее скрытно тоскуют по временам вынужденного скромного существования, предшествовавшего нынешнему изобилию, а молодежь коллекционирует всякие раритеты: авторучки, блокноты, галстуки, партийные билеты. И пьет водку, закусывая огурчиками, на тематических вечерах, где диджеи в костюмах социалистической эпохи крутят попурри советских песен. В Варшаве даже открыли

© Copyright by Piotr Czerski
© К. Старосельская. Перевод, 2011

специальный клуб, стилизованный под пээнэровское предприятие общественного питания, — впрочем, возможно не в Варшаве, а в Познани, и не клуб, а дискотеку, и не под общепит, а под дансинг. Я уже давно где-то об этом читал и мог перепутать. Хотя подозреваю, что в Варшаве, да, точно, в Варшаве. Но мы между тем в Гдыни, возле "Аркадии", которая не какая-то там стилизованная рыгаловка, а самый что ни на есть настоящий пээнэровский кабак, поделенный на две части: в одной танцуют (по четвергам там стриптиз), а в другой — пивной зал, без стриптиза, зато с дармовым хлебом со смальцем. Между двумя этими мирами общий туалет, куда ведут крутые ступеньки, застланные красной ковровой дорожкой, которая чем ниже, тем грязнее, — а внизу, за фанерным столиком, оклеенным пленкой под дерево (модель 76), сидит пани Ядя в голубой кофточке, решает кроссворды и монотонно напоминает спускающимся: "Туалет платный, пятьдесят грошей". И все безропотно платят — старшеклассники, студенты и рабочие судоверфи, никто другой в "Аркадию" не ходит.

Стоим мы, значит, вечером в Гдыне, в переулке, и пьем за мое здоровье. Мы, то есть Аля, моя девушка — с недавних пор правда, познакомились мы, кажется, неделю назад, — и Анджей, мой друг еще со времен лицея, который нервно поглядывает на часы, потому что без пяти восемь должен встречать на вокзале Ольгу. Ольга живет в Лодзи, она еврейка, хотя вообще-то нет. Еврейкой она была бы, если б ее мать была еврейка, но это не так; еврей у Ольги отец, так что на самом деле никакая она не еврейка. И все-таки еврейка, потому что состоит в каких-то еврейских молодежных организациях. Вообще-то, кажется, почти все молодые евреи в Польше — евреи по отцу, деду или одноклассникам, но что поделаешь, если других нету? Рядом с Алей, значит, стоит Анджей, а дальше Кацпер и Бартош (мы вместе учимся на философском), Войцех, который уже часа три талдычит, что ему пора уходить, потому как выпускные экзамены на носу, а он еще учебника не открывал, и Михал. Михал учился в одном классе с Войцехом, но сейчас живет в Люксембурге, потому что его отец работает в какой-то европейской организации, где занимает ответственный пост и получает кучу денег. Поэтому вся семья перебралась в Европу, а здесь у них осталась шикарная квартира, куда Михал несколько раз в году приезжает. И еще тут стою я, между Алей и Михалом, и разливаю водку по пластиковым стаканчикам, думая о том, что мне тепло и хорошо, хотя завтра утром я уезжаю на три месяца в Краков, где получил в университете стипендию, а собраться еще не успел, так как всю последнюю не-

делю отчаянно пытался раскидать кучу дел, в которых погряз, но вся эта суета ничего не дала, потому что, когда делаешь десять дел одновременно, ни с одним не справляешься, а сейчас уже около восьми, я поддатый, раньше полуночи домой не вернусь, когда же собираться, о том, чтобы выспаться, я и не мечтаю, а еще надо позвонить туда и туда, и туда, и вообще давно уже все происходит чересчур быстро. И тут вдруг кто-то спрашивает: "Как думаете, Папа на этот раз правда умирает?"

"На этот раз да, на этот раз правда умирает", — неожиданно для самого себя отвечаю я. Раньше я об этом не задумывался. Всерьез не задумывался, хотя мне и случалось говорить: "Думаю, дни Иоанна Павла Второго сочтены, ему уже немного осталось", или: "Интересно, как польская церковь переживет смерть Папы", или еще что-то в этом роде, что обычно говоришь, сидя за кружкой пива с Анджеем или с Петром, который преподает физику в университете, или с Павлом — он закончил польскую филологию, но работает программистом, — или с Кацпером, Бартошем, Басей-журналисткой, Шимоном-поэтом. О чем говорить, когда цены на квартиры и условия кредитования уже обсудили, а черед партизанских баек о лихих временах еще не настал? Итак, кончина Папы уже давно предрешена и каждый свое мнение высказал, на этот счет царит всеобщее согласие, известны даже последствия: мол, Рыдзык[1], мол, епископат, мол, напряжение в обществе, призрак схизмы... — и все же вопрос "На этот раз умирает?" прозвучал по-новому, как будто тема совершенно новая. Может быть, из-за слов "на этот раз" — всегда ведь говорили только "умрет", а не "умирает", — а может, из-за водки. Так или иначе, я слышу собственный голос со стороны, как будто не я сказал: "Да, на этот раз правда умирает", а кто-то другой, — но никто другой этого сказать не мог, потому что настала тишина и в ней мне слышится: "Умирает, да, на этот раз умирает" — и звук этот скользит по стенам домов, ползет по тротуару. Я поспешно разливаю остатки водки: "Ну, по последней, — говорю. — По последней!" — и поднимаю стаканчик, а потом Анджей идет на вокзал, Войцех, Бартош и Кацпер — на автобусную остановку, а мы с Алей и Михалом — в клуб на концерт.

1. Тадеуш Рыдзык (р. 1945) — католический священник, редемпторист (член монашеской Конгрегации Святейшего Искупителя), основатель и директор "Радио Мария", известный своими националистическими и антисемитскими взглядами. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Внутри жарко, слишком жарко, определенно слишком жарко. С трудом находим место — хорошо хоть недалеко от двери. Я стою и смотрю на сцену, одной рукой обнимая Алю, и вдруг что-то капает мне на руку, через минуту опять, а затем на голову. Смотрю вверх и вижу: потолок блестит от пота, капли срываются и падают вниз, на скопление тел. Сколько народу может поместиться в этом клубе? Сотни три, максимум четыре, а впустили не меньше полутысячи, если не больше. Человек на человеке; горящий кончик моей сигареты подрагивает в опасной близости от дредов стоящего передо мной парня, а на мой локоть постоянно натыкается девушка, которая смешно дергается рядом, с закрытыми глазами подпевая вокалисту. Михал продирается к нам с очередными кружками пива, но тут я теряю равновесие; в последнюю секунду мне удается, изогнувшись, перенести центр тяжести на другую ногу — иначе я наверняка бы упал, а падая, потянул кого-нибудь за собой, и через минуту мы все бы уже лежали, по-идиотски болтая руками и ногами, как перевернувшиеся на спину жуки. Я не раз видел подобное: если в такой толчее кто-то падает и увлекает за собой другого, третьего, образуется мгновенно расширяющийся водоворот, затягивающий всех вокруг; головы внезапно исчезают из поля зрения, и сам виновник, не успев ничего сообразить, уже лежит на земле, придавленный одними и придавливая других. И все лежат, как прибитые резким порывом ветра хлеба, и пытаются найти точку опоры, и друг другу мешают, и только когда кто-нибудь, приложив нечеловеческие усилия, оторвется от земли, встанет и подаст руку лежащему рядом — тогда только можно будет подняться, отряхнуться, растереть саднящее колено, ощупать шишку на лбу, перевести дух.

Анджей с Ольгой приходят, когда мы допиваем вторую кружку — это здесь вторую, а какую вообще в эту ночь? пятую? а может, шестую? Мы уже наверху, убежали из этого столпотворения. Слышно отсюда немного, но зато можно дышать. И есть бар. "Привет, Ольга!" — кричу я и обнимаю ее, потому что, наквасившись, становлюсь сентиментален и любвеобилен. "Привет, привет, — говорит она. — Послушайте, скажите мне, а то я пару часов была в дороге, знает кто-нибудь, как Папа?" Михал отвечает: "Не знаю, я его сегодня не видел", — но никто не смеется. "Он умирает, — говорю я, — но, кажется, еще жив. Если б умер, мне бы, наверно, сообщили, эсэмэской или еще как-нибудь. Хотя, погоди... — Я поворачиваюсь к какой-то девушке, стоящей неподалеку: — Извини, ты, случайно, не знаешь, как Папа?" Она смотрит на меня, будто не поняла вопроса: "Не знаю, а что?" Я повторяю ее "не знаю" Ольге — вероятно, впус-

тую. Даже здесь, наверху, так шумно, что собственные мысли расслышать трудно, пропадают они в этом шуме. А потом я обнимаю за плечи Алю, которая поворачивает голову, улыбается и целует меня в губы. И, похоже, засыпаю.

Полночь, я блюю около торговых рядов. Не знаю, где все наши, не помню, как сюда попал. Принято так говорить: "Не помню, как я сюда попал", — но я правда не помню, в голове какие-то ошметки воспоминаний: откуда-то вышел, прошел мимо какой-то автобусной остановки, с кем-то разговаривал... А сейчас у меня болят горло и нос, где-то внутри, сильно болят, аж отдается в висках. Прислоняюсь к стене, осматриваюсь: вдалеке проезжает машина, а здесь, на целой улице, ни души. Опять, думаю, снова-здорово. Вокзал где-то там, справа; можно бы пройти через базар, но лучше его обойти. Базар в эту пору — лабиринт узких улочек, по которым идти надо на цыпочках, прислушиваясь — никогда не известно, на кого наткнешься за ближайшим углом: это может быть полицейский патруль, который пожелает отвезти тебя в вытрезвитель, а возможно, и кто похуже. Собираюсь с силами и отрываюсь от стены — и вскоре я уже на перроне, дует холодный ветер, я глубоко дышу, чтобы подавить рвотный рефлекс; из подземного перехода выходят Михал с Алей. "Где ты был? — спрашивает Аля. — Мы тебя всю дорогу искали, я боялась, ты где-то заснул. Идиот". Я на нее смотрю, стараясь, чтоб в моем взгляде сквозил немой укор. Мол, раньше надо было побеспокоиться. И почему она с Михалом? Интересно, чем они с ним занимались? Теперь я уже не столь сентиментален и любвеобилен, теперь я чувствителен, как вскрытый зуб. И расслабляюсь только в кафе — последнем еще открытом: мы сидим, и Аля платочком стирает какую-то пакость с моей куртки. Время — половина второго, следующая электричка домой — когда? — кажется, через час, хотя сегодня не выходной, может быть, и через два. Бармен высовывается и говорит извиняющимся тоном: "Простите, мы сейчас закрываем", — и тогда я спрашиваю: "Ну что, Михал, едем к тебе?" — "Ясное дело", — отвечает он без энтузиазма. "Предки меня убьют", — говорит Аля, но я не слышу в ее голосе уверенности. Впрочем, мне все равно.

У его святейшества Папы Иоанна Павла Второго высокая температура, вызванная уретральной инфекцией, сообщил пресс-секретарь Жаклиннаварровальс[1] (это радио в такси). *Папе назначили антибиотики, он находится под постоянным наблюдением ватиканской*

1. Хоакин Наварро-Вальс (р. 1936) — пресс-секретарь Ватикана.

медицинской службы. По некоторым источникам, организм понтифика хорошо реагирует на антибиотики, но корреспонденты итальянского телеканала "Рай Уно", ссылаясь на осведомленных лиц, утверждают, что дела Папы – цитирую – плохи, очень плохи. С вами радио ЭмКа – лучшая польская музыка. Два часа ночи. Оставайтесь с нами. — И минуту спустя: — *Трудно нам быть вместе... но мне без тебя и тебе без меня не легче...* — это Кравчик сообщает, что ему нелегко с Бартосевич[1], а она не остается в долгу. За окнами мелькают дома и перекрестки, сливающиеся в длинную сверкающую ленту. Здесь, в Гдыне, всё иначе. Иначе, чем в других городах, а может, просто иначе, без уточнений. До любого места далеко, ночью едешь на такси бесконечно тянущиеся минуты, машина петляет между корпусами спального района, иногда вырывается на открытое пространство, а иногда попадает в окружение одноэтажных домиков, которые внезапно, без предупреждения, кончаются, и тогда по обеим сторонам дороги незаметно вырастает лес. А за лесом очередной квартал высоток и очередные домики. "Сколько с меня?" — спрашиваю, сообразив, что двигатель умолк и мы приехали куда надо. Роюсь в кармане, вытаскиваю помятые бумажные десятки и бренчащую мелочь, Михал что-то добавляет, таксист отдает монеты обратно, выходя из машины, я спотыкаюсь, ослепленный огнями: мы на автозаправочной станции. "Возьмем еще пивка?" — спрашивает Михал, а я говорю: "А то". И мы берем две банки, а тем временем Аля, заткнув одно ухо, объясняет матери, что она с Паулиной и что так уж вышло, такая неприятная история, ее бросил парень, то есть Паулину бросил, поэтому Аля сегодня будет у нее ночевать, не может же она оставить подругу в этот исторический, в этот драматический переломный момент, просто она была бы последней свиньей, если бы... короче, домой она придет утром, точнее, в час дня, поскольку утром ей еще надо в школу, сдать географию, ну конечно — да, да! — конечно, подготовилась, целых полдня зубрила. Ну нет, разве такое выдумаешь! "Ну что ты, мама".

Квартира у Михала вправду шикарная, хоть и в самом обыкновенном доме. Натяжные потолки, просторная кухня с баром, точечные светильники — кафельные плитки в их свете так и сверкают; на полках аккуратно расставлены медицинские книги. Отец Михала — врач, хирург, пятнадцать лет резал людей в Ме-

1. Кшиштоф Кравчик (р. 1946) — певец, гитарист, композитор, в 2000 г. выступил в Риме на площади Св. Петра с концертом для Иоанна Павла II; Эдита Бартосевич (р. 1966) — певица, гитаристка, композитор, автор текстов, вместе с Кравчиком записала несколько песен, в том числе "Трудно нам быть вместе...".

дицинской академии, опубликовал кучу статей, а сейчас устанавливает в своей области европейские стандарты. Глядя на все эти книги, я — серьезно! — радуюсь, что уже вскоре меня, если понадобится, будут резать в соответствии с европейскими стандартами, разработанными человеком, который в этом деле собаку съел и знает, что при удалении аппендикса разрез должен быть длиной от шестидесяти трех до восьмидесяти семи миллиметров. Посреди салона массивный стол, похоже, антикварный, на столе коробка от пиццы, вся в жирных пятнах, а вокруг валяются банки из-под пива, пустые консервные банки и пластиковые бутылки от кока-колы и других вредных напитков. Кроме того, на столе лежит ноутбук — я сразу к нему, Михал садится рядом, закуривает, Аля заглядывает мне через плечо. Собственно, ничего нового. Состояние Папы тяжелое, но стабильное. Температура понемногу снижается. На площади Святого Петра собирается народ. Из открываемой банки с шипеньем выплескивается пиво. Аля целует меня в шею. Михал пододвигает ноутбук к себе и логинится в ирку. Воздух густеет от дыма: никому неохота открыть окно. Я постепенно погружаюсь в дымное облако, опускаюсь, легонько покачиваясь, на самое дно. "Ну мы, пожалуй, ляжем", — наконец выговариваю с трудом. "Валяйте, — бормочет Михал, — дверь справа в конце коридора, спокойной ночи". — "Спокойной ночи", — отвечаю, и мы с Алей идем в комнату, по дороге я ее обнимаю и прижимаю к себе. Она мягкая, теплая и моя.

Эту ее мягкость и податливость — она моя! — я ощущаю всем телом и просто не могу удержаться, и вхожу в нее трижды, раз за разом, без прелюдий и без страховки, не предохраняясь, не намереваясь убежать, готовый на все; я весь, целиком — ее, в ней, с ней. Она мурлычет как кошка, и я слышу это мурлыканье, помалу затихающее, когда засыпаю, когда убегаю в сон и оставляю далеко-далеко позади "Аркадию", водку в переулке, концерт, ночные улицы, поездку в такси, информационные выпуски новостей и европейские хирургические стандарты. Сон мой — белый, и нет в нем четких очертаний, сон мой — как густой туман, как теплое молоко, как искусственный снег, как вата в ушах и... и... ищу подходящее слово, которое определит его вкус, я же знаю это слово... как сбитые сливки на языке, ты как сбитые сливки, мой сон, думаю я во сне, и в этот момент белизна исчезает, пронзенная тысячью черных стрел, а из тишины на меня обрушивается мелодия из оперы Грига в исполнении электронных инструментов сотового телефона. Открываю глаза, поднимаю голову, озираюсь, вижу Алю, которая спит, смешно обняв подушку; вспоминаю, как три часа назад мы тут любились не предохраняясь, голова

моя падает, я тупо смотрю в потолок и шепчу: “Твою мать — без всяких эмоций, — твою мать, твою мать”.
“Я чувствую, как ты из меня вытекаешь”, — шепчет мне на ухо Аля, когда мы прощаемся на перроне. “Надеюсь, хоть самая малость все же в тебе останется”, — отвечаю я, правда не очень уверенно. А потом еду в электричке, мысленно повторяя, чтоб не заснуть, названия станций, которые проезжаем. Погожее утро, вокруг люди; эти люди едут в школу, в институт, на работу — а я еду домой, мучимый похмельем, с улыбкой человека, которому, в общем-то, все по фигу, точнее, сейчас уже все по фигу. Сегодня у меня день рождения. Мне двадцать четыре года, я пока еще живой, так уж получилось.

А дома никого нет. Мать на работе, сестра уехала в институт изучать менеджмент. Это сейчас модно — молодежь изучает менеджмент. Для сестры моей управлять людьми — самое милое дело. На столе подробные инструкции: поешь, разогрей, выключи, хорошенько закрой, будь осторожен. Жаль, ты вчера вечером мне это не сказала, думаю я. На письменном столе какая-то безделушка, подарок ко дню рождения, тоже от сестры. Мать ничего не оставила — наверно, ждала меня допоздна, а потом заснула чутким сном матерей, ждущих своих сыновей, но, когда утром проснулась и увидела мою пустую кровать, окончательно потеряла надежду: на то, что я вернусь, что возьмусь за ум, на мое счастливое будущее. Быстро принимаю душ и в спешке собираюсь, по десять раз пересчитывая белье, свитера, брюки, диски, зарядники для электронных устройств, книги, тетради, авторучки и коробочки с лекарствами. В последнюю минуту проверяю в сети расписание автобусов и жив ли он. Жив, пока жив, хотя в коме. Испытываю странное облегчение: если бы сейчас, мучаясь от похмелья, собирая вещи и проверяя автобусное расписание, я узнал, что Папа умер, мне стало бы не по себе. Хреново, прямо скажу, мне бы стало. Нельзя же так: Папа там умирает, а я тут мечусь между рюкзаком и клавиатурой, между холодильником и ванной. В конце концов, я ведь крещен, прошел первое причастие и конфирмацию. Это как-никак обязывает.

(Не знаю, как оно было с крещением, но первое причастие я помню. Сперва мы долго, несколько месяцев, ходили в дом органиста, где сестра Леония втолковывала нам, что первое причастие — самый важный день в жизни. Или читала отрывки из книги с биографией святого Иоанна Боско и еще нескольких святых — для них для всех первое причастие тоже было самым важным днем в жизни. Если сестра Леония была в особо приподнятом на-

строении, она сразу после молитвы начинала рассказывать, как все будет. Приедет сам епископ! Перед словом "епископ" она делала паузу, а мы невольно затаивали дыхание. Мне было очень интересно, как выглядит епископ, но я его немного побаивался: по моим представлениям, он должен был быть огромным, высоченным, в красно-белом, расшитом золотом одеянии и, если кто-нибудь будет ему мешать, может одним движением пальца обречь нарушителя на вечные муки — в аду грешников поджаривают в кипящей смоле. "Приедет сам епископ", — повторяла сестра Леония, на этот раз делая паузу перед словом "сам". И дальше говорила, что девочки в беленьких платьицах будут в левом нефе, а мальчики в синих костюмчиках — в правом, и что хорошо бы костюмы у всех были одинаковые: темно-синие, а не черные или кремовые, потому что некрасиво, когда кто-то выделяется. Конечно, если у кого-нибудь никак не получится, денег на новый костюм не хватит или еще что, тут уж ничего не поделаешь, пускай приходит в том что есть. И когда мы будем входить в костел по двое, высоко, перед подбородком, сложив ладони, епископ будет смотреть на нас из кресла около алтаря. И нам необычайно повезло, что епископ — спасибо нашему ксендзу! — начнет с нашего прихода. Это большая честь, очень большая, великая, такого не каждый удостоится. "Как ты думаешь, — спросил меня кто-то из одноклассников, — епископ потом, когда устанет, потеряет силу? И когда приведут ребят из шестой школы, святые дары уже будут послабже?")

Поезд трогается, и внутри у меня что-то ёкнуло. Гдыня начинает убегать, вот-вот убегут и Сопот, и Гданьск, а потом Тчев и Мальборк — а спустя несколько часов я выйду в Кракове. Ёкнуло; секунду-другую я колеблюсь — пока этого не осознáю и не отброшу колебания. Ведь еще можно дать задний ход, сойти на ближайшей станции, позвонить Клубню, сказать ему что-нибудь: что я сломал ногу, попал под машину, внезапно умер, скончался. Но — поздно: я уже связан с поездом, уже сидящий у дверей парень спрашивает меня: "Извиняюсь, плацкарта действительна только на определенное время? Я покупал билет утром, а сейчас вижу, тетка в окошечке продала плацкарту на девять тридцать... но это ведь не девятичасовой, а мне ехать далеко, в Кельце, не хочу, чтобы контролер прицепился..." Я перебиваю его и говорю: "Да, на определенное время". Он растерянно умолкает, потому что еще не закончил рассказ о тетке в окошечке, о долгом путешествии в Кельце — и, наверно, о девушке, которая его там ждет и чью фотку он сейчас достанет из бумажника; а потом начнет рассказывать о том, что в Кельце с работой туго, но приятель помог ему устроиться в Гдыне, и

вот он мотается между Кельце и Труймястом[1], девушку, пожалуй, перетащит к себе, потому что они собираются пожениться, может, осенью, а может, на будущий год, что ни говори, жена — это жена, а девушка — только девушка, страх ведь до женитьбы оставлять ее за тридевять земель. Мне даже жаль, что я его перебил, мог бы позволить ему разговориться, мог подождать, пока он дойдет до этой девушки и своих страхов. И лишь тогда его прервать, мягко и вежливо: "Да-да, оставлять страшно. У меня была когда-то девушка далеко, это всегда, да-да, всегда кончается одинаково: тусовка какая-нибудь, на дискотеку пойдет или к сослуживцу на день рождения... момент, понимаете, один момент, и готово — вот уже и трусики на полу, уже он ее... ну, понимаете, всегда найдется какой-нибудь, понятное дело, а утром слезы, утром слезы, и прошлого уже не вернешь, вас какой-то червяк точит, ее точит, вот и вся любовь". Так что пусть он на меня не смотрит такими глазами и с такой укоризной, я ведь и вправду мог это все сказать.

Когда мы уже порядком отъехали от Гданьска, я выхожу в коридор. Звоню Але: "Привет, лапушка; я как раз достиг границы разделяющего нас пространства в пределах города и начинаю отдаляться, как ты?" Она минуту молчит, и я понимаю, что сейчас не время для шуток. "Родители пригрозили, что выгонят меня из дома, — говорит она наконец. — Догадались, конечно, что я не у подруги была, все из меня вытянули, и о том, что было ночью, тоже, мать обозвала меня шлюхой, а отец потребовал твой номер телефона, но я не дала". Я тупо уставился в стену — к такому повороту я не готов. А она продолжает: "Черс, Черс, что будем делать, если окажется, что я залетела? Не брать же снова таблетку, после той еще недели не прошло". Я стараюсь тихонько прочистить горло, настроить голос на соответствующий моменту регистр, притом очень быстро, чтобы она не услышала. "Что будем делать, что будем делать — поженимся и будем растить нашего ребенка, — говорю, как будто давным-давно это запланировал, — ну а сейчас-то ты где?" — "У подруги, — говорит, — готовимся к экзамену". И тут в небесах открывается окошечко и через него на меня снисходит озарение — теперь я могу не раздумывая сказать: "Занимайся, милая, готовься к экзамену и ни о чем не думай. Я тебе еще позвоню, когда приеду, пока", — ну вот, а сейчас прислониться лбом к холодному стеклу и застыть надолго.

1. Труймясто (тройной город) — агломерация на Балтийском побережье, состоящая из Гданьска, Сопота и Гдыни, а также нескольких меньших городов и предместий.

(Из месяца в месяц сестра Леония твердила, что это будет самый важный день в нашей жизни, и рассказывала о епископе. Она повторяла это столько раз, что в конце концов мы переставали ее слушать, и только когда она нависала над нами, крича: "Вы когда-нибудь успокоитесь? Хотите, чтоб я ни одного не допустила к причастию? Хотите, чтобы родители из-за вас слезы лили: костюм куплен, сласти заказаны, а сынок не допущен?" — только тогда мы умолкали и опускали головы. А она, встав посреди комнаты, пунцовая от гнева, обводила нас злобным взглядом, после чего поднимала вверх палец и говорила, что первое причастие — очень важный день, важнее не бывает.)

"Папа, — вдруг вспоминаю я, уже сидя в купе и читая купленные перед отъездом газеты, — что с Папой?" В газетах о Святом Отце ни слова, тема недели — Терри Скьяво[1], спокойно угасающая в Америке после отключения аппарата искусственного питания. Терри уже умерла, кажется, вчера или позавчера, но люди, чьи высказывания я сейчас читаю, еще об этом не знают. Они спорят: отключать или не отключать, хорошо это или плохо, убийство это или избавление от страданий, — а ее между тем уже нет в живых. Это даже смешно: такие жаркие споры, а она мертвехонька, холодна как лед. И мне бы так хотелось. При условии, что я не буду знать, когда меня отключат специалисты на основании результатов обследований, на основании таблиц, норм и расчетов. В любом случае это лучше, чем проснуться лет через пять и в старых подшивках газет и на информационных порталах увидеть свою, тысячекратно повторенную фотографию, на которой я лежу с широко раскрытыми глазами и столь же широко раскрытым ртом — как безобразная восковая кукла, как пришедший в негодность манекен, валяющийся на складе. А все эти люди, этики, лирики и прочие пикники, они не о настоящей Терри спорят, а о Терри виртуальной, какую знают по газетам и телеэкрану. Поройся они в Интернете, нашли бы кучу документов разных лет: предположения, что муж пытался ее задушить; записи в истории болезни о том, что больная, хоть и в ограниченной степени, контактирует с окружающими; подсчеты суммы страховки, которую получит муж после смерти супруги. Я бы на месте Терри встал с кровати, из полумертвых бы встал, и прямо в циклопьи очи ка-

1. Американка, тяжелая болезнь которой вызвала громкий судебно-политический конфликт по вопросу об эвтаназии. В 1990 г. Терри Скьяво впала в кому и много лет находилась в вегетативном состоянии, без признаков сознания; умерла после принятия судебного решения об отключении аппарата искусственного питания; на ее надгробии высечена надпись: "Родилась 3 декабря 1963 / Покинула эту землю 25 февраля 1990 / Упокоилась с миром 31 марта 2005".

мер нацелил указательный палец, и поднял бы его вверх, и произнес страшным голосом: "Вон!" Но: *Папа* — снова вспоминаю я и отправляю сестре эсэмэску: "Сообщай мне регулярно, что с Папой. И выключи мой компьютер, я в спешке забыл".

Здесь, в поезде, все как обычно: будто ничего особенного не происходит. Пятница, Краков после работы возвращается в Краков из Варшавы. Солидные мужчины беседуют о новых контрактах фирм, в которых они занимают важные посты. Студенты вспоминают тусовки на прошлой неделе, сколько было выпито, рассуждают о преимуществах голландской марихуаны и о том, что хорошо бы сразу после окончания института получить хорошую работу на крупном предприятии. У солдат, отпущенных в увольнительную, в разговорах только цифры. Выйдя покурить возле клозета, я слышу, как один спрашивает другого: "Сколько?" — "Еще до хрена!" — отвечает тот подобострастно, явно учуяв "деда". "Сколько?" — повторяет первый. "Двести шестьдесят три", — говорит второй. "Ну, салага еще, — качает головой первый, — зеленый, бля. А мне уже всего ничего", — добавляет хвастливо. Во взглядах зависть, в воздухе уважение, угощают друг друга сигаретами, начинают искать общих знакомых. "Ты из Катовице? У меня кореш оттуда. Вишневский. Яцек Вишневский, может, знаешь? Белобрысый такой, невысокий". — "Белобрысый... — повторяет как эхо тот, к кому обращен вопрос, изображая глубокую задумчивость, затягиваясь сигаретой, чтобы продлить паузу, — вроде припоминаю. Ну да, знаю — с виду".

А вот парень, с которым мы едем в одном купе, наверняка "с виду" никого не знает. Он блондин, только это я и заметил, а вообще как он выглядит, я не знаю, никогда не осмеливался разглядывать незрячих. Они обладают каким-то дополнительным органом чувств, кожа у них ощущает тяжесть чужого взгляда — если посмотришь на такого, даже украдкой, он в какой-то момент ответит на твой взгляд своим невзглядом, и ты, оставшись с глазу на глаз с его бельмами, вынужден посмотреть прямо в глаза пустоте. Тогда тебе становится жутко неловко — чувство необоснованное, но жгучее. Минут за десять до Кракова слепой говорит: "Извините, пожалуйста, как попасть на стоянку такси?" Не просит впрямую: проводите меня, дайте руку, пойдемте со мной. Только спрашивает, очень вежливо, и этот вопрос — экзамен, который никто не сдает. Я читаю газету — смотрю на газетный лист с таким напряжением, что буквы бледнеют, типографская краска трескается и крошится, — а парень и девушка, сидящие напротив, будто язык проглотили, за-

слушавшись хип-хопом в плейере. Я вижу их только краем глаза, а двоих мужчин, возвращающихся в Краков с работы, вообще не вижу, но все равно знаю, что они с кислыми минами переглядываются: только они и остались, с пустыми руками, защититься нечем. "Где там ближайшая стоянка?" — спрашивает один у другого, и в вопросе этом звучит фальшь. "Стоянка, — медленно тянет второй, с усами, — гм, вроде бы ближайшая прямо у выхода, нет?" — "Да, — говорит тот, что в очках, — рукой подать, два шага по туннелю, потом чуть-чуть повернуть, и все дела. И все дела", — повторяет удовлетворенно, будто здорово выкрутился, ведь второй раз "и все дела" он сказал уже усатому, как бы в продолжение их разговора. Ловко они это разыграли: "Где там стоянка, Метек?" — "Недалеко, рукой подать", — и дело в шляпе, Кшисек теперь знает, Метек указал вопрошающему путь, нормалек. Между тем ни в какой не в шляпе, не удался Кшисеку с Метекем номер, потому что слепой уже напрямую просит: "А вы бы не могли меня проводить, я не уверен, что сам найду". И — тишина, тишина, тишина. "Ну да-а-а-а-а, — говорит наконец усатый очень-очень медленно, — конечно. Можем проводить, это близко, рукой подать, два шага по туннелю и повернуть чуть-чуть". Нажимает на это "чуть-чуть", хватается за спасательный круг. В его "чуть-чуть" вмещается то, что он на самом деле хотел сказать: "Отвали, малый, я спешу. Мне на автобус надо успеть, заскочить по дороге домой в круглосуточный, пива купить, колбаски, Ванда звонила, что колбасы нет". А у меня рта как не бывало, губы слились с кожей лица, срослись, зарубцевались. Ты же не знаешь Кракова, мысленно говорю себе, честно не знаешь, понятия не имеешь, где эта гребаная стоянка, если б знал, помог бы этому пареньку; но ты правда, бля, не знаешь, и, если он тебе скажет, что ему нужно на какую-то там Новогродскую или Новоблядскую, ты даже не сообразишь, куда с ним выходить, налево поворачивать или направо, к тому же тебя уже ждут, в подземном переходе сотовый не берет, потянутся люди с поезда, Марко и Клубень подумают: что-то не так, не смогут тебе дозвониться, уедут домой. И что тебе тогда, с тяжеленным рюкзаком и сумкой, делать, если ты даже не знаешь, куда ехать? И так я себя оправдываю, спешу отпустить себе грех, однако, когда поезд останавливается, не бегу к выходу, жду, пока незрячий выйдет с этими двумя недовольными, пока ребятки, что сидели напротив, приведут себя в порядок и тоже выйдут; только тогда я встаю, беру рюкзак, надеваю куртку, стараюсь не смотреть в зеркало.

Клубень ждет возле киоска, одетый как всегда: широченные штаны и толстовка; по виду больше похож на диджея, чем на из-

вестного литературного критика. Таким же он был, когда мы познакомились года три или четыре назад. "Привет, чувак, давай пять, братан! — кричит он. — В жизни не видел, чтобы кто-нибудь приезжал на три месяца с одним рюкзаком!" Даю пять. "Понимаешь, — говорю, — я вчера a conto[1] отмечал день рождения, собирался с бодуна, сам не знаю, что у меня в рюкзаке. Скажи лучше, он еще жив? Жив еще старец?" Клубень головой описывает в воздухе небольшой круг (один из его характерных жестов) с миной, означающей: "понял, знаю, о чем ты, можешь ничего больше не добавлять" — и говорит: "Жив, хотя, кажется, уже в агонии. Только что передавали по радио. Слышь, Черс, тут такое дело, Мартина страшно из-за этого переживает, так что, понимаешь... Не говори при ней ничего такого, ну, сам знаешь". Я киваю: "Не знаю, но догадываюсь". А Клубень продолжает: "Понимаешь, тут, в Кракове, последние пару дней дым коромыслом. Пойдешь на Рынок — сам увидишь. На каждом углу телевизионщики, Польсат, ТеВеПе, ТеВеЭн, ТеВеХрен. Так ловко расположились, что друг дружке не мешают и в чужую камеру не попадают, не знаю, договорились, что ли, между собой, во всяком случае, на заднем плане у всех только Рынок и люди, никаких тонвагенов. Правда эпохи, правда экрана, правда и только правда".

В машине все молчат и слушают по радио последние новости. Едем медленно, я верчу головой, гляжу по сторонам — на тротуарах яблоку негде упасть, краковская пятница, город хлынул в центр. "Состояние Иоанна Павла Второго ухудшается, и, хотя сердце и мозг продолжают работать, сейчас уже ясно: нет у Святого Отца надежды", — замогильным голосом сообщает диктор. У Марко вырывается короткий нервный смешок. "Слышали, мать их? — спрашивает он. — Надежды, видите ли, нет, и это о человеке, который всю жизнь говорил о надежде. Нет надежды, ну что несут, кретины!" Я с ним согласен — как тут не согласиться. "Переступить порог надежды[2]. Надежда мира. Господь — надежда наша. Вера, надежда и любовь как три звезды, сверкающие на небосводе духовной жизни". Надежда, надежда, надежда неугасимая — а этот диктор, профессионально модулируя голос соответственно потребностям минуты, выдает наспех придуманную пуэнту: "Нет у Святого Отца надежды!" Марко неодобрительно качает головой, объезжая

1. Авансом, загодя (*итал.*).
2. "Переступить порог надежды" — книга интервью итальянского писателя и журналиста Витторио Мессори с Иоанном Павлом II (1991); переведена более чем на 20 языков, разошлась в 20 млн. экземпляров.

какого-то пьяного сопляка, который лезет под колеса и вдобавок тащит за собой свою девушку. "Одно я вам скажу, — говорит наконец Марко, — католические издатели теперь заработают миллионы". И это правда.

Мартина ничего не говорит, даже не смотрит по сторонам, только покусывает антенну сотового телефона. Оживляется, лишь когда по радио сообщают, что звонари на Зигмунтовской башне[1] в полной готовности ждут информации о смерти Папы, чтобы раскачать огромную тушу колокола весом одиннадцать тонн, чтобы извлечь из нее звук чистый и печальный, который повиснет над городом, от которого содрогнутся стены и сердца. "Марко, поедем послушать Зигмунта? — спрашивает Мартина. — Я еще никогда не слышала, как звонят. Поедем?" Марко отвечает не сразу, видно, чувствует, что легко не отвертится. "Ладно, постараемся, — говорит он наконец. — Сперва отвезем Черса... хотя, думаю, сегодня не будут звонить. Еще не сегодня, может быть, завтра". Я тоже никогда не слышал звона Зигмунта, только видел когда-то по телевизору документальный фильм "Зигмунтовы ребята" или что-то в этом роде. Звонари — тщательно подобранная группа, есть даже запасные. Каждый добирается до места максимум за пятнадцать минут, достаточно одного телефонного звонка — и среди ночи они вскакивают с постели. Как пожарные. Помню один кадр, снятый снизу: наверху в светлом ореоле величественно раскачивается колокол: "бим-бом, бам-бим-бом, эх, кабы знать, по ком звонит он"[2]. А потом показали звонарей, они говорили, какая большая это честь — звонить в самый главный польский колокол. Я был маленький — сколько мне могло быть? лет восемь, от силы девять, — и подумал тогда, что хочу когда-нибудь стать таким звонарем. Похоже, не бывать тому, думаю я сейчас, представляя себе, как они стоят там, наверху, двенадцать солидных мужчин, ожидая сигнала, затаив дыхание... Сколько им еще стоять в этом тягостном ожидании? Час, два, четыре? Постепенно напряжение начнет спадать... когда же впервые мелькнет мысль: умирание штука долгая, а тут все холоднее, и есть хочется, а утром вставать на работу? Или что-то в этом роде.

(А потом наступил, наконец, тот майский день, когда мама разбудила меня рано утром, нарядила в синий костюм, достала из шка-

1. На одной из башен кафедрального собора на Вавеле (холм и архитектурный комплекс, включающий королевский замок) находится колокол "Зигмунт", в который по традиции бьют только в особо важные для Польши и польского народа моменты. Последний раз в колокол били в апреле 2010 г. после крушения президентского самолета под Смоленском.
2. Из песни Казика Сташевского, вокалиста и саксофониста, лидера группы "Культ".

фа громницу[1] — ту самую, что горела, когда меня крестили, — а потом всей семьей: мама, папа, бабушка и сестра — мы вышли прямо на слепящее утреннее солнце, в безжалостный зной. По улицам нашего городка я старался идти с достоинством, то есть стягивал лопатки, высоко задирал подбородок и ровно отмерял шаги: нога на плите тротуара, одну плиту пропустить, вторую ногу — на следующую плиту. Так мы шли всей семьей, минуя поперечные улицы, откуда выходили другие семьи, и другие мальчики в костюмчиках, и девочки в беленьких платьицах, с зелеными веночками на голове, и эти группки сливались в длинную многоцветную процессию, направляющуюся к старому костелу. Высокая башня костела до войны была еще выше, но немцы ее разрушили, потому что она мешала взлетающим с полевого аэродрома самолетам, — это мне рассказала бабушка, когда мы, пройдя в ворота, входили на площадь перед костелом. "Ну иди, сынок", — сказала мама и легонько меня подтолкнула, и я пошел к своим товарищам, стоявшим парами у стены костела. "Так стоять! — приказала сестра Леония. — Стоять и не шевелиться! Не разговаривать! Сейчас придет фотограф, а потом вон там пройдет, — она сделала паузу дольше обычного, после чего отчеканила Заглавными Буквами: — Его Преосвященство Епископ!" Мы стояли, возбужденные ожиданием, и только переглядывались и изредка перешептывались. "Подарили тебе бемикс? — спросил у меня Лукаш. — Мне подарили, я уже катался". Я молчал, потому что не знал, подарят ли мне бемикс, а кроме того, не хотел сейчас, в самый важный день моей жизни, перед самой важной минутой в этой жизни, думать о велосипеде. Как и о том, что будет очень обидно, если не подарят: сейчас не время для обид! — а если хоть на минутку станет обидно, это может все испортить. Хорошо Лукашу — его родители были в прекрасных отношениях с сестрой Леонией и приходским ксендзом, поэтому Лукашу поручили на мессе прочитать главу из Евангелия, а после мессы — так он говорил, но мы не верили, ври, да не завирайся! — Его Преосвященство Епископ будет у них дома обедать. Потом из плебании[2] вышел фотограф, навьюченный сумками, и стал нас снимать; когда дошла очередь до меня, я выпрямился и выпятил грудь, всем своим видом стараясь показать, что на меня снизошла благодать и что я жду не дождусь первого причастия и прибытия Его Преосвященства. Это фото до сих пор есть где-то в семейном альбоме: подстриженный под пажа мальчик в костюме, криво держащий

1. Освященная в костеле свеча, по народным верованиям защищающая дом от грозы. Громницу вкладывают в руки умирающему, а также зажигают при крещении и первом причастии.
2. Дом приходского священника.

громницу и явно ослепленный солнцем; глаза сощурены, чуть ли не зажмурены, лицо искривилось в мерзкой гримасе: рот перекошен, зубы оскалены. Вот все, что осталось от того дня, про который мне говорили — и я свято верил, — что это будет самый важный день в моей жизни.)

— Заходи, это твоя комната, — говорит Клубень. — Гляди: шкаф, кровать, тумбочка, письменный стол. — Показывает пальцем, словно я похож на такого, кто без него не сообразит и будет работать на кровати, а спать на шкафу. Впрочем, может, и похож: в ушах неприятный шум, во рту сухо и противно, и вообще я усталый, голодный, и на душе кошки скребут. Какой-то я вздрюченный. Помятый. Скидываю рюкзак, расстегиваю куртку, открываю окно, опираюсь руками на подоконник. — Ну что? — спрашивает Клубень с наигранной бодростью массовика-затейника. — Давай посидим спокойно, покурим и подумаем, что делать дальше. Можно, например, поехать в город, поужинать у меня — у Андреа, кстати, тоже сегодня день рождения, — а потом заскочим к Хутнику, у него намечается пьянка. Что скажешь?

Я пытаюсь состроить мину, означающую "да мне без разницы", но не успеваю, потому что Мартина, которая не вынимает из уха наушника от портативного приемника, говорит:

— Он по-прежнему в коме, только что подтвердили.

Мы смотрим на нее, потом друг на друга, смотрим прямо в глаза, будто обмениваясь приветствием мира[1].

— Мне без разницы, — говорю я.

За ужином беседуем о литературе. Кто, с кем, когда, сколько — обычный польский треп за польским бигосом. Вино пьем венгерское, потому что Андреа из Будапешта. Мартина поминутно нервно вздрагивает и роняет вилку — это означает, что закончился очередной музыкальный антракт и начинается специальный выпуск новостей. Все замолкают, обрываются на полуслове сплетни о знакомых и незнакомых, зависают на середине фразы профессиональные умозаключения. Это повторяется с жутковатой регулярностью: Мартина замирает, мы напряженно молчим — а потом расслабляемся, поскольку ничего нового по радио не сказали и можно продолжить беседу. Под конец мы все рассыпаемся в комплиментах — хвалим бигос и вино, после чего одеваемся и, спустившись по крутым ступенькам в вечернюю прохладу, направляемся прямиком в ближайший кругло-

1. Во время евхаристической литургии после молитвы "Отче наш" и перед причащением прихожане, глядя друг другу в глаза, обмениваются рукопожатием — приветствием (преподанием) мира.

суточный магазин, а оттуда к Хутнику, польскому писателю. У Хутника гулянка не прекращается уже третий день: на диване сидят и курят дамы, на стуле какой-то мужчина молча потягивает вино, а сам Хутник, пьяный в дым, кемарит в кресле. Везде разбросаны пустые пивные банки и водочные бутылки, книги, бумаги, одежда, тарелки. Из динамиков несутся голоса: Здислава Сосницкая вперемежку с "Больтером" и Петром Щепаником[1] (лучше Петра Щепаника никого нет — так, по крайней мере, утверждает одна из сидящих на диване дам). Все здесь похоже на сляпанную на скорую руку театральную декорацию — слишком уж безупречен этот хаос, чтобы возникнуть случайно. Мы рассаживаемся — кто куда: на табуретки, на коробки, на пол, открываем пиво, закуриваем, ждем хоть какой-нибудь живой струи, но разговор не клеится, что-то нехорошее висит в воздухе и почему-то, несмотря на распахнутое окно, очень душно. Тоска зеленая, кто-то что-то вяло говорит, но редко и тихо, приходится напрягать слух. Если через это открытое окно внезапно влетит колокольный звон, как бы он, ворвавшись в комнату, не размозжил нас, не стер в порошок.

Вместо этого открывается дверь и входит Качка. Качка всегда появляется там, где собирается более-менее интересная тусовка, и всегда его встречают с распростертыми объятиями — по причине как личного обаяния, так и (чего уж тут скрывать) толстого кошелька. Качка — персонаж из другой оперы: когда мы еще под стол пешком ходили, он основал туристическую фирму, а когда мы выводили первые корявые буквы в школьных тетрадках, был уже чуть ли не монополистом в своей области и у него оставалось время, чтобы заниматься переводом еврейских песен, петь русские романсы или создавать вагнеровские общества. А еще писать стихи. Сейчас он ставит на пол сумку, набитую банками пива, и начинает в своем духе: "Нну-с, что там, как там? Так и думал, что застану вас или здесь, или в 'Красивой собаке'. Выкладывайте, что слышно?" Наконец-то забрезжила надежда: можно будет встряхнуться, завести разговор, развеять эту духоту — но пауза опасно затягивается, а когда Клубень все-таки раскрывает рот, Мартина громко шипит: "Тсссс, шшшшшш, что-то говорят..." — и крепче прижимает к уху наушник, так что Клубень только тихо выпускает воздух и затягивается сигаретой, я сосредоточенно разглядываю ногти, Качка застывает, не успев открыть пиво, дама на диване — с поднесенной к губам рюмкой, мужчина на сту-

1. Здислава Барбара Сосницкая (р. 1945) — певица, композитор, обладательница сильного голоса (2,5 октавы); "Больтер" — музыкальная группа (основана в 1984 г.); Петр Щепаник (р. 1942) — певец, актер, гитарист.

ле — с зажигалкой в руке. Все в ступоре, и тут вдруг раздается грохот: это Хутник очнулся от дурного сна и вскочил с кресла. "Что за поминки? — нечленораздельно бормочет он. — Это что за поминки, бля, спрашиваю?" Никто не отвечает. Мы все на него смотрим, а он, похоже, начинает ощущать тяжесть воздуха, духоту, скрытое напряжение и — это видно — собирается с силами, чтобы врубиться... и внезапно бросается к столу, хватает первый попавшийся стакан и — хлобысть! — выливает пиво на свою девушку, сидящую на диване. Она вскакивает и кидается на него с кулаками, а мы только смотрим и никак не реагируем, больно уж нелепая, абсурдная ситуация. И опрометью вниз по лестнице, как повстанцы, бегущие из осажденного дома. Останавливаемся только за углом. "Ничего страшного, — пыхтит Марко, — милые тешатся, вечно они так, сейчас помирятся или она позвонит в полицию и его заберут, спокуха, все путем, не обращайте внимания, что поделаешь, это Польша". Так что мы не обращаем внимания и расходимся кто куда: Марко с Мартиной, Клубень с Андреа, а мы с Качкой — в "Красивую собаку".

"Давай, Черс, шевели ногами", — повторяет Качка, ведя велосипед, и я шевелю, слегка пошатываясь: вино, потом пиво, все практически на пустой желудок, и это после вчерашнего перепоя. Мы идем по краковским улочкам, обходя небольшие группки, перемещающиеся из одного кабака в другой; фонари отбрасывают ярко-оранжевый свет, наши бледные тени то удлиняются, то исчезают, чтобы неожиданно выскочить сбоку и опередить нас, когда мы проходим мимо очередного столба, и скрыться в темноте, когда попадаем в очередное пятно света. "Давай, Черс, давай, — повторяет Качка. — Мы ведь сто лет не виделись, небось с полгода уже, прекрасный случай, надо отметить, понимаешь, завтра могут объявить траур, и весь Краков вцепится тебе в глотку — ату его! — если ненароком запоешь на улице. Погляди, — добавляет он, когда мы подходим к "Красивой собаке", — ты только погляди на этих людей". Внутри битком набито, ни одного свободного места, народ толпится около бара, вокруг столиков, в проходах; даже снаружи человек пятнадцать со стаканами в руках — спорят, сплетничают, смеются. В наличии все возрасты — от шестнадцатилетних девчонок в цветных маечках и с колечками в носу до громко хохочущих, вызывающе накрашенных сорокалетних дамочек и седеющих мужчин в очках. "Красивая собака" уже три сезона самое популярное заведение, где собирается богема, полубогема, псевдобогема и даже антибогема. Успех неслыханный: обычно места, в которых надо "бывать", меняются каждые три месяца, иногда чаще; случается и так,

что кто-то неосведомленный, не успев сориентироваться, какой кабак нынче самый модный, отправляется туда в пятницу или субботу вечером и остается с носом: там уже никого — все общество неделю как тусит на другой стороне Рынка. "Погляди, — не отстает Качка, — завтра Папа умрет, и половина из них будет его оплакивать горючими слезами, притом искренне! Но это завтра, завтра, а сегодня еще веселятся на всю катушку. Пошли в 'Дым', здесь нам делать нечего".

"Ох, тут у нас в Кракове такое будет твориться, увидишь, — говорит Качка. Мы сидим в "Дыме", модном в позапрошлом сезоне кабаке, где сейчас всего несколько посетителей, явно не местных. — Насмотришься, эдакое тебе и не снилось. Я помню, как его выбрали. Какой же у нас был год? Кажется, семьдесят восьмой, я тогда учился в восьмом классе, ну, это было событие — из ряда вон. А потом эти паломничества: я сам рванул за Папой в Познань, в моей жизни как раз был религиозный период. Только тогда все было по-другому, без этого балагана; все знали, что Папа — поляк, но к Святой Троице его еще не причисляли, бум начался после восемьдесят девятого, портретами завалили страну. Отечественный бизнес, самый ходовой товар. У меня, конечно, есть свои претензии — за то, как пошло дело в конце восьмидесятых и позже, за лицемерие клириков, за их дикое политиканство". Качка все больше распаляется, повышает голос, жестикулирует; сразу видно, что сегодня вечером он свою норму принял. "Погоди, — говорю, чтобы его чуток осадить, — какое лицемерие, к кому претензии, к Папе или клиру? И что бы ты ни говорил, по-моему, все-таки свержение коммунизма..." Он не дает мне закончить: "Коммунизм, коммунизм, в мире полно причастных к его свержению — Рейган, Горбачев, Валенса, Войтыла[1]. И Маркс... на самом деле коммунизм сам себя порушил, не мог устоять, потому что экономика была ни к черту. Люди свергли коммуняк, а Папа был только катализатор. Ка-та-ли-за-тор. Ускорил неизбежное. За это ему честь и хвала, но надо же знать меру. Когда строй уже развалился, Церковь, вместо того чтобы отойти от политики и заняться чем положено, продолжала свои игры, потому что за десять лет привыкла сдавать карты. А ведь игроков нужно как можно больше, вот и пошло-поехало: сплошное лицемерие, по воскресеньям в костел в кобеднишном прикиде, раз в пять лет обязательно в Лихень[2], а изо дня в день — толкаются локтями, злобствуют, взятки, абор-

1. Папа Иоанн Павел II — в миру Кароль Войтыла.
2. Лихень — деревня в Западной Польше, где находится базилика Пресвятой Марии Богородицы Лиховской; центр паломничества.

ты, дети в бочках[1], гуляй душа. И никто не скажет: хочешь быть католиком, изволь выбирать: или — или; нет, этого не услышишь. Важно, чтобы люди пришли в костел и положили пару монет на поднос, чтобы можно было их поучать, по большим праздникам толкнуть речугу, перед выборами подсказать, за кого голосовать, но чтоб тому или другому накостылять по шее — нетушки: как бы от тридцати с лишним миллионов не осталась одна восьмая. И довольно об этом, не то меня кондрашка хватит, давай в другой раз, не сегодня". И тут — как по заказу — у него звонит сотовый. Качка подносит мобилу к уху, минуту слушает, отвечает: "Понял, понял, идем, — и, отключившись, говорит: — Адась звонил, они в 'Локаторе', пошли к ним".

До "Локатора" идти довольно далеко, на Казимеж. Мы засиделись в "Дыме", уже перевалило за полночь, на Рынке еще полно народу, но в боковых улочках тихо, город спит. Качка уже не ведет велосипед, а волочит за собой, я тащусь по инерции — пока сидели, проблем не было, а сейчас каждый шаг дается с трудом. "Ладно, — думаю, — еще только сегодня, ну, может, завтра, а потом — ничего кроме чая, в двадцать два баиньки, сяду за работу, найду, чем занять время. Занять время... — И вдруг вспоминаю: — Аля! Как же я о ней забыл! Аля и, черт побери, возможно, наш ребенок, пусть уж он будет, да я ради него... Что-то стабильное, кто-то реально существующий. Наконец что-то настоящее". Смотрю на часы — поздновато, конечно, но позвонить можно, хотя нет, лучше не надо. Нет-нет, не надо звонить, не сейчас, не отсюда. Достаю телефон и пытаюсь на ходу написать эсэмэс: "мы немного выпили решили заглянуть еще в один кабак люблю" — но все время нажимаю не те буквы, сбиваюсь, теряю нить, пробую одновременно смотреть на экран и краем глаза следить за Качкой: если он вдруг повернет, а я не замечу, то потом уже его не найду, сам себя не найду в этом городе. Кое-как удалось дописать, отправляю сообщение, и тут Качка вдруг останавливается. "Спокуха, я уже написал", — бормочу, думая, что поэтому он остановился. "Посмотри сюда, — показывает пальцем Качка, — узнаёшь это окно?" Поднимаю голову: ну окно, окно как окно, почему мне должно быть знакомо какое-то окно в центре Кракова? Хотя... где-то я его видел, с чем-то оно ассоциируется. "Милош[2]?" — спра-

1. Это выражение широко распространилось в Польше в 90-е гг. после двух громких судебных процессов над родителями, убивавшими своих малолетних детей и хранившими останки в бочках из-под квашеной капусты.
2. Чеслав Милош (1911—2004) — поэт, эссеист, лауреат Нобелевской премии по литературе (1980), в 1951 г. во Франции попросил политическое убежище, с 1960 г. жил в США, вернулся в Польшу в 1993 г., похоронен в Кракове.

шиваю. "Хе-хе, Милош, Милош, — говорит Качка. — Когда он умер, тоже шуму было в городе! — теперь будет еще больше, но тогда, понимаешь, были свои заморочки. Где его похоронить: на Скалке[1] или под забором? Кто он — великий поляк или обыкновенный предатель? Тот еще был хипеж, поверь. Да, нелегко приходится нашим великим после смерти".

В "Локаторе" веселье в разгаре, то ли Новый год, то ли первое апреля: молодые поэты, молодые поэтессы, все ряженые, какая-то пара целуется посреди танцпола, то и дело сквозь звуки музыки пробивается звон расколотого стекла — кто-то спьяну уронил стакан или пивную кружку. Здороваемся со знакомыми — Адась лежит на диване, потому что уже не стоит на ногах, Ясь вроде бы трезвый, но, когда здоровается со мной второй раз, я понимаю, что он в отключке. "Слыхали анекдот про Папу? — спрашивает какая-то девица с боа на шее. — Иоанн Павел Второй умирает и отправляется в рай, у ворот святой Петр его спрашивает: а ты кто? Как это кто, говорит Папа, я — Папа. Святой Петр ему: нету такого в списке. Да ты что, говорит Папа, проверь: Иоанн Павел Второй, Кароль Войтыла. Нету, говорит святой Петр. Не может меня не быть, говорит Папа, я ведь был понтификом, управлял Церковью, наверняка я в списке, посмотри еще раз. Да нету же, говорит святой Петр... А этот ему, сейчас, погодите, как бы не сбиться. Короче, Папа говорит, что хочет увидеться с шефом, с Иисусом то есть. Ну и приходит Иисус, Папа ему, что он Папа, а Иисус на это: нет таких в списке допущенных в рай, sorry. Стоит Папа и не понимает, что за дела, совсем скис, но тут Иисус хлоп его по плечу и говорит: ну-ка повернись вон туда, а теперь улыбочку, у нас тут скрытая камера".

В полвторого стою на улице, озираюсь растерянно. Качка куда-то пропал, может быть, пошел домой, а может, это я потерялся, а он все еще сидит в "Локаторе". Так или иначе, с меня довольно, хватит, спасибочки, я иду домой. Но улица, на которой я стою, длинная и у нее два конца. И то хорошо, думаю, будь три конца, совсем было бы худо, даже из двух нелегко выбрать. Я не помню, откуда мы пришли, но где-то там Рынок, где-то там такси — здесь ни одного не видно. Стою себе, то в одну сторону качнусь, то в другую, а куда идти не могу решить; это вроде игра такая: правильно угадаю — попаду домой, значит, выиграл; неправильно — буду бродить, петлять, спотыкаться, падать,

1. На холме Скалка расположен монастырь паулинов, где в склепе, в подземелье костела, похоронены многие знаменитые деятели культуры и искусства.

всё — проиграл. В конце концов подхожу к двум мужикам, стоящим неподалеку; один другому втолковывает: "Говорю тебе, бля, да разве б я тебя, Кароль, бля, стал обманывать..." Улучив подходящий момент, спрашиваю: "Извините, мне бы на стоянку такси, это куда?" Удар отбрасывает меня на добрый метр, но я кое-как удержался на ногах; их двое, оба, правда, поддатые почище меня, но если прижмут — кранты; убежать я, вроде, могу, но куда, бля, куда бежать в незнакомом городе? Сверну не в ту улицу и пипец. К счастью, градус понижается; тот, что потрезвее, держит приятеля и орет ему в лицо: "Ромек, бля, успокойся! Сбавь обороты, бля!" И Ромек сбавляет обороты, перестает вырываться, голову роняет на грудь, будто у него вдруг сели батарейки. Я медленно отступаю, пячусь задом, поворачиваюсь только через несколько шагов и не спеша ухожу, прислушиваясь, — оборачиваться нельзя и бежать нельзя, но нужно быть начеку: если они двинут за мной, у меня будет секунда, от силы две, чтобы дать деру. Стоят, не двинули. Хорошо, думаю, очень хорошо, но только за углом останавливаюсь, прислоняюсь к стене и перевожу дух. А потом иду вперед — направление само нарисовалось, значит мне туда. Прохожу мимо темных витрин магазинов, пересекаю пустые перекрестки. На другой стороне улицы какие-то запоздалые прохожие, на моей — никого, если не считать пацанов, идущих мне навстречу, капюшоны опущены на глаза. Они еще далеко, наверно, метрах в двухстах, но я не раздумывая сворачиваю в ближайшую улочку. Тут гораздо темнее и нет никаких магазинов; по обеим сторонам только подворотни и десятки большущих деревянных дверей. Дверь, подворотня, дверь, подворотня, мне начинает казаться, будто я бреду внутри какого-то фрактала[1], но не туда, куда надо, потому что улочка сужается; сворачиваю в следующую, еще более узкую, а потом в следующую, на которой горит только каждый третий фонарь и поэтому темно, и чем дальше, тем темнее. Ускоряю шаг — но я уже потерял ориентацию, запутался, заблудился. Наконец останавливаюсь под каким-то деревом, пытаюсь достать сигареты, вместе с пачкой из кармана выпадает ключ и со звоном брякается на тротуар, ищу его вслепую, а когда, спустя несколько минут, нахожу, руки у меня так дрожат, что я не могу кончиком сигареты попасть в огонек зажигалки.

На место я добираюсь в третьем часу, швыряю куртку на кровать, а может, куртка швыряет меня в кресло, я ни в чем не уве-

1. Фрактал — сложная геометрическая фигура, обладающая свойством самоподобия, то есть составленная из нескольких частей, каждая из которых подобна всей фигуре целиком.

рен. Сижу в темноте и не могу собраться с мыслями; голова трещит, а где-то внутри затаился смутный страх, по спине бегут мурашки. В конце концов, нахожу пульт и включаю телевизор, хотя после некоторого колебания, палец не сразу нажимает на кнопку — однако это продолжается всего минуту. Экран вспыхивает, мерцает, но вот появляется изображение: специальная студия для передач о Папе, телеведущий, весь в черном, смотрит на своего гостя, поправляет очки, наконец говорит: "Нет у Святого Отца надежды" — и смотрит выжидающе на собеседника, который только молча кивает, полагая, что последует продолжение, и лишь поняв, что теперь его черед, что теперь он должен говорить, откашливается и повторяет: "Да, нет у Святого Отца надежды". Сейчас уже он выжидающе глядит на ведущего, но тот смотрит прямо перед собой, притворяясь, будто не понимает, пауза затягивается, идет война нервов. "Теперь многое изменится, — говорит наконец ведущий, которого, вероятно, торопит выпускающий режиссер, и поворачивается к гостю: — Да-а... а что, по вашему мнению, изменится?" Гость задумчиво поглаживает подбородок. "Многое изменится", — отвечает. На бегущей строке внизу экрана — как в передачах об экономике — самые последние сообщения: *07.20 Состояние Папы очень тяжелое, сообщил пресс-секретарь Ватикана Хоакин Наварро-Вальс *** 09.40 Иоанн Павел II тихо угасает, сказал кардинал Анджей Мария Дескур, друг Папы *** 12.30 Состояние Папы тяжелое, но он в сознании, молится и принял нескольких человек из своего ближайшего окружения *** 19.04 Хоакин Наварро-Вальс сообщил, что состояние Иоанна Павла II ухудшилось — жизненно важные органы отказывают, показатели жизнедеятельности необратимо изменились *** 21.36 Сегодня вечером или ночью Христос отворит врата понтифику, сказал архиепископ Анджело Комастри, генеральный викарий государства Ватикан;* и снова, как будто время зациклилось: *07.20 Состояние Папы очень тяжелое.* Переключаю канал. На тридцать втором специальная студия для передач о Папе. Телеведущая в черном зачитывает сообщение: "Состояние Папы продолжает ухудшаться; по неофициальной информации из ватиканских источников у Иоанна Павла Второго не осталось надежды". На тридцать третьем специальная студия, "Нет у Святого Отца надежды", — говорит красавец телеведущий; на тридцать четвертом специальная студия, *нет надежды*, тридцать пятый, *нет надежды, нет надежды, нет надежды.* На тридцать шестом два китайца безмятежно играют в пинг-понг.

Возвращаюсь к началу: "Прямой эфир с краковского Рынка. Алло, Бася, расскажи, какое настроение в Кракове?" Бася,

кивнув, отвечает: "В Кракове скорбное настроение, всеобщая печаль, глубокие раздумья и подавленность; на лицах не видно улыбок, а кафе и пабы, где обычно многолюдно и шумно, сегодня ночью полупустые". Тридцать второй: "В Вадовице[1] настроение подавленности, скорби и глубоких раздумий". Тридцать третий: красавец ведущий беседует с гостем. Тридцать четвертый: фрагменты из хроники — паломничества, встречи, — короткие, по несколько секунд, как клипы. Я перескакиваю с канала на канал все быстрее, щелк, щелк, щелк: сосредоточенные лица ведущих, микронаушники, гости в студии, быстрый монтаж кадров, капельки пота на лбу у операторов, нервозность шеф-редакторов — удастся ли, удастся ли обскакать другие каналы. "Гжесь, прочти еще раз последнюю информацию, потом я тебе напрямую включу Вадовице, уже есть связь, потом перебивка с площади Святого Петра, Краков и специальный репортаж в прямом эфире". Корреспондентка из Ватикана дает знак, что у нее свежая новость, которую она раздобыла благодаря связям в "Рай Уно". "Гжесь, Гжесь, замена, сейчас дадим Ватикан". И Гжесь говорит: "А сейчас мы выходим на связь с площадью Святого Петра, наша корреспондентка сообщит вам самые последние новости". Щелк, следующий канал, а там уже кто-то сообщает: "Как я только что узнал из неофициального источника, Папа пришел в сознание, хотя его состояние очень, очень тяжелое — нет надежды у Святого Отца; однако это неподтвержденная информация, повторяю: информация неподтвержденная". Щелк, следующий канал, следующий, следующий, щелк, щелк, щелк: *нет надежды*, информация из неофициального источника, журналисты итальянского телевидения сообщают, настроение в Кракове подавленное, воспаление мочевыводящих путей, *нет надежды*, у нас в гостях профессор медицины, он ставит диагноз понтифику заочно, *нет надежды*. У меня голова идет кругом, пальцы сами вцепляются в подлокотники кресла, а перед глазами упорно маячит одна и та же картина: Папа стоит в окне и пытается что-то сказать людям на площади, собирается с силами, напрягает непослушные связки. И это усилие на лице, эта предельная сосредоточенность, неколебимая, как скала, как столп, — и ни слова, ни единого слова. А потом его лицо исчезает в глубине помещения: кто-то невидимый оттащил от окна подставку, на которой он стоял; лицо пропадает в полумраке, расплывается, растворяется в темноте — и тогда мне кажется, что я

1. Город, в котором родился Кароль Войтыла.

слышу какой-то звук, какой-то тревожный звук, который пробивается сквозь толщу избитых фраз, всплывает на поверхность в промежутке между выходом на прямую связь и специальным репортажем, этот звук все громче, все отчетливее, все назойливее — невыносимый, пугающий; и я чувствую, как вдоль позвоночника у меня бежит струйка холодного пота, и все сильнее трясутся руки, и стучат зубы — и вдруг мне кажется, что я понял, что это за звук, и, оцепенев, падаю в кресло, дрожа, вслушиваясь в торжествующий смех Сатаны; и, широко раскрыв глаза, вижу, как кривятся в сардонической гримасе лица телеведущих, как у них изо рта, разрывая губы, вылезают кривые клыки, как их глаза вспыхивают адским красным огнем. А потом вдруг все гаснет, и я проваливаюсь в темноту.

2

На следующий день он умер. Утром я проснулся с тяжким вздохом — вынырнул из глубокого, как колодец, и темного, как колодец, сна. Проснулся, нервно вздрогнув, на полу и с минуту лежал не шевелясь, обводя взглядом светлый прямоугольник окна, постер на стене, которого я раньше не заметил, сосновый стол, кровать, разбросанную одежду. Потом вспомнил вчерашнее и снова вздрогнул, пробормотал себе под нос что-то вроде "примстилось, примстилось" и неуклюже поднялся с пола. А потом вытряхнул из рюкзака вещи, выбрал нужные и пошел в ванную. Споткнувшись на пороге, вошел, пустил воду и долго стоял под горячей струей, неподвижно, с закрытыми глазами, прижав ладони к лицу, — долго стоял, долго, очень долго. А потом отыскал кухню — большое мрачное помещение на самом нижнем этаже, где каждый шаг отзывался враждебным эхом, а каждое перемещение чайника, тарелки, ложки — грозным грохотом, и в чужой кружке заварил себе чужой чай. Потом бродил по коридорам, тихо и осторожно, пытаясь угадать, есть ли в доме кто-нибудь кроме меня, а когда убедился, что нет ни души, набросил куртку и, прикидываясь перед самим собой, будто я вовсе не спешу, торопливо вышел, и по аллее парка, между деревьев, направился на остановку, и на автобусе доехал до центра. Ходил взад-вперед по Плянтам[1], петлял, сворачивал то направо, то налево, наугад выбирая дорогу, стараясь запомнить названия улиц, выучить их расположение, и в

1. Плянты — городской парк, зеленый пояс, окружающий исторический центр Кракова.

конце концов неожиданно наткнулся на Рынок, где — как и говорил Клубень — стояли тонвагены и спутниковые передатчики, техники со скуки резались в карты на переносных столиках или дремали в кабинах, а выключенные камеры были нацелены в небо.

И когда я так слонялся — взад-вперед, туда-сюда, — позвонил Качка и спросил, что я делаю, а может, часом, ничего не делаю, и в таком случае он меня ждет в "Бункере", выпьем чего-нибудь и поболтаем. Ну и я пошел в ту сторону, которая казалась мне правильной, а потом в противоположную, а потом еще в третью, и наконец пришел куда надо — и мы посидели, и что-то выпили, и поболтали. И тогда Папа умер, но мы об этом не знали. Земля не содрогнулась, на небе не вспыхнул светозарный знак, никто не выскочил из-за столика, не побежал по улице с криком, никто не прислал эсэмэс, и даже звона Зигмунта мы не услышали в гомоне кафе, так что сидели и пили, и болтали себе преспокойно. А потом я пошел на Пилсудского, на остановку, и ждал автобуса, ехал на автобусе, вышел из автобуса, шел по улице, открывал дверь, входил в дом, раздевался, мыл руки; и только тогда подумал, что ведь это могло случиться, и — немного поколебавшись — все же включил телевизор, с пальцев у меня капала вода, я включил телевизор и увидел президента, который говорил: "Ушел великий Понтифик, Папа Римский, наш самый выдающийся Соотечественник, Святой Отец. Добрый отец всех нас, верующих и неверующих, приверженцев разных религий"; а вода капала с пальцев; "многовековая, необычайно глубокая духовность нашего народа породила выдающуюся, прекрасную личность, человека, который сумел так много дать миру"; а руки у меня были влажные, и это было неприятно; "и каждый из нас в этот печальный день счастлив, что нам было дано жить с ним в одно время". Я слушал президента, и мне казалось, что я стою перед огромной белой стеной, стою на огромном белом полу перед огромной белой стеной, и над головой у меня огромный белый потолок. И как будто при этом у меня мокрые руки. А потом президент сказал: "Дай-то Бог, чтобы мы были достойны Твоего ученья, дел Твоих, достойны Тебя", пауза: "дай-то Бог!" А я смотрел на президента, который снимал очки и откладывал листочки с этой замечательной речью, смотрел на него, и вдруг в уме у меня мелькнул вопрос — неясный, но упорно возвращающийся, точно кружащая над головой назойливая муха; я долго не мог найти в себе сил, чтобы сформулировать этот вопрос, но наконец произнес его вслух и только тут понял, что́ же я спрашиваю; стоя с мокрыми руками перед телевизором в

темной комнате, я спросил президента: "А министр Сивец уже поцеловал калишскую землю?"[1]

Пустое было воскресенье, бездельное; я ходил по коридорам, громко топая, гремел стулом в столовой, хлопал дверьми — без толку, никого я не выманил в коридор, потому что никого в этом большом доме не было, один я, да стены, да Папа, в мыслях — волей-неволей — склоняемый на все лады. Бродя между ванной и кухней, своей комнатой и прачечной, я пытался себе представить, как будет теперь, когда выражение "Папа-поляк" перестанет быть столь же привычным и однозначным, как "белый орел" или "Балтийское море", когда само слово "Папа" будет приложено к другой фигуре, другому лицу, — не получится ли, что, например, слово "дерево" будет означать не "дерево", а "дом", "река" или "туча"; другого Папы ведь я не знал. Когда двадцать четыре года назад я — ужасно неохотно — рождался на свет, когда посиневшими от кислородного голодания губами объявлял, что я существую, когда акушерки в панике засовывали меня в инкубатор, споря, сколько я протяну, Папа-поляк уже был. Когда мне было несколько недель и более-менее понятно стало, что я не умер, в Папу-поляка стрелял Али Агджа, смуглолицый малый с застенчивой улыбкой, чье фото в тюрьме во время свидания с Папой-поляком бабушка подарила мне то ли на третий, то ли на пятый день рождения. "Вместе с нашим Папой Иоанном Павлом" — было написано в катехизисе, по которому я заучивал наизусть порядок литургии перед первым причастием — и выучил на зубок; и даже сегодня, когда я уже не помню ни церковных заповедей, ни божественных благословений, даже сегодня, разбуди меня ночью, я, услышав лозунг "вместе с нашим Папой", продолжу: "Иоанном Павлом". А вскоре после первого причастия, по каковому случаю мне был подарен красный магнитофон, "наш Папа-поляк Иоанн Павел Второй" совершил паломничество в Польшу — до сих пор помню слезы на глазах у мамы, которая смотрела передачу по телевизору и пела вместе с паломниками "Авва Отче", а мне велела все записывать на мой, подаренный к первому причастию, магнитофон, потому что видака у нас не было. И я записывал, приставляя микрофон

1. В период предвыборной кампании 2000 г., во время визита президента Александра Квасьневского в Калиш, сопровождавший его руководитель Бюро по нацбезопасности Марек Сивец, выходя из вертолета, осенял крестом встречающих. Квасьневский спросил у него, целовал ли он уже калишскую землю, как это сделал Папа Римский во время своего первого визита в Польшу, и тогда Сивец встал на колени и прикоснулся к земле губами. Последствием этого поступка стала антипрезидентская кампания, обвиняющая власти в оскорблении высшего духовного авторитета нации.

к динамику телевизора, качество получалось ужасное, но я записывал — для мамы, чтобы она могла вспоминать то паломничество, когда ей только захочется; кассеты до сих пор лежат где-то на полке, их потом никогда не ставили. Мама моя, ты истинная дочь этой земли и этого народа, ты Мать-полька!

Следующее паломничество, которое я помню, было гораздо позже. Папа-поляк был тогда в Сопоте, а я — в ста километрах оттуда: сдав выпускные экзамены, отправился на природу. Мотался по лесам, перебегал железнодорожные пути прямо перед локомотивом, плавал под парусом по озеру величиной с лоханку; ел немного, покуривал травку и задаром получал то, что выходило за пределы созерцания грудей одноклассниц, загорающих на мостках под белым июньским солнцем, горячее которого не бывает. В ста километрах — достаточно близко, чтобы место, в котором мы расположились, попало в границы района, где мэры, войты или воеводы по долгу службы ввели суровый сухой закон, почему-то не веря, что во время визита Папы-поляка народ способен сознательно вести трезвый образ жизни. В сельском магазине роились мухи, чьими трупами были облеплены свисающие с потолка клейкие ленты, а продавщица слушала по радио передачу с ипподрома и — в ответ на пароль "попрошу десяток папских огурчиков" — укладывала в бумажную сумку банки пива, тем самым воздавая кесарям кесарево. Всего сто километров — однако же далеко, так далеко, что дальше некуда.

(А конфирмация, это таинство, знаменующее достижение сознательного возраста, — почему я так смутно его помню? Майский или июньский день, во всяком случае тепло; мы собрались перед костелом; кажется, курим — тайком, прячась в укромном месте, поскольку в любую минуту могут прийти родители. Но курили не все, были среди нас и такие, что ездили в "оазисы"[1], посещали религиозные кружки и на молодежных мессах в десять тридцать утра дискантом распевали церковные гимны под аккомпанемент акустических гитар, — эти держались особняком, по-взрослому, и посматривали на нас свысока. "Вот ведь лицемеры, глядеть тошно", — сказал я Мачеку, а он только махнул рукой и свистнул проходившей мимо Красуле Магде, которая захихикала, шлепнула себя по заднице и подмигнула. Помню, как мы готовились (вот это я хорошо помню), как сидели в подвале, в мастерской, заставленной столярными верстаками, — там про-

1. "Оазис" — движение, созданное в основном для организации летних детских и молодежных лагерей с целью повышения религиозного сознания.

водились уроки труда, — а среди нас метался ксендз Пшемыслав, молодой, с реденькой еще бородкой, в потертой сутане... уж не тогда ли Лёлек пил из горла водку, которую утащил из дома? И не тогда ли Мелкий сказал: "Эй, послушайте, а что, если понюхать фломастер?" И не тогда ли мы нюхали черный маркер, пока Мариуш, вдруг побледнев, не вскочил и убежал? А Пшем кидался то к одному, то к другому, дергал нас за волосы и грозил, что не допустит к конфирмации, — и разве не тогда он сказал "хер с вами", и ушел, просто ушел, а Марек с задней лавки пробормотал достаточно громко: "Эй, притормозите, не то наш пастырь не выполнит план — нам же выйдет боком". И не тогда ли, когда ксендз Пшемыслав, остановившись на пороге, молча смотрел на Марека, — не тогда ли я подумал, что есть, значит, какой-то план, есть какие-то обязательные нормы: столько-то и столько-то должны пройти конфирмацию, иначе курия задаст жару приходскому ксендзу, а тот — катехетам[1]? И не тогда ли я запустил руку девчонке под блузку, а Пшем подошел и с размаху стукнул меня по макушке кулаком — у меня аж в глазах потемнело? И не тогда ли я вперился в него диким взглядом — возможно, как знать, готовый вскочить и броситься на него, что, возможно, как знать, послужит остальным сигналом к атаке? И не тогда ли я увидел страх в его глазах: он вдруг понял, что ударил меня, ударил своего ученика, ударил человека, и это конец, крах, ведь он, священник, минуту назад, дав волю нервам, ударил, кулаком ударил человека, при всех ударил? И не его ли голос я услышал несколько дней спустя, проходя по коридору мимо приоткрытой двери учительской, не его ли голос, какой-то придушенный и слабый, произнес: "Я не справляюсь, просто не справляюсь, их слишком много. Вы меня понимаете? Их просто слишком много, слишком много, слишком много".)

Пустое было воскресенье, бездельное; а потом, когда я уже сто раз обошел все коридоры, и вышел из дома, и поехал в город, и бродил по Плянтам, то присаживаясь на скамейку, то застревая перед витриной магазина или возле киосков с сувенирами, и, кажется, на Сенной, а может, на Шевской наткнулся на кинотеатр, я подумал: неплохо бы посмотреть какой-нибудь фильм, чтобы убить время до вечера, но, когда уже протянул руку, собираясь открыть дверь, заметил уныло висящую на створке записку: "В связи с ситуацией все сеансы отменяются впредь до отмены". Да, все здесь отменялось впредь до отмены: кинотеатры, театры, магазины, музеи, улицы, тротуары, местные жите-

1. Лицо, излагающее учение христианской веры в вопросах и ответах.

ли; только зарубежных туристов не успели отменить, и японцы молча и сосредоточенно фотографировали каждый костел, каждый дом и каждого голубя, а развеселые немецкие пенсионеры оккупировали веранды кафе, сооружая баррикады из грязных тарелок и пустых пивных кружек. Весело им сегодня, веселятся, сукины дети, подумал я. Веселятся, сукины дети, опять подумал, словно давая себе лишний шанс прояснить собственную мысль; и прояснил: веселятся, сукины дети, — осторожно подумал в третий раз и понял, что никуда мне не убежать, что сегодня я тоже отменен впредь до отмены.

Проходя мимо ресторана "Крестьянская трапеза" (наш ответ "Макдоналдсу"), где на витрине красовался большой каравай и круг аппетитной деревенской колбасы, я заметил там какое-то шевеление, и пригляделся, заинтересовавшись, и остановился, и еще раз посмотрел, и закрыл глаза, и снова открыл, и снова закрыл, и опять открыл, но картина не изменилась: официантка, раздвинув хлеб и колбасу, осторожно вставляла между ними портрет Папы, перевязанный траурной лентой. "Запомните: нет у Святого Отца надежды", — сообщил я проходящей мимо девушке, но она меня не поняла.

Немцы нагрянули на рассвете. Как всегда. Меня разбудил телефон. Звонил Клубень: "Вставай, вставай, через час все встречаемся в 'Ракушке', интеграция, сам понимаешь". Спустя час я пил кофе и участвовал в вялой беседе, и не сумел сдержать улыбку, когда Коля — высокий голубоглазый блондин — заявил, что не понимает, каким образом каждый поляк с первого взгляда распознает в нем немца. Не считая этого — тишь да крышь, общие слова, вежливые улыбки; скучища, несмотря на усилия Клубня любой ценой оживить диалог. В какой-то момент я полностью отключился, и из летаргии меня вырвало только "...and all the situation, you know, here, in Krakow, after Pope's death"[1] — и дальше: теперь возникнут кое-какие трудности, отмена мероприятий, возможно, сухой закон. Немцы деликатно помалкивали, им особо нечего было сказать. "Yes, yes, I know, Pope has gone, I have read that in the newspaper in Berlin"[2], — Коля произнес это таким тоном, будто говорил о присуждении Оскаров или чемпионате высшей лиги. Но тут тебе не Берлин, Коля, подумал я, сам убедишься.

1. "...и вся эта ситуация, понимаете, здесь, в Кракове, после смерти Папы" (*англ.*).
2. "Да, да, знаю, Папа умер, я читал в газете в Берлине" (*англ.*).

Днем я поехал в Новую Гуту[1] за ноутбуком, который присмотрел накануне на распродаже в Интернете. Как только выехали из центра, я потерял ориентацию: автобус петлял, сто раз куда-то сворачивал, пока, наконец, не прикатил в большой жилой район, где все проходы, проемы и щели были забиты деревянными киосками; как мох, прорастающий между бетонными плитами, норовя их раздвинуть, мелкий бизнес оккупировал спальный район: едва закончилось время бронзовых героев, сжимающих молоты в крепких руках, — тех самых руках, которыми они на комбинате вырабатывали триста процентов нормы, — и настали новые времена, туда слетелся рой мелких торговцев, продавцов овощей и гамбургеров. Я приехал слишком рано и минут пятнадцать простоял около киоска, с витрины которого на меня смотрел Папа, а из-за его спины выглядывала еще сотня Пап — за один уик-энд типографии выполнили новую норму на триста процентов и уже выпустили специальный комплект воспоминаний: *коротко о понтификате, еще раз переживем паломничества Папы в Польшу, самые волнующие моменты, это незабываемо*; а потом я углубился в проход между домами в поисках указанного в Интернете адреса. По улочке прохаживался полицейский патруль, на скамейке сидели трое пацанов в спортивных костюмах, периодически сплевывая на тротуар, а вдалеке какой-то тип гнался за девушкой, убегавшей от него с криком "Спасите!" — вероятно, в шутку, хотя, когда через четверть часа я возвращался с компьютером в рюкзаке, какая-то девушка, возможно, та самая, а может, другая, стояла возле гаражей, держась за щеку, и из разбитой губы у нее тоненькой струйкой сочилась кровь. Но, возможно, ничего такого и не было, возможно, мне просто почудилось — я ведь только краем глазом ее увидел; возможно, все было не так, потому что так быть не могло.

Автобус, на котором я ехал обратно, был набит под завязку, но на следующей остановке в него втиснулось еще десятка полтора болельщиков "Краковии"; и тут же: "Эй, Седой, бля, подвинься, щас получишь" — и: "Ты чё, не видишь — места нет, куда я тебе, на хер, подвинусь?" И в смех. Потому что предложено подвинуться на хер. Я держался за поручень, оберегая одновременно мягкий рюкзак, в котором лежал ноутбук, и кошелек в заднем кармане, но в этой толчее полезть за кошельком означало коснуться стоящей рядом девушки и зацепить карман како-

1. Новая Гута — "социалистический" город на окраине Кракова (теперь район Кракова), строившийся одновременно с начатым в 1949 г. строительством металлургического комбината (с 1954 по 1990 гг. комбинат им. Ленина).

го-то мужика — и, конечно, тут же подозрительные злобные взгляды: не хочу ли я, часом, вроде бы доставая свой кошелек, стибрить чужой? "Франек, долбоеб, уступи женщине место!" — крикнул один из болельщиков, и снова смех, потому что: "Франек, Франек, для бабы пряник, прямо на асфальте влепит ей пенальти". "Франек-долбоеб", — повторил один, маленький такой, щербатый, лет двенадцать от силы, и немедленно получил щелбан по башке от старшего товарища: "Кончай выражаться, сопляк, чего ты там понимаешь, сначала сам попробуй". Весело было, по-свойски, почти по-семейному, а я только недоумевал, почему матч в понедельник, с каких это пор стали играть по понедельникам, всегда ведь в субботу или воскресенье; верно, перенесли, подумал, из-за Папы.

А едва я подключил ноутбук, запустил форматирование диска и перерыл коробку в поисках инсталляционных дисков, едва наметил, как делить диск, позвонил Клубень — чтоб я шел в клуб "Лубу-дубу", будут показывать веселый венгерский фильм, после которого можно будет весело поддать. Я подумал, что веселья-то мне и не хватает, бросил все, как лежало, и пошел на остановку. Смеркалось; на остановке стояло человек двадцать, если не больше, какой-то мужик покачивался у стены, поддерживаемый двумя дружками; "Янек, — говорил один, — держись, Янек", — а девушка в бежевой куртке сообщала подруге, что автобуса не видно. "Надо же, смотрю-смотрю, а его все нет", — говорила она; возможно, он и вправду не приходил, оттого что все его высматривали. Ни одного из двух автобусов, что тут останавливались, не было, зато напротив, с натужным ревом поднявшись вверх по улице, к остановке регулярно подкатывали автобусы тех же маршрутов и через минуту исчезали за поворотом. И ни один не возвращался, как будто где-то там, за углом, притаилось загадочное Нечто и — хап! — в мгновение ока заглатывало с концами все что ни попадя, а охотнее всего — городской транспорт. "Опаздываю, — написал я Клубню, — сегодня ничего не ходит". Автобусов действительно не было, хотя Янек очухался и почапал с друзьями в магазин, а девушка в бежевой куртке замолчала. Народу все прибывало, и уже кто-то что-то знал, что-то слышал; "Авария около стадиона, движение перекрыли", — сказала одна женщина, а другая ей на это: "А мне говорили, полиция закрыла стадион". Но вот, наконец, появился автобус, и кто смог, втиснулся, и вот мы уже едем вниз по улице, уже водитель кричит: "Конечная!" — и вот я уже снаружи, уже стою в толпе болельщиков "Краковии", и уже в голову мне лезет: "Лех, Краковия, Арка, любовь, вера, борьба", — а еще, что болельщика "Арки", надо надеяться, в этой давке не убьют.

И не убили. Стояли молча, неподвижно, лица застывшие, руки за спиной, взгляды куда-то устремлены, ну и я обернулся, медленно, осторожно, еще не понимая, чего ждать, — и увидел огоньки, сотни, тысячи, десятки тысяч огоньков, увидел людей, безмолвно идущих плечо к плечу с зажженными свечами, а над головами у них поднимался к небу дым; увидел огромную реку, текущую по улице Пилсудского и разливающуюся по Блоням[1], реку могучую, реку широкую, реку безмолвную. И я стоял на берегу этой реки, как стоят обычно на берегах рек, стоял несколько долгих минут, стоял в тишине, в сосредоточенной тишине, — а потом закрыл глаза и вошел в эту реку, вошел не спеша, вошел, чтобы омыться в ней и выйти чистым. И тогда я услышал голос, тихий и приятный, и подумал, да, я слышу голос, и прислушался — а голос говорил: "Эй, Элька, сегодня бухаем у Мачека, в сто четырнадцатой, приходите с Рафалом" — и я очнулся на мелководье.

Я шел по Пилсудского, по Страшевского, по Плянтам, шел навстречу людям, против течения, но вроде как по течению, робко шел, незаметно, чтобы мое *против течения* не казалось вызывающим — напрасный труд: оно было вызывающим; и зря я старался быть незаметным, зря прятался в тени: вокруг горели сотни свечей, и постоянно вспыхивали новые, и мерцающий их свет извлекал меня из темноты, и всё новые лица поворачивались в мою сторону. И видя, сколько этих лиц, я ощутил угрозу... но, может, это игра воображения, мне только чудится, будто взор их суров? Что это: мираж, морок, дурной сон — или вправду на меня обращены осуждающие взгляды? И с какой стати мне кажется, что в торопливом ритме моих шагов звучит "этот с нами, этот против нас" — а в их неспешном марше слышится "кто один, тот наш злейший враг"? Разве только нечистая совесть заставляет меня нервно озираться; неужели это правда, неужели они расступаются передо мной, чтобы меня пропустить, а затем затянуть как можно глубже, затянуть туда, откуда уже не убежать?

До "Лубу-дубу" я добрался через час. Все уже сидели в кинозале — кроме Яся, который тоже опоздал. Мы взяли пива, курили, иногда переговаривались: мол, цены высокие, мол, пиво отменное, а сигареты хорошо пахнут, — но чего-то важного нам недоставало, и в конце концов я сказал, что был там, и шел навстречу людям, и видел их взгляды, а Клубень сказал, что так уж оно здесь, в Кракове, всегда. И еще добавил: "Я был

1. Блоне — луг площадью около 48 га вблизи исторического центра Кракова.

тут, в 'Лубу-дубу', когда он умер. На дискотеке. Зажигали по полной, и вдруг музыка обрывается, и диджей объявляет, что Папа умер. И что сейчас будет перерыв десять минут. Мы не знали, что делать, вышли на улицу, и никто не знал, что делать, и все выходили; и мы пошли к костелу. Постояли немного. Вот так-то. И слов никаких не находилось".

Сеанс закончился; теперь уже не надо было искать слова: здесь, там, тот, этот... Мы с Андреа, Клубнем и Ясем посидели часа полтора, встали и вышли, и распрощались, а потом я сел в такси и сказал, куда ехать. "Да, да, — сказал таксист, разворачивая свой старенький "полонез", — ну и о чем, по-вашему, это свидетельствует?" Я растерялся: про что это он, может, я адрес неправильно назвал или еще чего? Или: все скорбят, а я вроде малость поддатый... Но у меня уже был опыт, и на всякий случай я промолчал. И правильно сделал — он вовсе не ждал ответа, просто ему надо было с чего-то начать. "О чем это свидетельствует, по-вашему? Что же в этой стране творится, а? Не сейчас, а вообще. Представляете, что теперь будет, когда не стало этого святого человека? Охо-хо. Кто же у нас останется? — только один этот, еврей, — сказал, будто плюнул с отвращением. — И один масон. Продажные твари, вот они кто. Вот кто нами правит. До сих пор боялись, а сейчас, скажу я вам, начнется. Все из-за этого Круглого стола[1] — один еврей и масон, вот что я вам скажу, еврей, масон и гебист. А усатый этот, думаете, он кто? Агент госбезопасности, вот кто! С давних пор. Его в восьмидесятом на верфь на моторке привезли". Тут я не выдержал — это же он о Гданьске, о гданьской судоверфи: "в Гданьске все началось", "с верфи директора на двери вынесли" и так далее[2]. "Вы там были? Вы это видели?" — Он даже притормозил и посмотрел на меня так, что я подумал: сейчас возьмет и вышвырнет на полпути. "Да какая разница: видел, не видел?! Незачем мне было видеть. Без меня были такие, что видели. Надо уметь читать газеты. Правильное радио слушать надо. Там про все пишут и говорят. Только оттуда и можно узнать, как было взаправду. Поверьте мне, я плохого не посоветую: слушайте правильные СМИ, пока не поздно!"

1. С 6.02 по 5.04.1989 г. в Варшаве проходили заседания Круглого стола, в ходе работы которого были подписаны соглашения между правительством и профсоюзом "Солидарность" и назначены первые свободные демократические выборы в высший законодательный орган государства.
2. Движение "Солидарность" зародилось в Гданьске, где в 1980 г. был создан Независимый самоуправляемый профсоюз "Солидарность", который возглавил электрик с судоверфи Лех Валенса (впоследствии президент Польши).

Во вторник мне удалось запустить ноутбук и подключиться к Интернету. Этого нельзя было делать, ни в коем случае, — я для того сюда и приехал, чтобы отключиться от Интернета, чтобы разлогиниться, отсоединиться, уйти в офлайн и оторваться от блогов, твиттеров, мейлов, форумов и вообще всего того, что затягивает, отвлекает, высасывает, разрушает. Нельзя было этого делать; я должен был сразу по приезде вырвать кабель, купить ноутбук без сетевого порта, за километр обходить интернет-кафе; я должен был выбрать красную таблетку[1]. Но я сконфигурировал сеть, установил браузер и заглянул, сначала сюда, потом туда и... у меня потемнело в глазах — это первое, что пришло в голову, а потом я подумал, что, наверно, монитор поврежден или что я заплатил за цветной, а мне подсунули черно-белый. На экране одна чернота. Черные порталы с черными ленточками на видном месте, черные блоги, черные форумы... вход в личный кабинет тоже черный, сайты банков недоступны, теперь не узнаешь, сколько на твоем счету польских злотых (вероятно, черных). Везде траур, везде книги соболезнований: можно черными буквами на почти черном фоне вписать две фразы от себя; черные заголовки ньюсов сообщают о скорби, воцарившейся во всем мире, о подготовке к похоронам, о реакции и откликах, о Фиделе Кастро, который после смерти Папы, поглаживая черную бороду, пошел в церковь, второй раз в жизни, и публично заявил, что разделяет всеобщую скорбь, что Папа всегда поддерживал Кубу, а Америку критиковал, о чем надо помнить.

Все было черным-черно; в черных порталах — черные чаты: чат для сорокалетних, общий, краковский, вроцлавский; кое-где на этих чатах еще теплилась жизнь: кто-то валял дурака, кто-то спрашивал, где найти хороший обувной магазин, и ему в ответ, хоть и вяло, но все же выскакивали адреса в черных рамках: "Крулевская, 12 — очень приятная обслуга, Яворова, 8 — большой выбор: все размеры, обязательно что-нибудь себе подберешь". Краковский чат был черный, и вроцлавский, и лодзинский, и эротический тоже был черный — и на черном эротическом чате Збышек27 черным голосом спрашивал, найдется ли какая-нибудь девственница, которая даст полизать ступни. И не только ступни. "Предпочтительно брюнетка. Спонсорство не исключено, я в полном порядке, бизнесмен. Конфиденциальность и гигиена — вот мои принципы. Напиши мне, крошка, не пожалеешь".

1. Отсылка к фильму "Матрица" братьев Вачовски (1990).

Все было черное. Я просматривал черные блоги и надивиться не мог: тут отточие, там лампада, где-то еще — пять пустых строчек, где-то черный прямоугольник вместо фотографии. И куда же подевались, спрашивал я себя, всегдашние посты, где фото, на которых юные блогерши кокетливо выпячивают губки, где реклама дорогих духов, CD-плееров, таблеток анти и пищевых добавок? Куда подевалась эта пестрая ярмарка позолоченной дешевки и фетишей консьюмеризма, эти скрупулезно собираемые доказательства того, что жизнь удалась, что всё тип-топ? Исчезло. Везде черные прямоугольники. Сейчас лучший блогер — тот (или та), у кого прямоугольник больше и чернее, по кому лучше видно, что сегодня он (она) плачет. "Сегодня я плачу, — сообщила та самая девица, которая 27 марта писала: — Мы трахались в сортире как звери, как крейзанутые, я громко стонала, и мне плевать было, что кто-то может услышать; в такси ехала еще мокрая от его спермы. Через час он должен был встретиться с женой; интересно, почувствовала ли она *меня* на нем, почуяла ли запах истинного наслаждения?" Так она наслаждалась в марте, а сегодня плачет, плачет сегодня наша MariaMagdalena собака blog точка pl; а вот еще одна, у которой, похоже, в аптеке абонемент на средства для прерывания беременности на ранних сроках, по крайней мере, с тех пор как... "Не будем об этом", — сказала она мне когда-то, театрально потупившись; а сейчас оставила в блоге пустое место. Пять пустых строчек. Дескать, ей не хватает слов, чтобы выразить, что она чувствует и что думает. В это, кстати, я могу поверить.

Все было черное — и в черном Интернете кто-то написал в черной газете, что в Польше даже птицы оплакивают смерть Папы, а в черном блоге хип-хоповая группа разместила заявление: "Мы как представители культуры которые очень любили любят и будут любить величайшего человека то есть Папу почтим память его мы очень переживаем и никак не придем в себя после его смерти и потому до пятницы не будем записываться будем только молиться это величайший человек в истории который отдал себя Иисусу и провозглашал заповеди провозглашал истину и много сделал никто в истории человечества не сделал больше и если кто-то захочет посредством музыки приблизиться к нашему Святому Отцу рекомендуем любимую песню Кароля Войтылы под названием 'Лодка'[1] и нет таких слов чтобы охарактеризовать этого необыкновенного человека просто он был есть и будет этот величайший образец человека какой ко-

1. Испанская религиозная песня (польский перевод ксендза С. Шмидта).

гда-либо существовал и прекрасно что он отдался в руки Господа Бога мы пишем эти слова со слезами на глазах воспоем же Господу". Вот так оплакивала Святого Отца хип-хоповая группа, но были и такие, что плакали еще горше и в скорби своей перешли всякие границы — вероятно, один из них и отметился в книге соболезнований, начертав самыми крупными и самыми черными буквами твердо и решительно: В ТАКИЕ МИНУТЫ, КАК ЭТА, Я ДУМАЮ, ЧТО БОГА ВООБЩЕ НЕТ.

Из черного Интернета я переместился в светлую кухню, где продолжалась интеграция: приехали украинцы, кто-то заглянул на огонек, кто-то привел гостей, и теперь вся Центральная Европа сидела за столом, спеша управиться до введения сухого закона, о чем уже было объявлено. "I can't understand it, — сказала Ариана, — in Germany, when we want to show our sorrow, we often listen to classical music and I were in Cracow today, because I wanted to visit one classical concert, but it was cancelled. I just can't understand"[1]. Я закурил, пытаясь вспомнить, умею ли я говорить по-английски, и, ломая голову, как лучше ответить, чтобы не обидеть девушку, в конце концов выдавил, что, как-никак, траур, что, тем не менее, под Баха, конечно, не танцуют, однако в такой момент уместны сосредоточенность и раздумья. И заткнулся, потому что перед глазами у меня всплыла черная сеть, и я подумал, что, пожалуй, лучше бы уж они слушали этого Баха. Непохоже было, что Ариана understood[2] мои объяснения, но тут вмешался Клубень и сослался на местную специфику, что вроде бы ее убедило. Я обратился к Галине: "Послушай, как тебе кажется: то, что сейчас у нас, не напоминает немного того, что было у вас во время оранжевой революции? Ну, понимаешь, единство, чувство локтя, есть, конечно, различия, но, так сказать, общность чувств? Немцам, ясное дело, этого не понять, но мы-то, славяне, понимаем, что́ это: в едином порыве подняться и стоять стеной, и все мы братья, и чужой человек тоже брат, когда дело правое?" Но она только, прищурив глаза, поморщилась: "Ну что тебе сказать, Петр? Не знаю. У нас было иначе. Мы все там стояли, и я стояла, но мы боролись — за что-то боролись. У нас была цель, мы хотели чего-то добиться. А у вас как-то... по-другому. Колоссальный подъем, но цели нет". Так говорила Галина, но я к тому времени уже махнул пару рюмок, винцо, водочка, отчего во мне зашевелилась нехорошая злость и пышным цветом расцвел патриотизм: ну да, ко-

1. "Не могу понять... мы в Германии, когда хотим выразить свое горе, часто слушаем классическую музыку, а сегодня в Кракове я хотела пойти на концерт, но его отменили. Просто не могу понять" (*англ.*).
2. Поняла (*англ.*).

нечно, одни не понимают, другие не видят цели, целей им не хватает... читал я "Следы рысьих когтей"[1], знаю, какие у них были цели; и немцы в тридцать девятом тоже не понимали, почему поляки не хотят отдавать Гданьск[2], и тоже тогда слушали классическую музыку. И вдруг я встал и подошел к Мехмеду, парню Галины, он к ней в гости пришел, сам, кажется, из Алжира, но в Польше уже десять, то ли одиннадцать лет, учеба, работа, жизнь... я подошел к нему и сказал: "Мехмед, мне страшно интересно, вот ты родился и воспитан в совершенно другой культуре, но провел здесь добрых десять или одиннадцать лет, так что и Польшу уже знаешь; что ты об этом думаешь — о всеобщей скорби, обо всех этих страстях, маршах, свечах, бесконечном повторении одних и тех же лозунгов, о бурных аплодисментах после каждого слова Папы, хотя при всем при том — аборты, коли уж припечет; а возьми хотя бы специальные издания с кучей цветных фото и перечнем энциклик мелким шрифтом на последней странице? Что ты об этом думаешь?" Он быстро на меня глянул, вроде бы растерявшись или даже испуганно, и отчеканил: "Польша — прекрасная страна, поляки очень славные, а Папа был великий человек".

А вот как я, после еще нескольких рюмок, доказывал Клубню, что я польский патриот: "Пойми, я польский патриот, то есть просыпаюсь утром, смотрю в окно, и меня с души воротит, весь день с души воротит, когда я гляжу на эту грязь на улицах, спальные районы, пьяные рожи одних и хитрые зенки других; иногда мне безумно хочется все это спалить, а землю вспахать и посыпать известью, негашеной, и только потом начать строить заново; но, если кто-нибудь поднимет на мою родину руку, я без раздумий схвачусь за оружие, а не будет оружия, с голыми руками брошусь на врага и вцеплюсь ему в глотку..." Тут в разговор вмешалась какая-то девушка, кажется, немка, то ли художница, то ли пианистка, из другой стипендиальной программы, а может, просто в гости пришла. "Well, I cannot understand one thing, — сказала она высоким неприятным голосом, — tomorrow or maybe on Friday there will be a big march for Pope, yes? So isn't

1. Повесть для молодежи (1965) Ванды Жулкевской с сильной антиукраинской направленностью. Действие происходит после войны в Бещадах (район Юго-Западной Польши, в сентябре 1939 г. разделенный между Германией и СССР, с июня 1941 г. полностью оккупированный немцами), где польские власти вели бои с Украинской повстанческой армией; в 1947 г. бóльшая часть непольского населения была оттуда выселена, в основном на возвращенные западные земли.
2. После Первой мировой войны Гданьск (Данциг) по Версальскому мирному договору (1919) получил статус вольного города под управлением Лиги наций; в 1939 г. Германия потребовала от Польши возвратить город.

it a great opportunity to demonstrate something? For example: to demonstrate our acceptance for abortion. I think it's a great idea to make some banners and stand there, all this people will just have to read it and to think about the sense of it"[1], — мы с Клубнем только рты разинули и переглянулись, не в состоянии ничего ответить. "Послушай, что я тебе скажу, — наконец пробормотал я по-польски, — мне всегда было интересно, почему о праве на аборты громче всех вопят бабы, у которых, судя по их наружности, таких проблем вообще не должно возникать?"

(Три года назад мы с Анджеем и Войцехом поехали на фестиваль "Вудсток" — было еще несколько человек, но мы трое держались немного особняком. Поезд уже в Гдыне был набит до отказа, так что мы волей-неволей (хотя, разумеется, скорее "волей") целую ночь старательно отключались и на поле еле доплелись, палатку ставили, падая с ног от усталости, ребята сразу заснули, а я нет, как ни пытался. Потом они проснулись, а я заснул, а потом все пошли пить пиво и пили до вечера, так и день прошел. На следующее утро подсчитали финансы, и выяснилось, что у нас осталось всего на пару банок пива, а впереди целый день и целая ночь, да еще обратная дорога; короче, куда-то мы потащились — грязные, жарища, — потому что кто-то сказал, что в городе можно купить из-под прилавка вино, а если подсуетиться, то и водку; хотя сухой закон и крепкие напитки запрещены, но свободный рынок и польская оборотистость еще никуда не девались. Шли сперва по асфальтовому шоссе, потом садами, перелезали какие-то ограды, где-то пробирались через развалины, пока наконец не добрались до города, по которому слонялись и где на тротуарах спали десятки таких, как мы. Вина никакого не было, вообще, кроме пива, ничего не было; к счастью, пиво было повышенной крепости, что ни говори, а если эти несколько лишних процентов пересчитать на промилле, в крови получается чистая прибыль. Мы купили на сколько хватило, побродили немного туда-сюда, с кем-то попели, с кем-то поболтали — и в конце концов в каком-то переулочке уселись на краю тротуара. А рядом сидели две девчонки — молоденькие, из себя очень даже ничего, одна ближе к готам, другая, скорее, из детей-цветов, ну и я подмигнул Войцеху, а может, Анджей подмигнул мне, а может, мы все перемигнулись, во всяком случае, один из

1. "Я одного не могу понять... завтра, то ли в пятницу, будет грандиозный марш в память о Папе, да? Так разве это не прекрасная возможность что-то продемонстрировать? Например, что мы за разрешение абортов. По-моему, это прекрасная идея: изготовить несколько плакатов и стоять с ними, чтобы люди их прочитали и задумались о смысле всего этого" (*англ.*).

нас бросил: "Привет, девочки", — а они сразу: "Привет, привет, вы откуда?"; ну, мы им, что мы из Гдыни, а они, оказывается, из Валбжиха. Мы: что-то стало холодать, не пора ли нам поддать, а они, мол, нет, спасибо, а вот посидеть-поговорить, это пожалуйста; мы без слов поняли друг друга: поскольку их только две, каждый пытает счастья самостоятельно, но, если кому-нибудь повезет и обстоятельства будут благоприятствовать, в смысле, барышня изъявит желание, тогда извини-подвинься, подсоби товарищу, уступи место, пусть попользуется; а тут выясняется, что девушки ждут приятелей. Вот-те на: если б хоть сказали "приятеля", тогда по крайней мере одна осталась бы свободной, так нет же, приятелей, минимум двоих, то есть на двоих больше, чем надо. Но у нас отлегло — ясно стало: незачем напрягаться, можно просто поговорить; ну мы и болтаем о том о сем, анекдоты так и сыплются, а потом пришли эти их приятели, Адам и Пшемек; познакомились, угощаем друг друга сигаретами, любовь, дружба, музыка — и тут из-за угла выходит ксендз, точнее, семинарист, ненамного старше нас, если не ровесник, в тяжелой сутане, взмокший, запыхавшийся; уж не помню кто, Войцех, кажется, бросил: "Не жарковато ли в этих рясах?" — кто-то пропел: "Радуемся, Боже, Тебе, аллилуйя", — а он спросил: "Можно?" — присел рядом с нами и: "Привет, меня Мачек зовут"; ну и мы представились: "Аня, Оля, Адам, Пшемек, Анджей, Войцех, Петр, привет, привет, очень приятно, ну и жарища сегодня, а что вообще слышно" и так далее. Потом на минуту настало молчание; похоже, он собирался сказать: "а может, помолимся", или что-то в этом роде, но Адам его опередил: "Вчера один из ваших благословил меня — знаешь как? — 'уебывай отсюда'"; атмосфера сразу сгустилась. "А почему?" — спросил семинарист, видимо, почуяв, что впереди долгая дискуссия. "А потому, что я гей", — сказал Адам. И еще: что он не понимает, почему одна любовь хороша, а другая — плоха, что старается найти собственный путь к Богу и в Валбжихе у него есть исповедник; и пошло-поехало... Анджей спросил, есть ли такая заповедь "не поимей ближнего своего", а Войцех: правда ли, что святой Петр, прежде чем впустить в рай, проверяет, цел ли сфинктер. Девчонки полезли в бутылку, мол, любовь это всегда любовь, любовь прекрасна, и, если два человека друг друга любят, неважно, разного они пола или нет. Семинарист Мачек еще больше взопрел, и я, отхлебнув пива, подумал, что он сдает по-настоящему трудный экзамен, проходит проверку на вшивость для семинаристов, и что я ему не завидую, ой, не завидую; и тут он завелся, стал говорить о тяжких испытаниях, посылаемых Богом, и о том, что наклонности бывают разные — хорошие надо развивать, а иные не надо, и что, если, к примеру, че-

ловек рождается убийцей, это значит, что ему назначено тяжкое испытание и от него самого зависит, справится он или не справится. А они все: как можно такие вещи сравнивать! — кто-то вскочил, кто-то пододвинулся поближе, и вдруг между нами выросла невидимая баррикада, и оказалось, что по одну ее сторону католичка Аня, католичка Оля, католик Адам, католик Пшемек, католик Анджей и католик Войцех, а по другую — семинарист Мачек и Петр неверующий, который допил свое пиво и сказал: "Послушайте, он прав, поймите: он не может иначе. Третья Книга Моисеева, послание святого апостола Павла; запрещены любые сношения, не приводящие к деторождению; коли уж вы — католики, извольте это соблюдать, и спорить тут не о чем". Но кто-то меня перебил, и они все наперебой: необходимы реформы, целибат — абсурд, нужно дать равные права геям, разрешить рукополагать женщин в священники, настало время перемен. Три часа мы просидели на солнце, на раскаленном тротуаре, прихлебывая теплое пиво, — семинарист не пил, и горло у него пересохло, под конец он уже хрипел, то и дело нервно заглатывая воздух. Расстались мы вроде бы в согласии, в любви и дружбе, но без барабанной дроби и обмена адресами; а когда возвращались на поле, стало парно и душно, но скорее не вокруг, а между нами, потому что никто никого, похоже, не убедил, и они все вдруг вспомнили, что, если верят в рай, должны верить и в ад, и неизвестно, докуда им отсюда ближе.)

Утром я вернулся в сеть. "Болельщики ради Папы заключили перемирие" — прочитал и вздрогнул, сообразив, куда ехали те ребята из Новой Гуты и почему тогда, в понедельник, так мирно стояли, почему среди бело-красных шарфов мелькали сине-красные — и ничего не происходило, никто никого не прессовал, не вытаскивал финок и никто ни от кого не удирал очертя голову, не спасался в переулках и подворотнях. А вздрогнул я, потому что осознал, что стал свидетелем чуда, а потом перед глазами у меня нарисовались Чинарик, Рыжий и Вепрь, Чума и Сизарь, Лысый, Калаш и Сухой, и я представил себе, как они заключают перемирие с фанатами "Лехии", "Шлёнска" и "Вислы", как отказываются от базара и стрелок на сопотском мотокроссе: на этой картинке они все стояли, искоса друг на друга посматривая, будто гадая, как быть дальше, чем теперь заняться в жизни, какую себе поставить цель, какой путь выбрать. Такие вот чудеса... еще я заглянул на форумы, где о Папе писали "да упокоится с миром", — однако кто-то уже успел добавить "всех нас объединяет скорбь, но это не может продолжаться вечно", — а кто-то другой "бесят меня эти журналистские акции — настоящий фанат борется за свой

клуб и готов погибнуть"; а какой-то болельщик не сумел сдержать радости: "'Висла' и 'Кракса' наконец-то объединились ради Папы, вместе мы дадим шороху всей Польше. Да здравствует Краков!"

По дороге в город я заметил в идущей вверх по улице толпе Колю — да и трудно было его не заметить: высокий, светловолосый, с фотоаппаратом в руке. "I saw a lot of people in this big area near the stadium, — сказал он, — a lot of. There is a ceremony, some demonstration or something". И замолчал, словно ожидая, пока я ему разъясню, что́ он видел. "Yes, yes, — сказал я, — there was a mass, a service, I don't know the word in English. Die Messe. Or something", — добавил, будто извиняясь за то, что я, хоть и местный, во всяком случае, по сравнению с ним, а не знаю, что происходило на Блонях. "And I saw a lot of cars with black ribbons on the radio antennas, — сказал он, — do you know what are these ribbons? Is it connected with bereavement?" Я огляделся: на всех проезжающих мимо автомобилях трепетали с шелестом черные ленты. "You know, — объяснил я, — it's old tradition in Poland. Years ago in the countryside people used to put black ribbons in horses' hair at the funerals"[1]. Коля кивнул. Вечером мы с ним встретились за столом в кухне — лицо у него было такое, словно он в себя не может прийти от удивления и вдобавок целый день проходил с камушком в ботинке. "Some beer? — спросил, указывая на непочатую бутылку. А когда я утвердительно кивнул и сел напротив, сказал, немного поколебавшись: — You know, Piotr, my grandfather was from Poland. It was a strange family history, some kind of secret. Nobody told me until my eighteenth birthday. So, I am Pole in some part... And what do you think — should this fact help me in understanding this situation?"[2]

(В тот вечер мы были на концерте, и Овсяк[3] кричал: "Любовь, дружба, музыка!" — а четырехсоттысячная толпа вторила: "Лю-

1. "Я видел много людей на большом лугу перед стадионом... очень много. Какое-то торжество, демонстрация или что-то в этом роде..." — "Да, да... это была месса, служба, не знаю, как сказать по-английски. Die Messe. Или что-то типа того..." — "И еще я видел много машин с черными лентами на антеннах... ты знаешь, что это за ленты? Это связано с утратой кого-то близкого?" — "Понимаешь, это старинная польская традиция. С давних пор в сельских местностях на похоронах лошадям вплетали в гривы черные ленты".
2. "Пива? ... Знаешь, Петр, мой дед родом из Польши. Это странная семейная история, тут какая-то тайна. Мне до восемнадцати лет ничего не рассказывали. Так что я отчасти поляк и... Как ты думаешь, это должно мне помочь разобраться в том, что происходит?"
3. Ежи Овсяк (р. 1953) — общественный деятель, журналист, один из основателей благотворительного фонда "Большой оркестр праздничной помощи", организатор рок-фестиваля "Остановка Вудсток".

бовь, дружба, музыка!"; Овсяк: "Рок-н-ролл!" — толпа: "Рок-н-ролл!"; Овсяк: "Вы — поколение Вудстока, вы измените эту страну!" — и толпа отвечала криками и овациями, и все чувствовали себя поколением Вудстока, которое изменит эту страну. Утром мы потопали на вокзал, поле пропахло мочой, от этого тяжелого сладковатого запаха мутило; кругом, куда ни глянь, горы мусора, среди которого там и сям спали пьяные: кто-то на траве, широко раскинув руки, кто-то свернувшись клубком в собственной блевотине, некоторые на дороге, лицом в землю, будто павшие в перестрелке бандиты. Рядом с одним из таких стояла на коленях женщина с давно не мытыми волосами и кричала: "А ну, перевернись, бля, не спи хайлом вниз, придурок!" — и это было бы даже забавно, если бы не жуткая вонь в воздухе, если б не толстый слой грязи на теле, в волосах, под ногтями и не три бессонные ночи. Где-то за Познанью мне наконец удалось сесть на пол, ноги правда торчали из вагона наружу; иногда я задремывал, но снилось мне только, что я сплю и во сне вытягиваю ноги, и их отрывает встречный поезд, так что я немедленно просыпался. А потом, чтобы не заснуть, я завел разговор с сидящей рядом девушкой. Она была то ли из Быдгощa, то ли из Иновроцлава; сказала: "Ну, клево было, скажи; в первый день я перебрала, полный улет, отрубилась, прикинь, но с утра пораньше мы рванули в город за водкой, а то с одного пива не наберешься, скажи нет, а водку не продают, вот ведь хрень, прикинь. Но все равно я от Вудстока тащусь, круто там, прикольно, пока не помру, каждый год буду ездить". А меня вдруг разобрал смех, она обиделась и спрашивает: может, я ей не верю, а я говорю: с чего это ей взбрело, нет, очень даже верю, а смеюсь, потому что она очень весело и смешно рассказывает, и вообще все прикольно, и она прикольная, и рассказывает здорово, просто талант у нее, и еще что-то наплел в этом роде, чтоб и дальше за приятной беседой коротать время у открытых дверей, а сам то и дело фыркал, вспоминая, как Овсяк стоял на эстраде и орал: "Вы — поколение Вудстока, вы измените эту страну!" — и как свято он сам в это верил, и мы все верили — пока его слушали.)

Ночью отозвалась сестра. "Старик, — написала, — ты даже не представляешь, как хорошо сделал, что уехал, мать, едва приходит с работы, включает в доме все телевизоры и каждые пятнадцать минут — в рев. Вчера принесла большой портрет Папы, сегодня накупила в киоске кучу макулатуры, меня уже обозвала безбожницей, потому что я не горюю и не хожу на марши молчания, а еще по всему дому, на столах, на подоконниках, расставила реликвии: тут Папа, там фигурка святого... Погоди минутку, она мне что-то кричит. — И дальше, чуть погодя: — Наконец

расслышала, внимание, цитирую: 'А эта гнида, Али Агджа, имеет наглость просить увольнительную на похороны Святого Отца!'; правда немного угомонилась, когда я сказала, что ведь Папа его простил, пусть и она простит. Ох, старик, ста-а-а-а-арик, радуйся, что тебя здесь нет. Мало того, еду сегодня в электричке, напротив две ханжи, лет под тридцать, без вопросов ясно — старые девы, одна читает Библию, вторая не пойми что, в названии что-то божественное, а книжки свои держат высоко, пусть все видят, что́ они читают; и, представляешь, на лицах грусть, на одежде черные ленточки, в глазах вселенская печаль, но меня чуть не убили взглядом, горе-христианки эти — я, видите ли, в красной куртке, а не в черном. Всё, ложусь спать, не то совсем распсихуюсь, а ты пей поменьше и питайся как следует, мясное хоть иногда себе сготовь. Целую". Я затушил сигарету и написал в ответ только "спокойной ночи, отключаюсь, over"; но то был еще не конец — минуту спустя зазвонил телефон. Я не сомневался, что это Клубень, и сходу брякнул "ну привет", — хорошо, не добавил чего-нибудь вроде "опять пьем?", потому что в трубке раздался голос матери — совсем забыл, что дал ей этот номер. "Что у тебя, сынок?" — спросила она; я сразу понял, что это только прелюдия к серьезному разговору. "Да ничего особенного, — говорю, — сижу дома. С тех пор как старец умер..." Что было крайне неосмотрительно, поскольку тотчас последовало: "Как ты можешь так о нем говорить?! — и это был не вопрос, а тяжкое обвинение. — Ни стыда у тебя, ни совести, и мозгов тоже нет. — Я сидел на полу, мерно качая головой, и ждал продолжения, впрочем, хорошо мне знакомого. — И чтоб ты знал: я никогда не забуду, как ты насмехался над его стихами; чтоб ты знал: ни ты, ни все эти алкаши никогда не напишете ничего, что хотя бы в подметки годилось..." — и так далее, и тому подобное. Когда-то на Рождество мне подарили его стихи, не помню даже, что именно, кажется, "Римский триптих". На первой странице начинал бежать горный ручей, и бежал, и бежал, и бежал — вероятно, по пересеченной местности, потому что ритм то и дело сбивался, а многоточий было больше, чем точек и запятых, вместе взятых. И бежал ручеек, бежал, а лирический герой брел к его истокам, и я считал, что чего-то не понимаю: не может быть, чтобы метафора так близко лежала, — и только после очередного "Где ты, исток?.." перестал надеяться, что это больше, чем просто сопоставление "источник — Исток". "Если бы место в церковной иерархии определялось стихами, то примасом был бы Твардовский[1], а Кароль Войтыла — в лучшем случае приход-

1. Ян Якуб Твардовский (1915–2006) — католический священник, поэт.

ским ксендзом", — неосторожно высказался я за столом и тогда впервые услышал, что́ чему в подметки не годится и про всех этих алкашей, так называемых поэтах. Когда же я снова услышал эту фразу? — кажется, когда зашел разговор о том, что какой-то профессор предложил выдвинуть кандидатуру Иоанна Павла Второго на Нобелевскую премию по литературе, сославшись на то, что, по мнению Милоша, это великая поэзия. Я тогда, уткнувшись в тарелку, пробормотал, что Милош выразился немного иначе: читатель "Триптиха", сказал он, сосредотачивается на содержании и не обращает внимания на форму, — что было исключительно элегантным способом дать единственно безопасный ответ на неудобный вопрос. Ну а потом эта фраза повторялась еще несколько раз.

(После занятий мы с Кацпером и Бартошем частенько ходили пить пиво. После второй или третьей кружки, когда хоть на минуту воцарялось молчание, Кацпер, погруженный в пьяноватую задумчивость, глядя куда-то в пространство из-под своей шерстяной шапки, которую он, по-моему, не снимал даже летом, изрекал: "Я, например, стараюсь быть хорошим человеком, и, кажется, мне это удается, конечно, я не уверен, но внутреннее чувство мне подсказывает, что все-таки я хороший человек". Мы с Бартошем обменивались многозначительными взглядами, поскольку такой разговор заходил не впервые и мы назубок знали, как будет развиваться сценарий — оставалось только решить, кто отзовется первым. "Ну ладно, только что это значит? — спрашивал, например, я с притворно-наивным видом, чтоб Кацпер не почуял, что ему готовят ловушку. — Ты — хороший человек, и что из этого следует?" Наш друг ни разу не заподозрил подвоха, даже на двадцатый раз не смекнул, что вступает на зыбкую почву, где неизбежно увязнет. "Я стараюсь правильно жить, — говорил он, не отрывая задумчивого взгляда от той же самой точки в пространстве или непроизвольно заправляя под шапку длинные космы, — никому намеренно не делать зла, короче, просто жить правильно". Тут в разговор, подперев кулаком подбородок, вступал Бартош: "О'кей, Кацпер, но скажи, какими ценностями ты руководствуешься, должна же у тебя быть некая стройная система, позволяющая определить, как себя вести в той или иной ситуации, когда поступать так, а когда иначе, и так далее?" Кацпер оживал, но было уже поздно, и от безвыходности он продолжал в том же духе. "Система у меня есть, так сказать, христианская, ну может, не совсем, кое с чем я не согласен, например, с суждениями об эвтаназии или применении противозачаточных средств, но вообще-то христианская, а что касается ценностей, это — семья, — тут он рас-

прямлялся и глядел на нас с торжеством человека, отыскавшего верный путь выхода из безнадежной, казалось бы, ситуации. — Самое важное для меня — семья, я хочу, чтобы моим родным было хорошо". Бартош кивал в притворной задумчивости: "Ну да, семья, семья — это великая вещь, но, гм, как ты поступишь, если, к примеру, ради семьи нужно кому-то причинить зло? Или, ну не знаю, совершить нечестный поступок, элементарно кого-то надуть — ты это сделаешь, если твоим родным станет лучше?" И тут я поднимал палец и назидательно произносил нараспев нашу излюбленную цитату из какого-то эссе: "Ибо, если Бог умер, любое усилие, направленное на рациональное обоснование нравственности, есть не что иное, как типично мюнхаузеновская попытка вытащить себя из болота релятивизма за шнурки собственных ботинок". Кацпер начинал нервничать: "Ну не знаю, блин, все зависит от ситуации, я не хочу никому причинять зла, но заранее сказать трудно, это зависит..." — и тут, в свою очередь подняв палец, Бартош выкрикивал: "Ха! Так-таки релятивизм! Всякая норма зависит от ситуации, всякая норма состряпывается применительно к случаю!" А я добивал Кацпера: "И при всем при том нас, разумеется, не покидает уверенность, что мы — хорошие люди; и это приятное чувство постоянно нам сопутствует", — и мы с Бартошем хором повторяли мантру: "Ибо, если Бог умер..." Кацпер, оторопев, умолкал, закусывал губу или принимался разглядывать ногти, но поняв, что ему не выпутаться, говорил, махнув рукой: "Ну вас на хер, все равно я чувствую, что я — хороший". Так бывало, когда мы с Кацпером и Бартошем ходили пить пиво. А сейчас весь народ, заходясь в приступе самолюбования, повторяет: "Мы хорошие, мы хорошие".)

Смахивает на мечеть, подумал я, когда в четверг шагал вверх по дороге, ведущей в святилище в Лагевниках[1]. Базилика снизу выглядела очень большой и светлой, а устремленная в небо стройная башня позади нее была похожа на минарет. Поднявшись, я остановился неподалеку от башни, передо мной расстилалось обширное пространство, где-то на заднем плане маячили крыши Кракова, а вблизи теснились ангары супермаркетов, гипермаркетов и мультиплексов, царящие сейчас везде в мире. Рядом работал строительный кран, а сквозь без-

1. Санктуарий Божьего Милосердия в Лагевниках (район Кракова) связан с деятельностью св. сестры Фаустины (1905—1938), миссионерки Божьего Милосердия, причисленной к лику святых в 2000 г. Папой Иоанном Павлом II. Там находится часовня с образом Иисуса Милосердного и могилой св. Фаустины, монастырь и современная базилика; с 40-х гг. XX века — место паломничества.

листные еще деревья просвечивала стальная конструкция очередного ангара, вырастающего у подножья холма и нагло взбирающегося на склон. Базилика внутри была такая же большая и такая же светлая — свет врывался через высокие витражи и каскадами обрушивался на людей, стоявших на коленях между рядами длинных деревянных скамей. Я остановился у входа, будто осознав вдруг, что не знаю, зачем сюда приехал. Или будто осознав, что знаю, зачем приехал, но того, что мне нужно, здесь не найду.

А потом я пошел дальше — туда, где торговый пассаж для паломников, где киоски с тысячами открыток, доход от которых пойдет на строительство святилища, где с лотков продаются специально изданные к столетию сестры Фаустины сборники литаний и песнопений, а на табличках с фамилиями жертвователей сообщается, что интересующихся просят обратиться в Фонд (адрес, телефон, факс, e-mail, ИНН); где полно магазинов с предметами культа и длинная галерея утыкается прямо в огромную рекламу кока-колы; и где на стене обменного пункта крупными буквами написано "Предметы религиозного культа. Обмен валюты. Золото. Серебро. Скупка. Продажа", а под надписью двухметровая деревянная сестра Фаустина прижимает к сердцу левую руку, а правой благословляет всех, кто решится купить, продать или обменять крестик, золотой образок или серебряную цепочку. И я вошел в магазин, чтобы купить матери четки, а в магазине — Папа... ба, сотня Пап, во всех известных типографиям форматах, по всей стене, а посередине табличка "Купленный товар возврату и обмену не подлежит". И правильно: как можно вернуть Папу, как можно обменять его на ладанку, образок или фигурку святого?! А дальше та же самая деревянная сестра Фаустина, тем же самым жестом приветствующая всех и благословляющая тех, кто захочет ее отсюда забрать, заплатив выкуп в размере 1948 злотых — на 258 злотых больше, чем за ее близнеца — отца Пио[1], из-под деревянных повязок на кистях рук которого сочилась деревянная кровь. Дороговато; но вот ангелочка можно было приобрести за 10 или 15 злотых, в зависимости от размера; а такого же со сломанным крылышком — за символическую пятерку (если отыщешь его в корзине с надписью "Уценено", среди двух марийных и одного ватиканского флагов, трех елочных шаров, кожаного бумажника с закопанским узором, двенадцати пасхальных открыток и

1. Отец Пио (Франческо Форджоне, 1887–1968) — один из самых популярных святых католической церкви, итальянский монах-капуцин, чудотворец, провидец, на руках и на теле у которого были кровоточащие стигматы.

одной Девы Марии). А над этой корзиной возносил руку гигантский, двух с половиной метровый, пластиковый Иисус в ниспадающей складками одежде; из-под второй, лежащей на груди, руки вырывались два пластиковых луча, голубой и красный. Красный казался особенно ярким на темно-зеленом фоне образа Святого Семейства, укрепляющего веру и защищающего от осенней депрессухи.

(Тот ноябрь не грянул внезапно, он загодя о себе предупреждал, уже в октябре было очень темно и дождливо, а потом с каждым днем становилось все хуже. И все труднее стало утром выползать из постели, умываться, одеваться и выходить в сырое осеннее ненастье, и тогда я подумал, что надо уверовать, что прав был ксендз, который когда-то, давным-давно, сказал матери: "Принуждать никого нельзя. Не хочет мальчик ходить в храм, пускай не ходит, рано или поздно он туда вернется; люди с такими печальными глазами всегда возвращаются". Так я подумал однажды утром, лежа в постели, в полумраке, с пересохшим горлом и разрывающейся от боли головой, а потом вспомнил, что в Сопоте будут выступать Богумил, Богуслав и Божидар, трое самых католических польских поэтов, и еще я подумал, что это не случайно и что, раз уж так получилось, это будет *тот самый* день. Вечером я ехал в пригородной электричке, за мокрыми оконными стеклами мелькали огни Труймяста; напротив храпел какой-то мужик, рядом две девушки со смехом рассказывали друг дружке про свои первые ночные приключения, а я пытался себе представить, как оно будет: сначала стихи, потом, вероятно, дискуссия, возможно, за бокалом вина, и тогда внезапно что-то во мне сломается, треснет какая-то скорлупа, и придет озарение, и я найду точку опоры, без которой не только нельзя перевернуть мир, но и перескочить на другой путь с того, по которому меня несет сила инерции, через кабаки и чужие квартиры, перроны и вокзалы, торговые центры и кинотеатры. До места я добрался вымокший до нитки, задолго до назначенного часа; стоял в коридоре, читая объявления, и тут пришел Богуслав, бледный от недосыпа, и: "О, привет! Клево, что ты здесь. Заебисто! А я сюда прямо из Кракова, бля, неслабо было, награды какие-то раздавали, не просыхали три дня, я подклеил одну, черненькая такая, офигительная, актрисуля, кажется, хотя я даже не спрашивал, чувак, что она вытворяла, у меня в жизни такой не было". Следом пришел Богумил. "Привет, вы вроде еще не знакомы, — сказал Богуслав, — знакомьтесь, Петр, Богумил". Я хотел что-то сказать, дескать, читал, дескать, под впечатлением, но не успел — Богумил только кивнул мне и тут же повернулся к Богуславу, стукнул со смехом по спине: "Ха-ха, брат, тухлень-

ко выглядишь, перебрал малость, а? Я тоже, я тоже. Соскучился я по тебе, брат, ну что там у тебя, пишешь что-нибудь?" А Богуслав: да, что-то пишет, в поезде, чтобы не пропадало время, а то ведь посидеть спокойно не дают, вечно в поездках — туда, сюда. Но тут: "Добро пожаловать, уважаемые гости, милости просим", — кто-то уже размашисто открывает дверь, и мы входим в зал, а там полно стульев, и пирожные, и стаканчики для вина. Сразу подвалил народ: приветствия, улыбки, рукопожатия, эти собрались в кружок, те, рассевшись, переговариваются, прихлебывают вино, чмокают, жестикулируют, шум, гам — и: "А вот и Божидар, приветствуем!" — крикнул один; Божидар вошел, поздоровался, вроде как застенчиво; наконец все угомонились, и Богуслав, сидя за столом, объявил, что сейчас будет читать свои стихи Божидар и что стихи эти про Бога, и Божидар неловко поклонился, прокашлялся и начал читать, а я сидел в последнем ряду и думал: вот это, похоже, от чистого сердца. А потом Божидар закончил, и опять зашуршали: "как вам?" — спросила дама в шиншиллах, "почему бы и нет?" — ответил господин с бородкой; и снова чмок-чмок, шу-шу, шелест, серебристый смех, расслабон, из зала в коридорчик и обратно, похлопывания по плечу, поздравления, комплименты, приглашения. "Ну что, махнем в Спатиф[1]? — сказал Богумил, когда шиншиллы отчалили, ну и мы пошли, по дороге завернули в круглосуточный магазин на Монте Кассино, и: "Я пока четвертинку, а вы?" Мы тоже по четвертинке, и вот уже веранда Спатифа, и сигареты, и треп, и подливание водочки в пивко, пока не видит смазливая официантка, которой Богуслав тут же: "Вы когда заканчиваете?" — а Богумил: "Хе-хе!" — и уже он о своем, как вынужден то да се в стихах вычеркивать, чтобы жена не догадалась, и уже спрашивает у Богуслава, помнит ли тот двух чувих, ну, тогда, в поездке, с которыми они славно прокатились на море, а Божидар в сторонке, тоже вроде бы подхихикивает, но как-то неискренне, наверно поэтому я у него и спросил... но это было позже, когда мы уже перебрались наверх, где главное разгуляево, где студентки и актеры и где я прокричал Богуславу: "Ты знаешь, что такое 'заебисто'?" — а он мне в ответ: "Вот это и есть заебисто, старик!"; а к Божидару я обратился с вопросом позже, когда уже все подустали и мы стояли в очереди в сортир; я спросил: "Скажи, а как ты к этому относишься, ну, понимаешь, что в стихах и эссе они такие, понимаешь, да? — а на самом деле другие?" Он слегка поморщился и сказал: "Я оценок не даю, мне, может, и не до конца, не совсем, не больно нравится, но оценивать я не бе-

1. Союз польских актеров театра и кино; также клубы этого Союза.

русь". И снова треп, рюмочки-студенточки, и снова в сортир, пить втроем в одной кабинке принесенное с собой (так дешевле) пиво, и так допоздна, а в три ночи перед Спатифом объятия, восклицания, поцелуи и: "До свидания, пока, пока, даст бог, не в последний раз, надо чаще встречаться, пока еще молоды, пока жизнь не прошла". По пути на вокзал я споткнулся на ступенях перед костелом, потом поговорил около киоска фастфуда с каким-то мужиком, который выскочил из клуба перехватить кебаб, осенняя холодрыга, а он голый по пояс, потный торс нелепо сверкает, челюстями работает зверски, будто наглотался колес. "Знаешь, что такое 'заебисто'?" — спросил он у меня, а я уже знал: "Вот это и есть заебисто", — говорю. А он мне: "Правильно! Только это и ничего больше. Давай пять!" Спустя несколько дней я слушал Богумила по радио — он рассуждал, был ли Милош хорошим католиком, склоняясь к тому, что все-таки был, хотя и восхищался Востоком и подписывал письма в защиту прав геев, это все чепуха, а взгляды у него, в целом, были правильные; я слушал Богумила, но не узнавал голоса и три раза проверял в программе передач, действительно ли это он, потому что голос был какой-то другой, вроде бы его, но не похож, нисколечко не похож.)

"Знаешь, что там видели мои знакомые? — спросил Марко, когда мы вечером сидели в кабаке и я рассказывал обо всем: как сел в автобус, как ехал, не особо зная, зачем еду, как топал в гору, как искал и не нашел, и как потом спускался вниз, и как наткнулся на ярмарку, где тысячи Пап с улыбкой глядели на меня с автомобильных брелков, зажигалок, пепельниц, фарфоровых кружек и плакатов, с ковриков и трещоток, с закладок, тарелочек, флажков, вымпелов, консервных ножей, шкатулочек, вазочек и с циферблата часов, невозмутимо, как умеют только часы, отмеряющих время. — Это все чепуха, — сказал Марко. — Мои знакомые в прошлом году были в этом пассаже, ну, в паломническом центре, где все эти бытовые услуги, аптеки, врачи, рестораны, — и видели разложенные повсюду листовки с вопросом: 'Хочешь понравиться Богу?' — и ниже, мелким шрифтом 'парикмахер восемь злотых'".

Так что же еще? Что еще? Было что-нибудь еще, что-нибудь важное? Пятница и суббота — сплошная круговерть: на выставке живописи в "Бункере" кто-то попереворачивал все картины с Папой лицом к стене, вечером кто-то — я? — говорил кому-то — мне? — "Как думаешь, каково быть учителем этики, философом и знать, что люди тебя любят, но примерно так же, как святого Николая? Каково показывать свою старость и немощь, зная, что

ты — единственный, чью старость и немощь не показать нельзя, а еще зная, что, когда ты совсем ослабеешь, их ничто не остановит и они покажут в прямом эфире, как ты умираешь?" Кто-то прислал цепочку: "Кароль Войтыла родился 18.05.1920, сумма цифр, деленная на два, — 13, избран Папой на конклаве 94-мя голосами, а 9 + 4 = 13, было ему тогда 58 лет, опять 13, — и так далее, вплоть до: Папа прожил ровно 31 тысячу дней, если посмотреть в обратном порядке... Ни прибавить, ни отнять!" А что прибавлять и от чего отнимать? Еще кто-то написал, что чувствует себя обманутым коллегией кардиналов, которая тянула с вскрытием завещания, поскольку хотела оставить тело Папы у себя, а он наверняка хотел быть похоронен здесь, в Польше, в прекрасной нашей стране, неподалеку от своих любимых гор, а теперь правда вышла наружу, вылезло шило из мешка, теперь уже известно, чего стоят эти кардиналы — только о себе думают, о своей корысти. Кто-то на каком-то форуме возмущался: на марше в память Папы у себя в городе он видел целые толпы студентов с пивом — в каждой руке по банке, и смеялись они, и какие-то веселые игры устраивали. А в комментариях немедленно: "Ты говоришь о Люблине"; а еще кто-то, что это Познань, а еще другой, что Краков, он точно знает, видел своими глазами, но вот уже кто-то возражает: это Жешов; какая-то женщина — нет, Гданьск; мужчина — нет, Катовице; девушка из Варшавы негодует... и все как один: позор, стыда у них нет, ну почему, ах, почему такое про нас говорят. Во Вроцлаве мэр объявил, что через год поставит папские врата в форме монументальной арки, в Торуне в самом центре будет установлен памятник, в Варшаве будет площадь, в Вилянове — саркофаг, в Пшемысле — выставка принадлежавших Папе вещей, в Радоме — граффити, в Подляском воеводстве — Папский путь[1], в Вадовице — гранитный или бронзовый памятник; в Кракове будет курган, "самый большой, какой только в этой стране видели"; что ни город, то улица, проспект, парк, площадь или больница. Кто-то сказал: мы еще убедимся, какое растет поколение, через год, пять, десять лет эти молодые люди построят новую Польшу, новый мир построят, даже если им придется работать голыми руками; кто-то рассылал мейлы, что в пятницу в двадцать один час тридцать семь минут вся Польша в память о Папе погасит свет, а какой-то энергетик сказал по радио, что тогда вся Польша на несколько месяцев останется без электричества, потому что случится коллапс в сети. Однако сеть выдержала, хотя в Оруни и на Мокотове, в Погуже и Шмельце, на лодзинских Балутах и в

1. Папский, или Каменный путь — туристический маршрут, на котором камнями отмечены места, где останавливался Иоанн Павел II во время посещения Подляского воеводства.

гдыньской Хылони по жилым кварталам ходили подростки и кричали: "Погаси свет, мудак, не то стекла повыбиваем", а в гданьском Пшиможе кто-то просто испортил трансформатор и весь район вырубился, без всякого принуждения, дружно и надолго. Кто-то с кем-то не мог договориться, что делать с лампадами, собранными с улиц, — как-никак, сорок тонн стекла. Этот хотел соорудить памятник, тот — инсталляцию; посыпались открытые письма, объяснения, протесты. Кто-то сообщал из Варшавы, что на марше футбольных фанатов пацаны кричали: "Хер в жопу всякому, кто не уважает Святого Отца!" — кто-то другой возражал, что это неправда. В одну из тех ночей я покупал хот-дог в киоске, где бок о бок висели фото: слева говяжий кебаб за шесть злотых, справа гамбургер за четыре пятьдесят, а между ними — Папа с траурной лентой. А потом были похороны, и порыв ветра закрыл Священное Писание и взметнул сутаны кардиналов, и кто-то, естественно, написал, что это сам Святой Дух, воплотившись в ветер, закрыл Библию именно так, чтобы ее можно было открыть на том же самом месте. Кто-то другой возмутился, что нельзя так уж сразу везде выискивать знамения. Ему тут же ответили, что, видать, жизнь у него невеселая и его можно только пожалеть, что жена ему изменяет, дети не любят, а сам он, по всей вероятности, безработный. И необразованный. А Збигнев Бонек[1] сказал, что фото Папы надо поместить на польский флаг.

И не было у Святого Отца надежды.

Наконец настало это воскресенье, холодное и промозглое. На стадионе "Краковии", стадионе имени Иоанна Павла Второго, том самом, где несколько дней назад братались фанаты краковских клубов, начинался матч мира и согласия: "Краковия" Краков — "Легия" Варшава; тысячные орды болельщиков собрались, чтобы продемонстрировать добрую волю. Мне рассказывал один сотрудник спортивной газеты, как они поднялись на трибунах, друг против друга, и по данному знаку пропели польский гимн, а потом "Клятву"[2] и еще "Лодку", любимую песню Папы, — и голоса их крепчали, и все проникновеннее становились, и волнение охватило всех до единого. А потом с четырех углов стадиона выпустили четырех белых голубей в знак мира и вечной отныне дружбы. И в глазу у многих блеснула слеза, скупая, мужская. А потом сиротка из детского дома медленным торжественным ша-

1. Футболист, тренер, спортивный функционер.
2. Патриотическая песня на слова стихотворения Марии Конопницкой.

гом прошла на середину поля и остановилась ровно в центре, чтобы выпустить последнего голубя, самого большого и самого белоснежного, дабы он возвестил земле и небу, животным и людям о том, что воцарился pax maxima et infinita, дабы отнес мирное послание болельщикам всех клубов, дабы прервал навсегда братоубийственные распри, дабы поднебесным своим полетом положил конец махалову и мочилову; и дабы шелест его крыльев услышали повсюду, где еще неделю назад слышны были тяжелые удары кулаков, проклятия одних и стоны других, повсюду, где серые тротуары орошались красной фанатской кровью, проливаемой в священных войнах за честь клуба; и пусть его незапятнанная голубиная белизна заставит фаната "Арки" перевести через улицу бабушку фаната "Лехии", а фанат "Погони" поможет нести тяжелую сумку матери фаната "Леха", а сестра болельщика из Вроцлава сможет без опаски любить болельщика из Варшавы. И остановилась сиротка ровно посреди поля, и в великой тишине подбросила вверх белого голубя. И кто знает, как сложились бы судьбы мира, если бы голубь взмыл в небеса; но, увы, он лишь на краткий миг повис в воздухе, как любой брошенный вверх предмет, а затем шмякнулся в траву, ибо был тот голубь мертв, был тот голубь недвижен — сыграл в ящик бедняга, дал дуба, попросту говоря сдох где-то по дороге, ненароком придушенный сироткой, а может, не выдержав груза ответственности. И великая тишина вдруг взорвалась, взревела громче медных труб, а потом началась рубиловка. Двумя часами позже Клубень, прячась за шторой у себя дома, с восхищением наблюдал за тактически безупречными действиями польской полиции, которая сперва разогнала толпу массированной атакой водометами, а затем самых стойких обстреляла резиновыми пулями; так, не раз испытанным способом, взяли верх доблестные стражи порядка. Впрочем, кто знает: возможно, виноваты именно они, маловеры, прибывшие на матч примирения в бронемашинах и с оружием, возможно, из-за них все так повернулось...

Вскоре затем пошел дождь, холодный, апрельский. И шел целый час, если не дольше, и погасил лампады, и свечи, и весь город погасил; так что, когда из-за туч робко выглянуло солнце, картина была уже совсем другая. Мокрые улицы, мокрые тротуары и стены; из мокрых темных стен торчали мокрые древки, а с мокрых древков уныло свисали мокрые склеившиеся флаги, будто привязанные к веткам мертвые птицы. Все это я видел из окна машины, пока ехали на обед к Мартине и Марко по почти пустым улицам, по мостам, площадям, по мокрому смурому Кракову, отряхивающемуся от воды, как отряхиваются некрасивые старые собаки.

После обеда мы немного поговорили о каких-то пустяках, а потом уже никто ничего не говорил, мы просто стояли у окна и молча курили. Я вспомнил одно занятие по философии, мы обсуждали эссе, из которого следовало, что основа всякого дискурса — общий культурный контекст. Я тогда сказал, что уже несколько лет обретаюсь среди людей, участвующих в создании польской культуры, творящих некий ее фрагмент, и что, честно говоря, они обходятся без дискурсов, просто беседуют на самые разные темы. "Нда? Очень вам сочувствую, — сказала магистр Б., — я, например, со своими знакомыми постоянно говорю о культуре". Именно это мне вспомнилось, когда мы стояли у окна и курили: Дорота, известная польская писательница; Казик, поэт и критик, сотрудничающий с популярным ежемесячником; Марко, главный редактор серьезного журнала, посвященного новой культуре; Мартина, одна из руководителей недавно созданного динамичного издательства. И я. И была тишина. Папа уже умер, и уже похоронен, и не находилось никакой другой темы, за которую можно было бы уцепиться, как за спасательный круг. Мы просто стояли, поглядывая — кто на сигарету, кто на Краков за окном, кто на собственные руки. Лишь бы не смотреть на других. И так довольно долго. Наконец Марко кашлянул и сказал: "Напиши об этом. Напиши минироман, можно сюжетный, с элементами эссе, или документальный очерк, или репортаж. Короче, в любом жанре, по своему усмотрению. Напиши, как ты приезжаешь в Краков, а Папа умирает, а ты в чужом городе, и что вокруг происходит, и о немцах этих напиши, как они удивляются. Обязательно напиши, такая книга может наделать шуму". Я долго смотрел в окно на темное усталое небо, а потом подумал: почему бы и нет, и сказал: "Ладно, напишу". Тогда Дорота сказала: "Только не пиши от первого лица, не то потом никому не объяснишь, что это не ты, что, если написано от первого лица, не надо думать, будто герой — тот самый человек, чья фамилия стоит на обложке". Я сказал: "А на хрена, пускай каждый понимает как умеет, пусть думает, что хочет, лишь бы думал". А вечером я сел за стол, включил компьютер и написал: "Начинается все это накануне моего двадцать четвертого дня рождения". И тут вдруг позвонила Аля, о которой я все эти дни почти не вспоминал, которая потерялась где-то по дороге. Позвонила Аля, я сказал: "Алло", — и повисла тишина. А потом она сказала: "Знаешь, насчет ребенка... его не будет. Слышишь? Его не будет".

Малгожата Шейнерт

Польский репортаж и китайская кухня

Перевод К. Старосельской

В мае 1989 года вышел первый номер "Газеты выборчей". Он открывался словами Леха Валенсы, назвавшего газету "первым независимым ежедневным изданием между Лабой и Тихим океаном".

Среди основателей газеты были авторы, и раньше охотно занимавшиеся репортажем, — чтобы отличить от репортеров "новостных", для них в Польше было придумано неудачное название "репортажисты". Они с радостью и энтузиазмом взялись за создание печатного органа, прокладывающего путь свободному слову. Однако сразу возник вопрос: уместен ли в такой газете репортаж (предполагалось, что основное место на ее страницах будет занимать информация и публицистика)? Не сыграл ли уже репортаж свою роль? Нужна ли теперь, когда к читателю можно обращаться открытым текстом, форма, десятилетиями позволявшая в Польше, именуемой Народной, говорить между строк?

Передача информации с помощью сигналов, которые ускользнут от внимания цензоров, но будут внятны читателям, требовала не только знания темы и тех людей, для кого все это писалось, но и наличия литературного опыта. Журналисты, которые начинали со службы в отделах информации и со временем все больше тяготели к репортажу, учились выстраивать сюжет, изучать психологию героев, создавать напряжение, очерчивать фон событий, подыскивать пуэнты, аллюзии, афоризмы. Их тексты по форме приближались к рассказу, но с этим жанром у них было два существенных различия: ре-

© Małgorzata Szejnert, 2011
© К. Старосельская. Перевод, 2011
Статья написана специально для "ИЛ".

портажи были актуальными и содержали подлинные факты, хотя фамилии и названия часто зашифровывались.

Авторы таких репортажей не родились на пустом месте. Протаскивание запрещенных властями тем с помощью художественной литературы имело давнюю традицию, связанную с потерей государственности после разделов Польши. Великие поэты и прозаики XIX и первых десятилетий XX века были властителями душ в стране, управляемой чужими. Будущие репортеры с молоком матери впитывали веру в могущество литературы, а впоследствии обнаруживали множество черт репортажа, например, в эпосе "Пан Тадеуш" или в III части "Дзядов" великого романтика Адама Мицкевича и у великих позитивистов Элизы Ожешко и Болеслава Пруса. Героической традиции романтизма и социальной — позитивизма сопутствовали традиции сарматской гавенды[1] с ее красочными деталями быта, в XX веке подхваченные Мельхиором Ваньковичем, и репортажа, близкого к историко-политическому эссе, создателем которого был Ксаверий Прушинский. Варшавский еженедельник "Вядомости литерацке", выходивший в уже независимой Польше (1924—1939), ставил этот жанр вровень с прозой и заказывал репортажи известным писателям и журналистам.

Для репортеров, формировавшихся после Второй мировой войны, эти традиции являлись образцом, однако прошло немало времени, пока они смогли к ним обратиться. Цензура, бдительность партийных редакторов и соцреализм не допускали в репортажах глубокого содержания и свободной формы, а непокорным журналистам преграждали путь в профессию. Прекрасная традиция блекла, забывалась, а труды литераторов-эмигрантов, старавшихся сохранить этос свободного слова, не доходили до Польши, да и репортаж, оторванный от отечественных источников, увядал. В канун оттепели 1956 года репортажа в Польше почти не было (если не считать короткого послевоенного периода, когда залечивались нанесенные войной травмы). В прессе печаталась официальная информация, подцензурная публицистика, иногда бодрые отчеты со строек, из земледельческих кооперативов и молодежных лагерей. Оттепель открыла дорогу репортажу живому и бунтарскому, будто давно уже поджидавшему своего часа под дверью варшавского еженедельника "По просту". За недолгий период относительной свободы там были опубликованы драматические тексты о судьбах солдат Армии Крайовой, о молодежной контркультуре, о женщинах, занимающихся непосильным физическим трудом. Но оттепель быстро закончилась. "По просту" закрыли

1. Gawenda — беседа; рассказ, сказ; сплетня, россказни (*польск.*) — особый вид повествования от лица рассказчика-сказителя, жанр, чрезвычайно популярный в польской литературе XIX в. (*Прим. перев.*)

уже в 1957 году, однако пробудившийся репортаж искал возможность существовать, не теряя чести, точнее, не позоря свое доброе имя. Пришлось вернуться к испытанным методам иносказания и многозначительных деталей. Репортеры культурных еженедельников изобрели так называемый малый реализм. Впрочем, изобретать почти ничего не понадобилось: тут помогло некоторое ослабление цензуры (по сравнению с периодом сталинизма) да и сама жизнь. Цензура, хоть и стала чуть более терпимой, по-прежнему не позволяла критиковать систему, однако разрешала (в определенных пределах) описывать отдельные ситуации и судьбы. Обобщать наблюдения запрещалось, но читатели прекрасно справлялись сами.

Что такое малый реализм? Простой пример: рассказ об одном дне из жизни рабочих тракторного завода. Репортер выбирал несколько человек и наблюдал, как они идут на работу, как получают со склада инструменты и материалы, описывал их рабочее место, обед в столовой, возвращение домой, вечер в семье. Рассказывал об ужасных квартирных условиях, мучительных поездках в транспорте, безобразном снабжении, скверной организации труда, плохом питании, усталости и беспросветности. Оперировал только деталями, не давая никаких оценок. Ощущение безнадежности ведь можно передать и безо всяких эпитетов. Уровень бедности можно наглядно представить, описав завтрак, обед и ужин. Тяготы поездок — приведя расписание работы транспорта и расстояние от дома до работы. Отношение к трудовому люду — упомянув о ножах в рабочей столовой: острие укорочено на одну треть, чтобы нож не украли. Малый реализм добывал информацию о действительности в самых низах. Власти — партийные функционеры, государственные чиновники разного уровня — на вопросы не отвечали, говорили только то, что считали нужным. Приходилось искать частные источники информации, входить не в парадные, а в кухонные двери. Идти не к директору школы, а разыскивать независимого и отважного учителя. Не стучаться в заводоуправление, а найти рабочего или, еще лучше, работницу — женщины высказывались смелее. Скорее что-то расскажет не главврач больницы, а пациент. Не чиновник, распределяющий жилплощадь, а человек, стоящий в хвосте очереди на квартиру. Авторы репортажей часто сохраняли анонимность собеседников, но факты говорили сами за себя. Репортеры не ограничивались бытовыми зарисовками, а создавали психологические портреты.

Героем этих репортажей была деталь. Американский писатель Филип Рот назвал детали пальцами великанов. А Иосиф Бродский в эссе "Полторы комнаты" сказал: "...Память содержит именно детали, а не полную картину, сценки, если угодно, но не весь спектакль".

Казалось бы, репортажи, сплетенные из столь серых ниток, должны быть скучными и монотонными. Однако так не случилось. Убожество описываемой действительности заставляло авторов совершенствовать форму, оттачивать язык, извлекать смыслы, кроющиеся за предметом, жестом, взглядом. Иными словами — призывало работать с особой тщательностью, дабы не загубить то, что удалось раздобыть. Это как в китайской кухне, красотой и вкусом обязанной нищете.

Малый реализм был дозволен, поскольку не говорил о причинах — только о последствиях. Он пытался приблизиться к правде, однако репортеры не строили иллюзий — они понимали, что до правды еще далеко. Но не пренебрегали даже скудными возможностями говорить о том, чего было не найти в официальной информации и публицистике. Непокорных авторов словесные игры с цензурой только воодушевляли. Наградой им служило признание в своей среде — тем большее, чем сильнее они раздражали власть.

Казалось, в мире без цензуры, с его обилием событий, никто и в руки не возьмет репортажей малого реализма. Но нет — в XXI веке их начали переиздавать. У них есть читатели, их обсуждают, о них спорят. Они помогают тем, кто не помнит 60 и 70-х, хоть ненадолго туда перенестись — в качестве так называемого простого человека. Однако репортерам пришлось заплатить за малый реализм свою цену. Я имею в виду чрезмерную привязанность к деталям, привычку вести наблюдение из партера. Характерно, что после великой победы рабочих в августе 1980 года и подписания соглашений с правительством репортеры некоторое время пребывали в растерянности, не зная, как писать о потрясающих переменах (хотя многие сами побывали в гуще событий — на бастующих верфях Гданьска и Щецина). До тех пор они не занимались политическими механизмами — только показывали, как политика влияет на повседневную жизнь.

Праздник "Солидарности", начавшийся в августе 1980 года, продолжался шестнадцать месяцев. В декабре 1981-го было введено военное положение — и воцарилось молчание. Большинство репортеров отказались работать в навязанных им условиях. Некоторые писали в подпольные газеты, разраставшиеся как грибы после дождя, но там нельзя было помещать репортажи, чтобы не подвергать опасности их героев. Ведь форма репортажа, предполагающая участие автора в описываемом событии, открывает читателям не только ту часть жизни репортера, которую он посвящает работе над материалом, но и подробно знакомит их с его героями. Конечно, можно было прибегнуть к камуфляжу, но изобилие недоговоренностей похоронило бы текст.

В 1989 году репортеры оказались в той самой точке, о которой я упомянула в начале. Появилась первая свободная газета, за ней — другие. Стра-

на охвачена лихорадкой. В разгаре борьба за свободные выборы, за создание демократических институтов. Нескончаемые дискуссии. Спешка. Подходящее ли время для репортажа? Вдобавок, так долго спавшего, не имевшего возможности совершенствоваться? При отсутствии у репортеров опыта, который дает работа в демократической системе?

Первую группу репортеров собрала вокруг "Газеты выборчей" Ханна Кралль, мастер малого реализма. И получила поддержку редакции и читателей. Редакция, куда вошла преимущественно молодежь из рядов оппозиции, оценила по справедливости роль, которую сыграл репортаж во времена засилья цензуры, да и читатели были того же мнения. Решено было посмотреть, выдержит ли репортаж проверку в новых условиях.

Оказалось, что репортаж способен быстро выйти из состояния спячки (так уже было однажды — в 1956-м). К приглашенным "Газетой" старым репортерам присоединились молодые, в том числе студенты-журналисты. Теперь уже можно было задавать острые вопросы чиновникам любых уровней, обобщать наблюдения, заниматься внешней, внутренней и экономической политикой, однако трудно было оторваться от привычных методов изображения действительности с их детализацией, дробностью, кустарщиной. Новому поколению репортеров очень помогло творчество безусловно выдающейся личности — Рышарда Капущинского. Малый реализм доминировал несколько десятилетий, но параллельно существовало и другое, созданное Капущинским течение, которое несколько уравновешивало картину польского репортажа 60 и 70-х годов. Капущинский, зарубежный корреспондент Польского агентства печати, благодаря огромному таланту, работоспособности и упорству нашел возможность, наряду с выполнением профессиональных обязанностей, писать книги репортажей, обладающие большой литературной и информационной ценностью. В лучшей из них — "Император" (о закате владычества императора Эфиопии Хайле Селассие) — описывались механизмы власти и отношения при императорском дворе, но за этими описаниями легко было увидеть Польшу 70-х, где окружение генерального секретаря, казалось, не замечало распада государства. Репортажи Капущинского из горячих точек земного шара будоражили воображение молодых репортеров. Такие импульсы оказались очень нужны в период, когда малый реализм утрачивал свое значение и гораздо больше ценилась способность понять и описать открывшийся перед поляками мир.

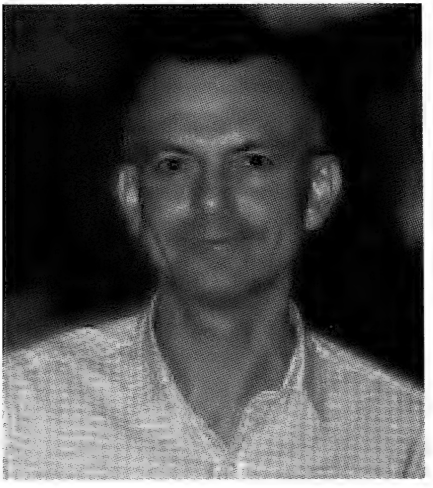
Малый реализм, теряя значение как метод обмана цензуры, сохранял его как образец, позволяющий в гуще деталей увидеть социальную и психологическую подоплеку и заставляющий тщательно обдумывать форму подачи материала. Он оказался в равной мере полезным как для описа-

ния провинциального городка, так и для репортажа из воюющего Афганистана или сообщения о стычках в предвыборных штабах. Следы малого реализма заметны во всех репортажах, которые "Иностранная литература" выбрала для польского номера, хотя слово "малый" совершенно к ним не подходит. Тексты эти не могли быть написаны в годы господства малого реализма — либо по цензурным соображениям, либо потому, что репортеры в то время вынуждены были возделывать лишь свой участок.

Быть может, подпитывание малого реализма жгучим интересом к широко открытому миру привело к тому, что польский репортаж пришелся по вкусу читателям не только на родине, но и в других странах, о чем свидетельствуют большие тиражи, многочисленные переводы и — отечественные и зарубежные — литературные награды. Таким успехом польские авторы обязаны не только себе, но и растущей популярности литературы факта. Этот жанр вытесняет с книжных полок романы. Неправдоподобная вымышленная история никогда не будет столь же интересной, как неправдоподобная подлинная история. А неправдоподобные подлинные истории никогда не переведутся.

Войцех Тохман
Бешеный пес

Перевод Полины Козеренко



Сегодня, дорогие братья и сестры, мы отмечаем Всемирный день больного. В семьдесят пятую годовщину Фатимских явлений Девы Марии и одиннадцатую годовщину покушения на свою жизнь праздник этот установил наш возлюбленный Иоанн Павел II. Наш великий Папа-поляк, который знал, что такое боль.

Сегодня мы думаем о человеке страждущем. Возможно, рядом есть кто-то, кто тяжело болен, кто не может сегодня быть здесь с нами. Но с ним сейчас ваши мысли. Возможно, вас мучают какие-то вопросы, угрызения совести: достаточно ли времени я провожу со страдальцем? Рядом ли я с ним ежедневно? Помогаю ли ему? Поддерживаю ли? Сопровождаю? А может, я о нем забываю? Избегаю его? Может, его раны, язвы, опухоли слишком отвратительны? Может, источают неприятный запах? Может, от нашего больного несет гноем? Рвотой? Мочой? Калом? А может, обыкновенной старостью? Его страдания — слишком тяжкий груз для меня? Я от него отворачиваюсь?

Моя сегодняшняя проповедь наверняка станет для многих из вас слишком тяжким грузом. И уж конечно, она не для детских ушей. Эта проповедь — только для взрослых. Детей я попрошу выйти. Моих учеников тоже. Что бы вы обо мне потом ни услышали, попытайтесь в тишине за меня помолиться.

Тяжело мне сегодня стоять перед вами. Вы знаете меня как открытого, улыбающегося, современного священника. Я не задираю голову. Не отгораживаюсь никакими барьерами. Не ношу без необходимости ни сутану, ни колоратку[1]. Хорошо чувствую себя в джинсах, футболке, бейсболке. Езжу на горном велосипеде, отплясывал с

© Wojciech Tochman
© Полина Козеренко. Перевод, 2011

1. Жесткий белый воротничок, элемент облачения католических священнослужителей. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

вами не на одной свадьбе. Вместе с вами организую помощь нуждающимся. Стараюсь служить ближним всеми силами. Ибо именно так вижу я роль служителя Божьего: быть с людьми и для людей. Я знаю, что у нас с вами все складывается, как должно.

Кроме одного.

И поэтому так тяжело мне сегодня смотреть вам в глаза.

Но что это за тяжесть в сравнении с тяжестью Жертвы Христовой! Я должен нести свою ношу, помня о той Жертве. Сопутствующие мне возвращаются, как кадры из фильма при перемотке. Особенно ясно я вижу их, когда беру в руки Тело Христово, когда поднимаю его, когда говорю: возьмите и вкусите. Ноша тяжелеет, а картины не желают отступать. Наоборот, становятся все ярче; я вижу потные торсы, бицепсы, плоские животы, крепкие ляжки, но продолжаю говорить: сие есть Тело Мое, которое за вас предается.

Я хочу поведать вам правду и только правду: я согрешил. Но я не из тех геев, которые считают, что нужно устраивать все эти парады, носить радужные флаги[1], разрешать двум мужчинам вступать в законный брак и усыновлять детей. Я не согласен с этим. Я согласен скорее с теми, кто утверждает, что борьба против так называемой дискриминации сексменьшинств — скрытая, но навязчивая пропаганда гомосексуализма. Пропаганда болезни. Это вероломный протест против ценностей, на которых зиждется наша цивилизация. А зиждется она на христианстве и естественных законах. Природа однозначно учит нас, что оправдана только связь между женщиной и мужчиной. Гомосексуализм — это ошибка природы, злая шутка, возможно, просчет в эволюции. Хотя ген, отвечающий за гомосексуализм, до сих пор не найден.

Тем, кто кричит о гомофобии, правда глаза колет.

Колет она глаза и мне. И я болен.

Некоторые говорят, что от гомосексуализма до педофилии один шаг. Мне так не кажется. Я на мальчиков не смотрю. Меня мальчики не интересуют.

Мне нравятся зрелые мужчины, смуглые, высокие, сильные. Их ищу я, они мне нужны.

И это небольшая часть правды, для начала.

Я понимаю, что для некоторых эта правда слишком ужасна.

Священник говорит с алтаря о торсах, бицепсах, ляжках.

А почему он должен молчать?

Их нет? Они не существуют?

Еще как существуют! Даже здесь, дорогие братья и сестры, в храме, у дарохранительницы. Посмотрите на себя и на образа на стенах. Ведь никакие одежды не заставят нас усомниться в том, что создано Богом Отцом.

А эти перешептывания, которые я слышу, ведь это не шутки? Эти проклятия? Сквернословие? Почему вы произноси-

1. Радуга — символ гей-движения.

те бранные слова так тихо? Потому что поверили мне свои провинности? Свои постыдные слабости, измены, низости, подлости, кражи? Нет, я никому о них не скажу. И не только потому, что вас защищает тайна исповеди. Вам нечего бояться. Ни того, что здесь, ни того, что там — в Царстве Божьем. Если вы искренне раскаиваетесь в своих грехах, если хотите исправиться, Господь вам все простит. Господь добр и милосерд.

Сколько себя помню, я всегда был в костеле. Не во дворе, на спортивной площадке, в бассейне, нет. В школе и в костеле. Мне нравился запах ладана и запах одеколона, которым спрыскивались молодые ксендзы. Мой отец никакими духами не пользовался, не слишком часто мылся и не слишком часто уделял мне внимание. Не пил, не бил меня, не прикасался. Работал и давал деньги на карманные расходы. Мать тоже работала, только за океаном. Уехала, когда мне было пять лет. У нее закончилась виза, она осталась там нелегально и живет до сих пор. Я не видел ее двадцать восемь лет. Она не может оттуда уехать — второй раз ее не впустят. Я не могу получить визу, чтобы навестить ее. Впрочем, не знаю, хочу ли. Иногда она звонит и говорит мне: "I love you". И требует прислать фотографии. Я посылаю. Тогда она звонит и, рыдая, восклицает, что я still beautiful[1].

Впервые я почувствовал, что желаю близости мужчины, в двенадцать, может, тринадцать лет. Понял, кто я, когда мне исполнилось шестнадцать. Я испугался, но поговорить об этом было не с кем.

С отцом? У него была другая женщина, новые дети. Впрочем, кто бы стал говорить о таком с отцом? Чтобы он убил меня?

С матерью? Через океан?

С учительницей? В этой-то стране?

С другом? Еще хуже.

С моим любимым ксендзом? Он был высокий, худой, с коротко, по-солдатски, остриженными волосами, говорил неспешно, низким голосом. А когда здоровался, сильно сжимал мою ладонь. Играл на гитаре, летом ходил с нами в горы, организовывал помощь для каких-то погорельцев, и я ему в этом помогал. Я не мог его подвести. Сказал, что всем сердцем люблю Христа и хочу поступить в семинарию. Он так обрадовался, что даже обнял меня. Я одеревенел, будто боялся почувствовать его тепло. Помню ту минуту до сих пор.

Его дыхание.

Он отстранился, кончиками пальцев провел над моей верхней губой, нежно, медленно, и сказал: еще год, и у нас вырастет настоящий мужчина.

Потом взял меня за плечи, развернул, слегка похлопал по спине и засмеялся: ну, беги к отцу, а то уже поздно!

Если бы я пошел к психотерапевту, возможно, мы пришли бы к выводу, который не принес бы облегчения, но был бы очень важным: я не мужчина — мне предстояло им стать только через год. Еще не

1. По-прежнему красив (*англ.*).

привлекательный, еще не мужчина.

Он слегка оттолкнул меня.

Год для мальчика — целая эпоха.

Через год его уже не было в нашем приходе — поехал в Африку работать с больными СПИДом.

Я был совершенно одинок со своим желанием мужского прикосновения.

Но своего первого секса я не помню. То есть не знаю, какой был первым. Кажется, когда я уже учился в семинарии.

Не знаю, чувствовал ли я призвание. Не знаю, что такое призвание. Это когда Господь приходит к молодому человеку и говорит ему: иди за мной? Некоторые утверждают, что слышат Его голос. Я никакого голоса не слышал, но был уверен, что так должен выглядеть мой путь. Так я хотел служить Иисусу. Хотел быть как можно ближе к Нему.

Можно найти сотню цитат из Писания, которые прямо говорят, как надлежит любить Иисуса.

Я люблю Его, как маму и папу.

Знаю, что Он всегда со мной и не даст в обиду.

Что обо мне заботится, как каждый родитель должен заботиться о ребенке.

Я — дитя Иисуса.

Но так же как я не всегда слушал маму и папу, так не всегда делаю то, что нравится Иисусу.

Иногда я думаю, что мы нарисовали нечеловеческий абстрактный образ Создателя. Далекий от жизни, от людей. К счастью, в последние годы мы начинаем иначе в Него верить. Мы верим в Бога милосердного. Такого, который прощает.

Это радует меня не потому, что теперь я могу смело грешить в надежде, что Господь и так мне все простит. Скорее я рад, что в своей тайне Он становится все более подобным отцу или матери. Теплым, близким, любящим.

В семинарии никто так о Боге не говорит.

В семинарии наставники формируют личность будущих священнослужителей. Так это называется. Но все происходит наоборот — личность молодых мужчин они деформируют. Учат отказываться от удовольствий. Ссылаются при этом на Иисуса, который сказал: кто хочет идти за мной, должен отречься от самого себя. Значит ли это, что нужно избавиться от себя? Отказаться? Никто так и не дал мне вразумительного ответа. Зачем разъяснять такие вещи семинаристу?

Каждый вечер, после десяти, наставники входили к семинаристам без стука и велели гасить свет. В люльку, молитва и спать — естественно, с руками поверх одеяла. Мне был двадцать один год — а кто-то указывал мне, когда я должен закрывать глаза и когда открывать. Когда вставать, бриться, мыться, есть, пить (и что), когда учиться, ходить в город (и в чем — исключительно в черном или темно-синем), когда я должен заткнуться и до конца дня не раскрывать рта. Silentium sacrum — после девяти вечера обязательно погрузиться в размышления. В семинарии нет места креативности, творческому мышлению, развитию. Никаких разговоров о том, что вызы-

вает у верующих сомнения: аборты, эвтаназия, гомосексуализм, клонирование. Куда там! Нельзя даже сотовый телефон иметь, запрещен компьютер. Тренировка приспособленчества. Умения делать вид. Это должно стать вторым "я" семинариста. Нужно быть таким, как все остальные ксендзы. Какими нас хотят видеть люди.

Однажды, вместо того чтобы навестить отца, я поехал в Берлин. Заранее разыскал адреса соответствующих клубов. Это было открытие, потрясение — столько совершенно голых мужских тел. Я был красивым юношей, still beautiful, immer noch schön, поэтому пользовался успехом. Может, лучше назвать вещи своими именами: я был прямо-таки нарасхват!

И вернулся в семинарию, где холод, равнодушие, отторжение.

Почему? Неужели нашей Церкви недостает любви к ближнему?

Молодой человек, загнанный в жесткую систему правил, идет из семинарии к прихожанам и видит, что все, чему его учили, не имеет ничего общего с жизнью. Какое silentium sacrum? Компьютер, Интернет, чат, гей.

Тысячи геев онлайн.

Как ты выглядишь? Сколько тебе лет?

24/188/80/19

Неплохо. Я 26/180/78/17, шатен, волосатый. А ты?

Я гладкий, только на ногах немного. Что ты любишь?

Разные вещи. Ты пассивный или активный?

Любишь реально или дрочишь? Пришли фотку и тел.

Молодой ксендз взволнован и испуган. Поспешно выходит из чата, бежит от вожделения к виртуальному собеседнику.

Ему стыдно.

Моим коллегам тоже нравятся разговоры онлайн: Интернет, чат, свидания.

Милая, киску побрила?

Конечно, но оставила узенькую полосочку.

Чудесно! А она уже влажная?

Конечно, ждет тебя, котик.

Тогда включи камеру и послюнявь пальчик.

Сейчас не могу, муж сидит поблизости.

Ой, нехорошо. У меня жена на работе, так что все зашибись.

Противный котик! Уже забавляешься своим стволом?

Но есть ксендзы, у которых вообще нет в комнате компьютера и которые только молятся. Таких большинство, дорогие братья и сестры, без сомнения.

Сначала молодой ксендз боится ночью выйти из плебании[1]. Ему вбили в голову образ Бога, награждающего за добро и карающего за зло. А зло — это банка пива. И Бог ее видит. Бабушка мне всегда повторяла: будь послушным — Господь тебя видит.

Большой Брат, соглядатай, полицейский, люстратор, судья.

Такой образ Бога — угроза развитию человека, его свободе. Впрочем, свобода (это мы

1. Дом приходского священника.

тоже выносим из семинарии) — нечто подозрительное.

Я верил, что духовный сан защитит меня от гомосексуализма.

Но я ошибся, братья и сестры.

Если мне еще можно вас так называть.

Интернет, чат, гей. Тысяча сто геев онлайн.

Я буду ждать у автозаправки через полчаса.

Супер. Ты будешь после ванны или примем душ вместе?

Мне нравятся игры в душе.

ОК, я сделаю тебе это под душем. Жду в черном "саабе".

ОК, уже иду.

Многие ксендзы верили, что сан спасет их от вожделения. И многие ошиблись. Достаточно понаблюдать за исповедальнями. Мы, ксендзы-гомосексуалисты, мужчин исповедуем дольше.

То, что говорят женщины, нам не так интересно. Ну разве что они рассказывают о своих эротических снах с мужьями в главной роли. Блаженный Августин вопрошал: "Ужели рука Твоя, Всесильный Боже, не сильна исцелить всех недугов души моей и преизбытком благодати угасить эту распутную тревогу моих снов?" Ни один сон, мои дорогие, даже самый постыдный, грехом быть не может. Сны не подвластны нашей воле и всегда невинны. Господь не будет никого за них наказывать. Не будет помнить наших снов, как и мы о них забываем. Не исповедуйтесь в сонных видениях — жаль время тратить. Вы только разжигаете сексуальные фантазии духовников, в том числе и гетеросексуальных.

По телевизору говорили о епископе, который домогался семинаристов, но это по телевизору, где-то далеко. Впрочем, может, преувеличили, как это свойственно журналистам.

Лучше не задаваться вопросом, есть ли и рядом с нами гомосексуальный ксендз.

Есть!

Интернет, чат, гей, тысяча двести геев онлайн.

29/178/76/20, брюнет. Жду у банка.

Любопытство нарастает. Возбуждение. Страх. Секс.

А потом приходит пустота. Тоска.

Вы говорите: довольно? Зачем вникать в это так глубоко? Чему это должно служить?

Правде!

Вы предпочитаете над педиками издеваться, смеяться над ними. Я и сам иногда смеялся, чтобы никто не подумал, что я — один из них.

Мне часто снится бешеный пес, агрессивный, пасть в пене, рычит. Но не кусается. Он бросится на меня, когда я сделаю шаг. Поэтому я стою на месте, не дышу. Делаю вид, что меня нет, что я не существую. Боюсь сглотнуть. А пес смотрит на меня. И выжидает.

Сегодня мы отмечаем Всемирный день больного. Говорим о страдании, об уходе в обитель Отца. Знаете ли вы, что умрете? Мне тридцать три года, и я знаю: я умру. Но осознал я это совсем недавно. Когда сдавал в школе выпускные экзамены, не знал. Когда заканчивал семинарию — не знал. Совершил

в первый раз таинство причастия, в сотый раз — и не знал. Хотя Христос умер на кресте в том числе и за меня, хотя я глубоко в это верю — не знал. Смерть, эта составляющая жизни, в моей жизни не существовала.

Молодой человек, даже ребенок, понимает, что каждая жизнь когда-нибудь придет к концу. Но не его. Смерть касается других, больных, старых. Но его — нет. Он в этом мире будет жить вечно.

Те, кто постарше, знают, что это не от гордыни. Осознание приближающейся смерти приходит в разном возрасте. Пока человек здоров, пока живы все, кого он любит, — этого сознания нет. И хорошо. Это позволяет нам взрослеть, учиться, работать, рожать детей, преодолевать трудности и радоваться окружающему миру.

Осознание смерти не должно вызывать у нас, христиан, никакой тревоги. Смерть — лишь проход через врата, за которыми ждет радостная встреча с Богом Отцом. Радостная, ибо мы верим, что милосердный Господь простит нам все грехи.

Тогда почему смерть вызывает страх?

Мне тридцать три года, и только сейчас я осознал, что умру. Не смотрите так, я пока еще не умираю. Возможно, доживу до преклонного возраста, хотя сомневаюсь. Я хотел как можно дольше служить Господу как священник. И вам, дорогие братья и сестры. Но после того, что я сказал, уже не могу. Тем паче, что должен рассказать вам еще больше.

Какая тишина, ни покашливаний, ни шепотка. А костел полон.

Господи Иисусе, смилуйся надо мной.

Господь посылает мне задание, испытание, трудный экзамен. Я заражен вирусом СПИДа. Когда вы получаете положительный результат теста, время замирает. Нет никакого "завтра", никакого "через неделю", жизнь останавливается, конец. А мысли в голове бушуют: какой конец? когда? где? кого следует о конце предупредить? кому сказать? кто об ЭТОМ узнает? ЭТО сидит во мне, размножается, как паразиты, плодится, пожирает изнутри.

Вы принимаете душ. Вода льется сильной струей, обжигает кожу, но ЭТОГО ей не смыть. Страх смешивается в голове с жалостью к себе, потом с бешенством, отнимает разум: наверняка витамины, которые я каждое утро глотаю за завтраком, изменили результаты анализа. Витамины могут повлиять на результат, это же очевидно. Анализ необходимо повторить!

Но зачем?

Остатки сознания лишают надежды: анализ, прежде чем выдадут результат, повторяют минимум два раза. С двумя пробами крови. Нет шансов на ошибку, нет вообще никаких шансов. Покой бесповоротно уходит в прошлое. Улыбка тоже. Вскоре придет улыбка наигранная, чтобы никто не догадался, пока тело не выдаст симптомов. Появляется напряжение, селится где-то за грудиной и оттуда будет не

раз и не два сотрясать все тело. Или слегка покалывать. Или у тебя пересыхает горло. Или только слабеют ноги. Тогда надо присесть на первую попавшуюся скамейку в парке, отереть пот со лба и ждать, пока отпустит. А оно не отпускает. Напряжение становится твоей повседневностью, будет с тобой постоянно, до самого конца. Но в первый день ты об этом не думаешь. Ты хочешь сразу заснуть, на веки вечные.

А Он велит жить!

Ибо от ЭТОГО уже не умирают. Теперь с ЭТИМ живут. Двадцать лет, сорок, до старости, если все хорошо сложится. Существуют таблетки, все более современные, более эффективные. Сегодня врачи говорят, что это — хроническая болезнь. Как многие другие. Не лечишься — умираешь. Лечишься — живешь. Но вы свое знаете. Вы меня уже в мыслях кладете в гроб, уже хороните. Лопаты, комья земли. В голову к вам лезут стереотипы, готовые схемы, матрицы, они уже занимают заранее определенные позиции, уже готовы аргументы для оценки, осуждения, приговора.

Педик — известно — это СПИД. Заслужил — вот и мучайся.

Кара небесная!

От Иисуса? Которого я люблю, как маму и папу? Который обо мне заботится?

Вы знаете ответ!

Не нужно его жалеть! А пальцем показывать — почему бы и нет? Плюнуть в лицо — с радостью. Закрыть перед ним дверь — как же иначе. Потому что СПИД в нашей стране — клеймо, невидимая черная метка, доказательство распутной жизни, доказательство зла. Потому что это болезнь, передаваемая через секс. А секс — нечто подозрительное.

К тому, что подозрительно, следует внимательно присматриваться. Ведь секс других — *мое* дело. *Я* буду оценивать, судить, отворачиваться с омерзением. Испытываешь отвращение — тогда почему задницы других тебе так интересны? "Эта порода ретива разузнавать про чужую жизнь, — пишет Блаженный Августин, — и ленива исправлять свою". Почему оценка ближних, их осуждение так необходимы вам, люди? Вы что, осуждая других, вырастаете в собственных глазах?

Вы, примерные католики, смотрите на падшего человека и думаете: мы лучше его, у нас все, как надо, мы высокоморальны, порядочны, чисты. Мы, верные жены, любящие мужья, заботливые матери, отцы, — мы все готовы к спасению. Господи Иисусе, бери нас прямо в рай! Всех вместе, оптом!

А тот — грязный, запятнанный, проклятый. Его свергни в ад!

Может, оно и правильно. Нужно встать на сторону добра.

Нужно меня осудить.

По самому простому кодексу: это белое, а это черное, это хорошо, а это плохо, это морально, а это — смертный грех! Легче всего так: найти во дворе костела камень и поджидать меня. Это было бы морально. И я бы снес это, ибо заслужил.

Не каменьев в ваших руках боюсь я, но стыжусь, что сов-

ращаю вас с пути истинного. И боюсь этого. Боюсь, что вы слушаете меня и думаете: все, во что мы верили, не имеет ни малейшего смысла. И Церковь, и Господь Бог тоже. Но ведь это не так. И грешник в лоне Церкви, даже если он ксендз, наделен глубоким смыслом. И мое страдание.

Я спрашиваю Бога: зачем Ты призвал меня? Ты знал, что я не выдержу, что буду ездить в Берлин, Лондон, Париж. Буду бежать от пустоты, в которой нет Тебя, Боже. Что на церковные приношения куплю билет в гей-сауну, раз, второй, пятидесятый, что, возбужденный, разденусь в гардеробе, что окину взглядом элегантного бизнесмена в костюме, который, возможно, зашел сюда в перерыве между работой и женой, ждущей его с обедом, что быстро приму душ, там присмотрюсь к худощавому студенту со скандинавскими волосами и голубыми глазами, что, обернувшись полотенцем, побегу к кабинам. Дело в том, что сауна — это не просто сауна. Там есть слабоосвещенные узкие коридоры, лабиринты, запирающиеся кабинки площадью метр на два, есть и комнаты для группового секса — светлые и совершенно темные, дарк-румы, где собираются жирные мужики за пятьдесят в надежде, что между ними затешется какое-нибудь нежное двадцатилетнее тельце и даст им то, чего при дневном свете им уже не получить. Отовсюду слышны стоны, вздохи: ох, ах, еще, давай, сильнее, хватит. Ощущается запах пота, спермы и генералий. Везде скользко, нужно соблюдать осторожность, чтобы не убиться. Кабинки открываются, мужики выходят, мокрые, расслабленные, и расходятся, каждый в свою сторону, знакомство окончено, теперь идут уборщики, с фонариками, в резиновых сапогах и латексных перчатках, вытирают тряпкой матрасы из кожзаменителя — и кабинка готова к следующим обильным оргазмам. Царство наслаждения, извращений, разнузданности. Практически в каждом районе каждой европейской метрополии есть своя сауна для геев, иногда бок о бок со стройными готическими храмами, и никто не удивляется, не препятствует, не запрещает. Все легально, вход несколько десятков евро плюс НДС — и получай свое. Кажется, я знаю их наперечет.

Ты знал, Господи, что я не справлюсь. Что у меня не хватает сил. Что сауны станут моей манией, что только ради этих моментов мне будет хотеться жить. Поскольку там я получаю то, чего не получаю нигде. И ни от кого.

Ты знал! И знаешь, что я постоянно ношу Тебя, Господи, в сердце. Даже там, в дарк-руме, в кабинке с матрасом из кожзаменителя. Там я страдаю сильнее всего. Ибо когда он вставляет свой огромный черный жилистый член, когда заполняет во мне пустоту, когда проникает все глубже и глубже, когда трахает меня с силой электромотора, когда безжалостно меня добивает, когда он практически во мне целиком, тогда я думаю: что я творю?! Я же служитель Иисуса Христа!

Не убегайте!

В Берлине, Париже и Лондоне, а может, и в Варшаве, есть и другие клубы: для гетеросексуальных женщин и мужчин. Там тоже есть слабоосвещенные коридоры, есть кабинки и комнаты для группового секса, групповой распущенности, группового греха. Я знаю это от моих коллег, которые — как я — сутаны носят только по необходимости.

Я знаю, что большинство священнослужителей не нарушает обетов и живет в целибате. В том числе и большинство священников-гомосексуалистов. Не все они, и уж точно не все геи, оскверняют себя и других в этих берлинских помойках и парижских канавах. Большинство этого не делает. Большинство живет с постоянным партнером. Я знаю, потому что хожу по домам собирать пожертвования. Некоторые такие пары принимают меня. И тогда я говорю им, что они поступают плохо, живя вместе, что это противно Священному Писанию. Что они должны расстаться и жить в воздержании. Они убеждают меня: мы — примерные сыновья, законопослушные граждане, добросовестные работники, приветливые соседи и верные партнеры. Их отношения исполнены любви.

Достаточно просмотреть объявления на гей-порталах: многие мужчины ищут постоянного партнера, ищут любви. Так же как и большинство гетеросексуальных мужчин и женщин. Мы все ищем любви. Мы, священники, — тоже. Когда не находим ее в лоне Церкви, в нашей общине, вступаем в область греха, из которой сложно выбраться.

Я — служитель Иисуса Христа! И говорю вам правду и только правду.

В сауне мне не достаточно одного, я меняю кабинку, меняю мужчину, опять какой-то незнакомец, смуглый, черный или норвежец, несколько следующих минут он будет ко мне так близко, что ближе уже просто нельзя. А в этот момент Иисус висит на кресте, истекает кровью за меня, умирает. А меня имеет какой-то самец в каком-то вонючем притоне! Неужели во мне Дьявол?

Он заполняет меня целиком!

Если бы я мог с этим покончить! Но я бессилен. Подавлен, зол, взбешен. Потому что живу не так, как хотел бы жить. Забери меня отсюда! Оборви мои мучения! Отправление причастия для меня истинная Голгофа. Не хочу! Не буду!

Когда сажусь в самолет и возвращаюсь домой, я думаю: может, на этот раз мы разобьемся. Может, все это закончится, с грохотом, раз-два. Но нет! Я должен жить, должен тосковать по сауне. Я ненавижу это, но уже начинаю прикидывать, куда полечу в следующий раз.

Самоубийство? Это решило бы все проблемы. Иисус ничего о самоубийстве не говорил, самоубийц не осуждал. Может, это выход? Но выход куда? К Тебе, Боже? Нет! Ты хочешь проверять меня здесь, подвергать очередным испытаниям. Смотришь, сколько у меня сил.

Во мне живет Сатана. И я должен с ним справиться?!

Я исповедуюсь другому священнику. Искренне раскаиваюсь и искренне желаю исправиться. Но вскоре после этого заказываю в Интернете билет в Амстердам или Кёльн.

Я должен выбрать жизнь в чистоте или уйти из Церкви.

Как уйти? К кому? С чем?

С моим теологическим образованием?

Вне Церкви я — никто.

И в Церкви тоже.

Апостол Павел сказал, что мужчины, сожительствующие с другими мужчинами, не войдут в Царство Божие. Что Ты сделаешь со мною, Боже? С моим позором? И с моей искренней любовью к Тебе? Что сотворишь, когда я, наконец, предстану пред Тобой? Сильнее ли Твое милосердие моего греха? Я верю, Боже, что Ты увидишь во мне больше, чем всего лишь перепуганного гея.

Если бы Господь спросил меня, как Петра у Геннисаретского озера: "Шимон, сын Иоанна, любишь ли ты Меня?" — я ответил бы, не колеблясь: "Господи, Тебе все ведомо, Ты знаешь, что я люблю Тебя".

Мне запрещено любить Господа? Потому что я скверен?

Вы знаете ответ? Вам известен Божественный замысел? Если бы Господь колебался, что сделать с таким грешником, как я, вы услужливо прибежали бы с подсказкой?

Испытываю ли я к вам злобу? Негодую, обижен? Кричу на вас, как будто вы сделали мне что-то плохое? Нет, ничего такого не было. Простите меня, братья и сестры.

И заботьтесь о себе. Берегите себя. Неужели никто в этом костеле не вступал в любовную связь до брака? Никто не изменял жене, мужу? У вас нет любовниц? Любовников? СПИДом можно заразиться не только через задний проход. Кто-то, кто сегодня так думает, и особенно тот, кто занимается гетеросексуальным внебрачным сексом, — полный дурак. В консультации для инфицированных мне встречаются красивые молодые женщины, хорошо одетые, надушенные. Откуда они взялись? Не все ведь заразились от одного и того же негодяя камерунца. Откуда у них это? Не из воздуха же. И не от поцелуя.

Я вижу там разных мужчин. Откуда у них это? Ведь не потому, что они пожали руку больному, не потому, что сели после инфицированного на стульчак.

Когда вы изменяете своим женам и своим мужьям, когда нарушаете супружескую клятву, принесенную Господу, по крайней мере, принимайте меры безопасности. Используйте презервативы!

Я этого не сделал всего один раз. И вот я болен. Как мне теперь быть? Что Господь хочет мне этим сказать?

Не знаю. Покупаю билет в Париж и бегу в сауну. Там в каждой кабинке презервативы под рукой. Там всех учат: ты сам несешь ответственность за случайный секс. Считай инфицированным каждого партнера. Без исключения. Тогда у тебя есть шанс избежать заражения. Я придерживаюсь этого правила и верю, что никому не принесу вреда. Я в этом убежден. Иногда только, бывает, подумаю, что мне хотелось бы, чтобы все другие тоже бы-

ли заражены, чтобы тоже ежедневно просыпались с мыслью о том, что будет *там*. Что происходит после смерти? Есть ли вечная жизнь? Будет ли Страшный Суд? А если *там* ничего нет? Если Бога нет, то что? Все — лишь путь к последней черте, концу, мраку?

Мне не с кем об этом поговорить.

Еще кто-то выходит? Испугались? Слова не заразны. Ничего вам не грозит. Стойте! У меня есть вопрос: каждый ли из ваших близких готов прийти к вам и поделиться своей самой сокровенной тайной?

Сказать, что у него СПИД?

Поймете ли вы его? Поддержите?

Знает ли он или она, что может к вам с этим прийти?

У меня такого человека нет. Я прихожу к вам.

Иногда мне страшно. Мне снится бешеный пес: рычит, пасть в пене. А я стою как вкопанный. Как побитый.

Мне не нужны ни ваша жалость, ни понимание. Я хочу только, чтобы вы позволили мне быть среди вас.

Я один. Пес смотрит и выжидает.

Мне жаль тратить время на сон.

Потому что я хочу что-то делать, хочу жить. А вынужден сидеть на толчке.

Первое время после заражения никаких лекарств не назначают. Постепенно, из месяца в месяц, снижается количество клеток, ответственных за иммунитет. Так может продолжаться два года, а может пятнадцать — законов тут нет. Все это время инфицированный чувствует себя хорошо. Врачи проверяют, достаточно ли в крови пациента иммунных клеток. Когда их становится слишком мало, выносится приговор: таблетки. До конца жизни. Они вредные, токсичные. Надеюсь, не более, чем сигареты или водка.

Но первый период лечения обычно тяжелый. Знаете ли вы, как чувствует себя взрослый мужик, который несколько недель не может отойти от туалета дальше, чем на пять метров? Конечно, существуют закрепляющие средства, но сколько таблеток можно принимать? Шесть утром, шесть вечером — блевать тянет.

А иногда нужно выйти на люди. Знаете ли вы, как чувствует себя молодой священник-педераст, который подхватил СПИД? Который не уверен, есть ли жизнь после смерти? Который стоит за алтарем, перед толпой верующих, в церковном одеянии, в памперсе, и чувствует, что из него течет?

Я должен уйти. Ибо Церковь меня не хочет, отвергает.

А Бог?!

Я должен остаться, жить в чистоте. Показать Ему, что понял Его слова.

Не могу.

Может, СПИДа для меня мало? Нужно отрубить мне ноги? Может, тогда я пойму?!

Мне не с кем это обсудить. Я боюсь, страх тисками сжимает голову. Вас боюсь я, ваших языков, осуждения, приговоров. Ибо именно вы решите, кем я буду, пока не умру! Никем? Без профессии, дома, без лица и имени? Мое имя опозорено, а вы повелеваете мною.

Я бы хотел быть таким же, как вы. Иметь жену, детей. Возможно, быть врачом или учителем. Я был бы хорошим отцом, детям посвящал бы много времени, заботился о них, воспитывал и гордился их успехами. Жену я бы тоже любил. Со временем мог бы даже любовницу завести — я мастер путать следы, жена бы ни о чем не догадывалась. Вроде, так принято. А вот быть геем в верном, честном союзе — это уже нехорошо. Поэтому я рассказывал бы на исповеди о любовнице, а какой-нибудь молодой симпатичный ксендз — в благодарность за пикантные подробности — с улыбкой отпускал бы мне грехи. Мне очень бы этого хотелось, братья и сестры. Быть, как вы!

Или как эти дети, которых я отослал. Чтобы у них был отец, пахнущий одеколоном, гладящий их по головке.

Никого нет? В костеле пусто?

Вот и все.

Все, что я здесь сказал, — правда: мне тридцать три года, я живу в Польше, я священник, я гомосексуалист, у меня СПИД. Мне следует снять сутану и уйти. Но я никогда этого не сделаю. И этой проповеди никогда не произнесу, хотя мысленно произношу ежедневно. Понос проходит, иммунные клетки восстанавливаются, все в порядке.

Многие из вас знают меня как открытого, улыбающегося, современного священника в бейсболке.

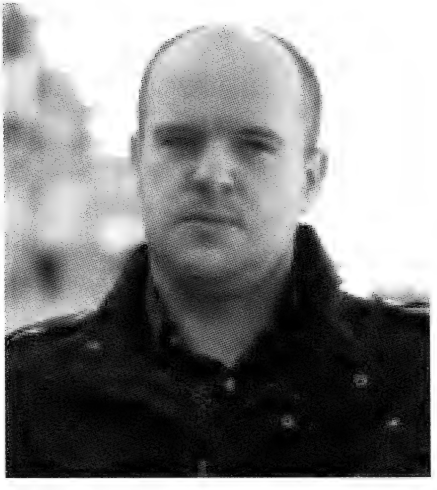
Билет в Лондон стоит триста злотых. До Берлина и того меньше. В следующее воскресенье я сошлюсь — как меня учили в семинарии — на отрывок из прочитанного перед проповедью Евангелия. И пусть все так и остается.

Витольд Шабловский

Убийца из города абрикосов

Репортажи из Турции

Перевод Мадины Алексеевой



Вместо предисловия

Желто-белый парóм кряхтит, сопит, выплевывает в небо облако дыма и отчаливает.

Мы плывем из Европы в Азию. Путешествие занимает минут пятнадцать. На палубе, рядом, — бизнесмены и нищие, женщины в чадрах и девушки в мини, атеисты и имамы, проститутки и дервиши, святые и грешники. Вся Турция на одном пароме.

— Капитаны этих колоссов — современные Хароны, — говорит Тайфун, мой знакомый поэт из Стамбула. — Почему? Потому что путешествие через пролив Босфор прекрасно и тревожно. Как смерть.

На самом деле Хароны — бесстрастные профессионалы. Иначе нельзя. Босфор очень узок, в некоторых местах шириной всего несколько сот метров, при этом ежедневно здесь проплывают тысячи кораблей и лодок. Необходимость маневрировать в таких водах, а затем подвести паром — с точностью до сантиметра — к небольшой пристани не оставляет места ни романтизму, ни греческой мифологии.

Разве что ты пассажир. Тогда — пожалуйста. Когда заходит солнце и над городом разносятся голоса тысяч муэдзинов, славящих Аллаха, тогда стихают разговоры, а люди впадают в меланхолическое и метафизическое настроение. Я часто пользуюсь моментом и спрашиваю попутчиков-турок: как вам живется с этим проливом? Каково это — каждый день пересекать границу между континентами?

Они пожимают плечами. Не понимают. Пролив как пролив.

Только поэт Тайфун не удивляется вопросу.

— Во мне самом есть такой пролив, — говорит он и броса-

© Witold Szabłowski
© Agora SA
© Мадина Алексеева. Перевод, 2011

ет большой кусок булки преследующим паром чайкам. — В жизни каждого турка сотни раз на дню сталкиваются традиция и современность. Шляпа и чарчаф. Мечеть и дискотека. Евросоюз и неприятие Евросоюза.

Тайфун попадает в десятку. Невидимый глазу пролив проходит через всю Турцию. По утрам мои приятельницы-турчанки пьют эспрессо со своими возлюбленными, едят круассаны и беседуют о мировой литературе. А после обеда надевают платки и отправляются в гости к бабушкам на чашечку кофе по-турецки.

Мои приятели-турки пьют пиво и ходят на дискотеки. Но стоит им слегка перебрать, как они запевают песни двухсотлетней давности. Ведут себя так, будто им не страшен ни Аллах, ни Магомет, но в Рамазан строго соблюдают пост, а стоит их сыновьям подрасти, готовятся к обрезанию.

Я сам на консервативном Востоке видел имамов, вешающих возле мечетей флаги Евросоюза. В магазинах одежды для консервативных турчанок продается сексуальное нижнее белье. "Раз уж женщине приходится закрывать лицо днем, — объясняет мне продавец, — ей только сильнее хочется нравиться мужу по вечерам".

У жизни на границе есть свои плюсы. Турки находчивы, быстро учат языки, умеют мгновенно расположить к себе человека из любого уголка земного шара. Хотя худшее геополитическое положение вряд ли можно себе представить, ведь Турция граничит с неспокойными Сирией, Ираном и Ираком; в то же время это часть Ближнего Востока, Кавказа и Балкан — турки умеют ладить со всеми.

Но за жизнь на границе приходится и платить. Запад считает турок фанатиками. Восток — прислужниками Запада. Аль-Каида устраивает на берегах Босфора теракты, а Европейский союз вот уже полвека не спешит принять Турцию в свои ряды. Слишком уж она большая и чуждая по культуре.

Наш паром достиг середины пролива. Мы смотрим издалека на два моста, соединяющие берега Босфора. Поэт Тайфун смотрит то на европейский, то на азиатский берег. Наконец вздыхает:

— Каждый турок — это такой мост.

Это из любви к тебе, сестра

1. Хатидже прикрывает рукой рот, словно боится, что из нее посыплются слова. Она не хочет говорить. Она никогда ни с кем об этом не говорила. И не собиралась.

Я убеждаю ее, что ей ничего не грозит.

Но дело не в страхе. Хатидже попросту не знает, как рассказывать о том, что ей довелось пережить.

Как рассказать об отце? Во всем мире отцы любят своих дочерей.

Отец Хатидже хотел ее убить.

Как рассказать о матери? Мать должна защитить дочь собственным телом.

А мать Хатидже кричала мужу: "Когда ты наконец убьешь эту шлюху?!"

Как рассказать о брате, который пришел в ее дом с ножом?

О сестре, с которой с малых лет они спали в одной кровати и которая не захотела ее предостеречь?

Если бы муж Хатидже, Ахмет, не был сильным человеком, ее бы уже не было в живых.

Мы встречаемся в их доме. Уславливаемся, что, если они не в состоянии будут говорить, я не стану настаивать.

Хатидже встречает меня в шароварах с восточным узором. На голове у нее платок, плотно прикрывающий волосы. У Ахмета пышные усы, на нем фланелевая рубашка в клетку. Обоим по двадцать два года. Они вместе пять лет. Об их браке, как и почти обо всех браках в деревне, заранее договорились родители. Но они очень счастливы.

Всей мебели у них в квартире — два стула, топчан да ковер на стене. На большее они пока не заработали. Детей нет. Они живут возле рынка, где можно купить фисташки, арбузы, сыр и хлеб. Ахмет там работает, продает мед. У них есть друзья. Они начали новую жизнь.

Старая жизнь закончилась четыре года назад, когда Ахмет пошел в армию. Хатидже должна была на это время переселиться к его тете. Тетя — вдова, живет с сыном, казалось бы, лучше не придумаешь. Женщина на востоке Турции не должна жить одна. Это аморально.

Проблема была в том, что на следующий день после отъезда Ахмета в дверь Хатидже постучал второй сын тети, Абдулла. Он не должен был этого делать. Хатидже велела ему уходить.

Он ушел, но через день вернулся. Дергал дверную ручку, орал:

— Открой, не то убью!

Хатидже будто остолбенела. Она не знала, как быть. Кричать? Абдулла сделает вид, что не понимает, о чем речь. Он никогда не признается. Сказать тете? Всевышний Аллах! Да кто ж поверит женщине?!

Хатидже изо всех сил держала дверь, и Абдулла сдался. Но на следующий день решил отомстить.

2. Диярбакыр сверху похож на блин с вздувшимися пузырьками воздуха. Кое-где виднеются темно-коричневые комочки. Когда самолет снижается, я вижу, что это камни, разбросанные так, точно они выросли из-под земли.

По краям этой равнины протянулись голубые нити Тигра и Евфрата, служивших некогда границами Месопотамии. Здесь зародилась первая цивилизация. Здесь в давние времена искали следы библейского Эдема. Совсем рядом появились на свет патриархи: Авраам и Ной.

Проблема, о которой пойдет речь, наверняка существовала уже в те времена.

Въезд в город — в стене из черного кирпича. Ее построили византийцы больше 1000 лет назад. Если верить путеводителю, то это вторая, после

китайской, самая важная стена в мире. Сюда должны бы приезжать тысячи туристов. Но не приезжают. У Диярбакыра дурная слава. Это столица страны, которой нет, — Курдистана. Страны людей, готовых с оружием в руках бороться за ее появление на карте.

Еще несколько лет назад большой бизнес обходил этот город стороной. Но с тех пор как курды перестали подкладывать бомбы, а армия — обстреливать близлежащие села, предприимчивые бизнесмены добрались и сюда. В городе миллион жителей. Главной пешеходной улицы не постыдился бы ни один европейский город. Современные магазины, дорогие рестораны. С каждым месяцем их становится все больше — демон потребления обосновался в Диярбакыре навсегда.

И только пожилые мужчины с бородами патриархов не принимают в этом участия. Они сидят в тени деревьев возле мечетей и сетуют. Они не любят телевидения, мобильных телефонов, джинсов, коротких юбок, школ и газет. Не любят ничего, что вносит сумятицу в их размеренную жизнь. И ничего, что подвергает сомнению их извечные принципы.

3. Каждый год на востоке Турции находят убитыми несколько десятков молодых девушек. Многие погибают при невыясненных или странных обстоятельствах. Это жертвы убийств в защиту чести семьи — традиции, которая велит родственникам убивать женщин, запятнавших честь рода.

Айше Гёккан, журналистка курдского телевидения, пишет книгу об убийствах чести:

— Здесь культура основана на доминировании мужчин. За любой попыткой сопротивления неминуемо следует расплата.

Айше Фиген Зейбек представляет организацию "Камер", борющуюся с насилием в семьях:

— Этой неписаной традиции несколько тысяч лет. Границы ее размыты. Порой прощается даже супружеская измена. При этом можно умереть за одно лишь желание носить джинсы.

— Что-что?

— Погибают девушки, которые хотят быть независимыми. В последние годы нужда заставила немало семей перебраться из деревень в Диярбакыр. Для многих это как перенестись из Средневековья в современность. Сильнейший шок прежде всего для молодых девушек.

— Почему?

— Они оказываются в центре глобальной деревни. Мобильные телефоны, Интернет, MTV. Они видят ровесниц, которым позволено выходить из дома без сопровождения мужчины. Которые могут красиво одеваться, а не ходить замотанными в платок и носить шаровары. Которые могут встречаться с парнями до свадьбы. И вчерашние селянки хотят жить, как они.

Их отцы тоже в растерянности. Уследить за дочерью в деревне просто. В городе — Аллах знает, что ей может

взбрести в голову. А дочь, вместо того чтобы сидеть дома, как ее мать, бабка и прабабка, приходит и говорит: хочу в кино, хочу пойти погулять, хочу новые туфли. Чаще всего гибнут самые лучшие девушки, самые открытые, самые смелые.

В тот день, когда я смотрел из самолета на Месопотамию, в Шанурфе отец убил дочь. Почему? Потому что она отправила на радио эсэмэску с поздравлениями своему парню. В эфире прозвучали ее имя и фамилия. Отец решил, что она уже лишилась невинности.

Двумя неделями ранее в городке Силван муж убил жену. Родным сказал, что на момент заключения брака она не была девственницей. Родители признали, что он поступил правильно.

4. Когда Абдулла рвался к Хатидже, в ста километрах от них разыгрывалась другая драма. В деревне Ялым, неподалеку от Мардина — красивейшей древней крепости, тридцатипятилетнюю Шемсе Аллак изнасиловал пятидесятипятилетний мужчина.

Люди говорят, что Шемсе была немного не в себе. Хозяин магазина в Мардине прямо говорит, что она была умственно отсталая.

Но, возможно, речь идет о другом виде безумия. Хорошо знавшая Шемсе мастерица, учившая ее ткать, говорит, что та не хотела выходить замуж. Поэтому односельчане сочли ее ненормальной.

Насильника звали Халил Аджил. У него была жена и двое детей. Он жил на окраине деревни. За его домом начинались поля, усыпанные камнями.

Шемсе жила с отцом, матерью и братьями ближе к центру, у дороги, ведущей к мечети. Каждый день, возвращаясь с поля, она проходила мимо дома Халила. Злые языки говорят, что Халил ее не насиловал. Что Шемсе давно с ним спала, а байку про изнасилование выдумала, узнав, что беременна. Но кроме сплетен ничто не подтверждает этой версии — ни следствие, проведенное полицией, ни женские организации.

Неизвестно, нравилась ли Шемсе Халилу. Одни говорят, что он был давно в нее влюблен. Другие, что он воспользовался ею, думая, что ему все сойдет с рук. Мол, даже если Шемсе расскажет о насилии, никто не поверит сумасшедшей.

Когда Шемсе забеременела, ее родные пришли к Халилу и сказали: "Либо ты на ней женишься, либо мы убьем и ее, и тебя". Мужчина уже был женат. Но ему предложили мусульманский брак.

В присутствии государственного чиновника можно взять в жены только одну женщину. В присутствии слуги божьего, имама, — двух или трех.

Халил готов был согласиться, но семья Шемсе потребовала несколько тысяч турецких лир в придачу. У Халила столько не было. Братьям пришлось уйти ни с чем.

Но и они, и Халил знали, что этим дело не кончится. Любящая семья всегда защищает честь своих дочерей.

5. Корни убийств чести отыскать невозможно. Скорее всего, такие убийства связаны с племенными традициями кочевников. Отец мог получить за дочь выкуп, только если та была девственницей. Если нет, муж отсылал ее обратно к родителям. Мало того, что она позорила семью, так еще приходилось ее содержать. Для кочевников количество голодных ртов в семье было жизненно важно. Выкуп тоже. Вероятно, говорят ученые, именно поэтому кочевники начали убивать своих дочерей.

Убивали также женщин, желающих развестись, ведь в этом случае приходилось возвращать выкуп. Убивали и тех, кто не хотел выходить замуж за избранника родителей.

Айше Фиген Зейбек из организации "Камер":

— Трагическая смерть Шемсе Аллак потрясла всю Турцию. Над ее могилой мы, довольно дерзко, озвучили нашу программу. Каждой женщине, которая к нам обратится, мы гарантируем жизнь.

— И чего удалось добиться?

— Начиная с 2003 года мы спасли почти 150 девушек. Если семья твердо намерена совершить убийство, мы ищем девушке убежище в другом городе. Отправляем ее туда и помогаем начать новую жизнь. Вся информация держится в строгом секрете, поскольку некоторые кланы обладают большими средствами и возможностями. Два года назад дочь одного из старейшин убежала с парнем. За ней гнались на 20 машинах. Искали во всех больших городах. Нашли, но она успела сбежать от убийцы через окно, и с тех пор никто не знает, что с ней.

— Как вы узнаёте, насколько серьезно настроена семья?

— Среди нас есть психолог. Он оценивает, можно ли доверять родственникам, если они обещают не убивать.

— А они обещают?

— Это сложный процесс. Нельзя просто прийти к ним домой и сказать: "Я знаю, что вы собираетесь убить вашу дочь. Не делайте этого!" Сначала мы собираем информацию. Если семья религиозная, с нами идет имам. Если отец работает на фабрике, просим директора помочь. Как-то раз нам помогал врач, лечивший бабушку. В другой раз из Анкары позвонил министр, приходившийся семье родственником. Все говорят одно: "Не нужно убивать! Есть и другие пути решения".

— И как реагируют семьи?

— Несколько дней назад я была в Вираншехире, маленькой деревеньке под Шанлыурфой. Семья велела девушке совершить самоубийство. Дядя прислал эсэмэску: "Либо ты покончишь с собой, либо умрешь в муках". Почему? Потому что у нее в школе был парень, и он подвозил ее на машине. Для деревни это немыслимо.

— И что?

— Я всегда очень странно себя чувствую, когда приходится торговаться с семьей за жизнь их дочери. Но у меня уже есть свои приемы. Говорю, что я тоже местная. Что у моей дочери тоже есть парень, и я не собираюсь ее из-за этого убивать. Показываю фотографии

в телефоне. Рассказываю, что у дочки способности к математике, а вот с турецким дела идут не очень. В тот раз отец попался на мою удочку. Начал жаловаться, что его дочери приходится учить турецкий. Что все из-за этой школы, мол, зачем курдам сдался турецкий.

Я всегда пытаюсь пробудить в них родительские чувства. Спрашиваю, сколько весила дочка при рождении. Чем болела. Какое первое слово сказала: мама или папа. Если это удается, полдела сделано.

— А в этот раз? Удалось?

— Обещали ее не трогать. Дочь поклялась возвращаться из школы со старшим братом. Хотя риск есть всегда. В прошлом году был громкий случай: муж одной женщины, Айшегюль Алпаслан, в присутствии полицейских обещал, что в жизни ее не ударит. Неделю спустя он забил ее до смерти.

6. Что такое честь? Такой вопрос задала жителям Восточной Турции профессор Якын Эртюрк из группы добровольцев, составляющих отчет для Программы развития ООН (ПРООН). Отчет под названием "Динамика убийств чести в Турции" — наиболее полное исследование на эту тему.

1. "Честь это то, ради чего все мы живем. Без нее жизнь не имеет смысла", — молодая девушка из Шанлыурфы.

2. "Твоя честь — это твоя жена", — мужчина, 25 лет, Стамбул. Говоря "жена", он употребил слово "helalin" (тот, на кого ты имеешь право).

3. "Старые люди говорят, что у мужчины есть три святые вещи — конь, женщина и оружие. Честь — это обязанность женщины. Если она хочет тебе изменить, значит, ты потерял свое достоинство", — мужчина, 39 лет, Адана.

4. "Честь для меня все... Будь у меня жена, она была бы моей честью. Моя сестра — это тоже моя честь, как и мои родственницы — дочки моего дяди и моей тети. Все, что происходит со мной и моей семьей, — это моя честь", — мужчина, 24 года, Батман.

5. "Честная женщина должна быть привязана к дому и к своему мужу. Она не должна делать ничего, что могло бы породить сплетни. Не должна рассказывать о том, что происходит в ее доме. Она не может пойти к матери и сказать: 'Мама, муж меня бьет'. Или: 'Я хочу развестись'", — женщина, 25 лет, Батман.

Но лучше всего сущность понятия "честь" передал молодой человек из Стамбула: "Когда я слышу 'честь', мне в голову приходит только женщина. Ничего больше".

Либеральный журналист из Анкары:

— По их мнению, честь — у женщины между ног.

Профессор Эртюрк отмечает, что самые ярые радикалы, ратующие за наказание женщин, — необразованные мужчины в возрасте 16—20 лет.

7. Все начинается со сплетни. Об этом мне рассказывает курдский режиссер Мехмет Сайт Алпаслан, автор фильма и пьесы о смерти Шемсе Аллак.

Сплетня возникает внезапно. Ее может породить про-

стой взгляд или случайная улыбка, когда мимо проходит мужчина. Но иногда повод и не нужен. Достаточно одному начать, а другому продолжить.

Вначале сплетня похожа на ястреба: кружит высоко над головами. С такой высоты она не причинит вреда. Иногда она улетает, и опасность миновала.

Но иногда она снижается. Идет к людям, питается их желчью, обидами, нищетой и завистью. Дурные люди кормят ее, пока она не наберется сил, чтобы войти в деревню.

Она входит как охотник. Жертва еще ни о чем не подозревает, но приговор уже вынесен. Сплетня, проклятие, кинжал. Убийца заточил нож.

Неважно, сколько в сплетне правды. Никому и в голову не придет проверять. Важно, что она порочит.

Сплетня гораздо важнее правды. Правда не приносит свободы. Важно только то, что говорят люди.

Мне нелегко, зная такое, гулять по Диярбакыру. Я сворачиваю в боковые улочки. Здесь у детей дырявая обувь, а их матери целыми днями просиживают на крыльце и болтают. Ничего не происходит. И вдруг на горизонте возникает зеленое пятно. Оно растет, но не обретает знакомых очертаний. Поспешно подыскивается нужное слово. И находится: yabanci, иностранец.

Сначала меня окружает толпа детей. Что-то говорят, галдят. Просят монетку, конфеты, но все это скорее для смеха, чем с надеждой, что им и в самом деле что-то перепадет. Ведь наконец хоть что-то происходит. Хоть что-то приходит на смену скуке.

Их матери совсем молоденькие, им нет еще и двадцати. Они улыбаются. Им тоже скучно. Они бы охотно поболтали. Но в этом городе мужчина должен заговорить первым.

Надо ли мне ответить на улыбку? Хотелось бы. Я люблю такие встречи. Но именно так и рождается сплетня.

Потом кто-то обронит, что одна из женщин слишком часто или слишком широко мне улыбалась. Или что смотрела на меня на пять секунд дольше, чем следовало. Сколь абсурдным ни был бы упрек, он может стоить кому-то жизни.

Возможно, я преувеличиваю, но у меня такое чувство, что моя улыбка может убить. Я опускаю глаза и иду своей дорогой.

8. Сплетня кружила над головой Хатидже, как ястреб. В центре каждой турецкой деревни есть маленькая чайная, где мужчины проводят целые дни. Абдулла шепнул нескольким знакомым, что жена Ахмета шлюха.

— Не успел он уехать, как она меня позвала! Я с ней спал. И сегодня буду спать!

В деревнях, где неделями ничего не происходит, мужчины любят такие истории. В регионах, где добродетель важнее жизни, люди с особым любопытством слушают истории о грешниках.

Приятели Ахмета причмокивали с восхищением: apkin seni, abi! Ну ты мужик, брат!

Затем они рассказали об этом своим знакомым. А те — своим.

Через несколько недель в деревне только об этом и говорили.

Все это время ничего не подозревающей Хатидже приходилось каждую ночь баррикадировать двери, чтобы не дать Абдулле войти в ее комнату.

9. Нигде в мире братья так не любят своих сестер, дети родителей, а родители детей, — с гордостью говорят о себе турецкие курды. Но как же тогда отцы могут убивать своих дочерей, а мужья жен?

Из любви.

Айтекин Сыыр, профессор психиатрии из университета в Диярбакыре, проводил на эту тему исследования. Он посетил примерно полсотни исполнителей убийств чести, отбывающих срок в тюрьме. Большинству из них предстоит просидеть за решеткой до конца жизни. Всем он задавал одни и те же вопросы.

Профессор Сыыр:

— Убийство чести — это не преступление, совершенное в состоянии аффекта, как бывает, когда муж застает жену с другим, хватается за пистолет и стреляет. Это хорошо обдуманный поступок. Сначала собираются старейшины рода, поскольку все это происходит в клановых структурах. Обсуждают случившееся и принимают решение. Затем назначают исполнителя. Отец или муж часто не хотят соглашаться с приговором. Но со старейшинами не спорят — хуже будет. Бывало, что муж, не желающий убивать жену, погибал вместе с ней.

— Кого обычно назначают убийцей?

— Кого-то из близких родственников. Для большинства это первое убийство в жизни. Часто после содеянного они пребывают в состоянии шока.

— Что говорят?

— Что поступили правильно. Что за поругание чести семьи наказание одно — смерть. Все члены сообщества будут убеждать убийц в их правоте. Как защитники чести, они даже в тюремной иерархии займут высокое положение. Один из вопросов в нашей анкете звучал так: "Что бы вы сегодня сказали своей жене/сестре/дочери?" Большинство на этом теряло самообладание. До того они говорили об убитой "эта женщина". Теперь нужно было обратиться к ней лично. Они отвечали: "Сказал бы, что люблю ее. Что поступил так, как должен был поступить. И что знаю, что она меня понимает".

— Как они объясняют свой поступок?

— Я разговаривал с братом, убившим сестру, у которой был дружок в лицее. Обычный парень, мечтал стать шофером. Спрашиваю, действительно ли наказанием за школьный роман должна быть смерть. Он на это: "Она запятнала мою честь. Для меня честь превыше всего. Честь — это все, что у меня есть". Думаю, что сегодня это главная причина убийств. В деревнях, где нет работы, денег и будущего, людям остается только честь. Те, кому повезло — у кого есть бизнес, деньги, перспективы, — редко убивают.

10. Халил уже понимал, что изнасилование не сойдет ему с рук. Что на карту поставлена жизнь. Он обратился за помо-

щью к имаму. Одни говорят, что имам отказал. Другие, что имам сначала отказал, а затем послал за Халилом и братьями Шемсе и старался их помирить.

Тем временем сплетня набиралась сил в домах крестьян из Ялыма. Люди говорили, что Шемсе сама спровоцировала Халила. Что незамужняя женщина ее возраста наверняка шлюха. А раз она шлюха, ее нужно наказать.

Сплетня уже стала сильной, как лев. Семья Шемсе на тайном собрании решила, что девушка должна умереть. По крайней мере, так сегодня говорят в Ялыме.

Но Халил поступил так, как не ожидал никто.

11. Убийства чести совершают почти исключительно мусульмане. Как это соотносится с исламом? Велит ли Коран убивать неверных жен?

Я ищу ответа в профсоюзе имамов округа Диярбакыр. Высокий, как тополь, глава профсоюза Захит Гифкуран объясняет, что тот, кто подозревает жену в измене, должен отправиться домой с четырьмя свидетелями-мужчинами. Если они застигнут любовников на месте преступления, суд назначит женщине пожизненный домашний арест.

— В Коране нет ни слова о наказании смертью, — говорит имам Гифкуран. Больше ему добавить нечего, поэтому наш разговор подходит к концу. Только старенький имам, сидящий в углу зала, хочет еще что-то сказать. Его зовут Сулейман Базнабаз, и почти всю свою жизнь он прослужил в маленькой деревушке неподалеку от Диярбакыра.

— Каждая женщина знает, что может прийти ко мне, если почувствует угрозу, — говорит он. — Если ей грозит опасность, я стараюсь поговорить с ее семьей. Иногда достаточно вмешательства кого-нибудь трезвомыслящего, чтобы предотвратить преступление. Если семья религиозна, то меня обязательно послушаются.

— Что ходжа имеет в виду?

— Приведу пример. Девушка сбежала с молодым человеком. "Убьем ее!" — кричит отец. А я спрашиваю: "А почему бы не выдать ее за него замуж?! Его семья даст вам много денег и немного земли. Честь спасена, а через несколько лет все об этом забудут. Ваш сын не сядет в тюрьму за убийство". И они соглашаются. Другой пример: юноша использовал девушку без ее согласия.

— Изнасиловал?

— Так говорится. Ей было тринадцать лет, семья хотела ее уберечь, но об этом судачила уже вся деревня. Говорю: "Поженитe их! Мальчик не сядет в тюрьму. Девушка выйдет из этой истории с честью".

— Замуж? За насильника?!

— Сынок, я ей жизнь спас. И знаешь, что было дальше?

— Что, ходжа?

— Они друг друга полюбили. Она приходила ко мне и говорила: "Ходжа, я так счастлива". Она уже забыла о том, что произошло.

— А бывает, что посредничество не удается?

— Был такой случай. Девушку использовал сын дяди, она забеременела. Я позвал ее

жить к себе, пока родственники не договорятся. Она полгода жила со мной и моей женой. Я сказал семье, что разрешаю ему взять вторую жену. Нужно только условиться о выкупе. Юноша готов был на ней жениться. Он был из очень богатой семьи. Его отец мог за все заплатить.

— И что произошло?

— Первая жена устроила страшный скандал. Изуродовала себе лицо и сказала, что скорее умрет. Семья девушки не хотела ждать, пока родится ребенок. Они ворвались в мой дом, похитили ее и утопили.

12. Старейшины семьи Хатидже собрались поговорить о слухах, распускаемых Абдуллой. Решили, что девушка должна умереть. Впустила она его к себе или нет, об этом уже слишком много толкуют.

Ахмет был в армии. Никто ни о чем ему не сообщал. Убийцей назначили брата Хатидже, Метина.

Метин пришел рано утром, когда Хатидже доила коров. Он подошел сзади и хотел вонзить нож ей в спину. Но не смог. Ему было всего семнадцать, скотину резать уже доводилось, но убить человека оказалось не так-то просто.

Хатидже обернулась и увидела брата с ножом. Она не знала, почему он хочет ее убить. Но женщинам в этом регионе не обязательно знать причину. Подобные картины они видят с детства. Хатидже понимала, что если ей вынесли приговор, то рано или поздно приведут его в исполнение. Она бросилась бежать.

Бежала что было сил до Диярбакыра. Восемь километров. Сама не знает, как туда добралась. В городе она пошла в полицию.

Полицейский спросил, что именно произошло.

— Мой брат хотел меня убить.

— С чего вы взяли?

— Он стоял надо мной с ножом.

— Может, он в этот момент проходил мимо, и ему зачем-то нужен был нож?

— Нет, он пришел за мной.

— В чем вы провинились?

— Я не знаю.

— Если вы ничего дурного не сделали, то убивать вас никто не станет, — усмехнулся полицейский и велел ей возвращаться домой.

К счастью, Хатидже слышала раньше об организации "Камер". Она решила ее найти.

Это было не просто. Она никогда не ходила по городу одна. Ей никогда не доводилось искать улицу, а уж тем более организацию. Расспросы прохожих могли для нее плохо кончиться. Деревенская девушка одна на улицах города? Это странно.

Но ей повезло. В приемной добровольцы выслушали ее рассказ. Подыскали ей убежище в приюте для женщин и обещали помочь.

13. Еще недавно убийства чести считались делом семейным, в которое не следует вмешиваться. Но по всей Турции прошло несколько громких кампаний. Плакаты появились даже в самых маленьких деревушках. Помимо "Камер"

в одном только Диярбакыре возникло около тридцати организаций, помогающих женщинам. Сегодня почти каждая знает, куда обратиться в случае необходимости.

Правительство пытается заставить семьи посылать дочерей в школы. Жертвами убийств чести становятся прежде всего необразованные девушки. Те, кому удалось получить школьное образование, сумеют в нужный момент найти помощь. Акции "Все девочки — в школы" поддерживали даже имамы.

Но семьи, которые сочли себя опозоренными, придумали другие способы очищения.

Профессор Айтекин Сыыр:

— Мы заметили, что в нашем регионе угрожающе возрастает число самоубийств среди молодых девушек. Во всем мире чаще кончают с собой юноши. А у нас с некоторых пор наоборот. Мы стали внимательно присматриваться к таким случаям. В Мардине застрелилась молодая женщина. Вскоре после начала расследования выяснилось, что она была левша, а выстрел произведен с правой стороны. Позже оказалось, что ее убил муж. В другом случае женщина покончила с собой выстрелом в затылок.

— Как это?

— Женщин убивали, а затем объявляли, что это самоубийство. Или несчастный случай. Под городом Ван трактор задавил девушку. "Несчастный случай", — твердила семья. А когда произвели вскрытие, оказалось, что трактор проехал по ней раз сорок.

Айше Гёккан изучила все случаи самоубийств молодых девушек из Диярбакыра в 2006 году:

— Был такой случай. Молодая жена, прежде чем ее убили, несколько раз обращалась в полицию. Говорила: "Муж хочет меня убить". А ее отправляли домой. Через неделю она была уже мертва. Смотрю в бумаги: самоубийство. Полиции так удобнее, потому что они сами виноваты. Проблема в том, что полицейские — из той же среды. Они носят мундиры, но в головах у них то же, что у мужа и брата такой девушки.

Айше Фиген Зейбек из организации "Камер":

— Противники вхождения Турции в Европейский союз говорят: "Они убивают девушек. Не позволим им присоединиться к ЕС". А я говорю: "Ничто не помогло нам так, как перспектива членства в ЕС. Это спасло жизнь десяткам женщин! Чтобы справиться с этой проблемой, мы должны войти в Евросоюз!"

14. Шемсе убежала к своему насильнику Халилу. Она знала, что родные будут пытаться ее убить.

Одни говорят, что Халил ее принял, так как у него не было иного выхода. Другие, что он ее действительно любил. Он спрятал Шемсе в подвале, а ее братьям сказал, что не знает, где она. Придумал, как им обоим спастись. Ночью он вывел Шемсе в поле. Хотел обойти деревню и добраться до шоссе. Там поймать машину или сесть на автобус до Мардина. Что потом собирал-

ся делать Халил, мы не узнаем уже никогда.

Одни говорят, что деревню разбудил лай собаки. Другие, что кто-то увидел тени, крадущиеся по полю. Третьи, что братья Шемсе прятались возле дома Халила. Что-то из этого правда, потому что внезапно, посреди ночи, в поле появилась толпа людей. Сколько их было, не удалось выяснить даже полиции. Неизвестно, и кто первым бросил камень. Известно только, что собралось от 12 до 18 человек. Что камни бросали мужчины и пожилые женщины, а среди них вертелись дети.

Халил попытался заслонить Шемсе собственным телом. Он погиб первым.

Когда ярость остыла, люди вернулись в свои постели.

Утром солдатский патруль нашел посреди поля два тела, заваленные грудой камней.

15. Шемсе Аллак не умерла в поле. Когда солдаты откопали ее тело, она была еще жива. Она потеряла ребенка, была без сознания, но дышала. Ее отвезли в больницу в Диярбакыр. Она так и не очнулась. Хоронили ее члены женских организаций. На похоронах не было никого из родственников.

Деревня будто сговорилась молчать. Поэтому так и не удалось найти виновных. Братья Шемсе по-прежнему живут в Ялыме. Жена Халила только в прошлом году переехала в Стамбул.

Через три года после того побивания камнями я еду в Ялым поговорить с жителями. Деревня лежит в предместьях миллионного города Мардина. При въезде гостей встречает большой голубь с оливковой ветвью в клюве.

Людям мы говорим, что нас прислал Евросоюз и что мы изучаем положение курдов. Я предпочитаю не рисковать, нескольких журналистов уже прогнали отсюда взашей. А с Евросоюзом здесь связаны большие надежды.

Мужчины приглашают нас на чай. У всех иссиня-черные пышные усы. Мы сидим на главной сельской площади и слушаем. В Ялыме из 120 жителей работают от силы 30. Часть только летом, во время полевых работ. Но большинство круглый год проводит в чайной.

— Чем вы обычно занимаетесь? — спрашиваю я самых молодых, с виду им лет по тридцать.

— Ну, сидим. Чай пьем...

По-турецки они говорят плохо, поэтому моя переводчица переходит на курдский. Они оживляются: все жители деревни — курды. Но у них даже нет возможности смотреть курдское телевидение, поскольку администрация Мардина блокирует сигнал спутниковых антенн.

— Мы понимаем по-турецки. Но наши жены — нет, — говорят они.

— Какие еще проблемы у ваших жен? — спрашиваю я.

— Нет медицинского обслуживания. Врачи не говорят по-курдски. Даже названия лекарств только на турецком.

— Ни в одном учреждении нельзя объясниться...

— А насилие? Случается? — спрашиваю я примерно деся-

терых мужей-курдов. Согласно статистике в Турции именно они чаще всего бьют своих жен.

Минутное замешательство.

— То, что происходит у людей дома, нас не касается, — отрезает один из тех, что постарше.

Я набираюсь храбрости и спрашиваю, изменилось ли что-нибудь в жизни деревни после трагического события трехлетней давности.

Они совещаются, о каком событии может идти речь. Решают, что о побивании камнями.

— Нет, ничего в деревне после этого не изменилось, — коротко отвечает пожилой мужчина.

Так же считает учительница Шемсе, у которой ткацкая мастерская на окраине деревни. Разговор с нами требует от нее огромного мужества. Все видели, что мы вошли в ее мастерскую.

— У меня в мастерской работают только незамужние девушки. Работающая жена — позор для мужа. Девушкам от десяти до шестнадцати лет. На следующий день после убийства Шемсе я решила, что для них это серьезная травма. И что я должна с ними об этом поговорить.

— И что?

— Я осторожно спросила: "Вы, наверное, потрясены?" А мои девочки мне в ответ: "Эта сука получила по заслугам!"

— Почему они так думают?

— Потому что она была одинокой. Потому что, раз он ее изнасиловал, то наверняка она сама его спровоцировала. Мои ученицы с малых лет привыкли так думать.

— После смерти Шемсе что-нибудь изменилось?

— Люди стали более замкнутыми. Вся Турция говорила о Ялыме как о деревне убийц. Это было первое побивание камнями за несколько десятилетий. Пресса писала, что у всех у нас руки в крови.

16. Когда Ахмет вернулся из армии, Хатидже попросила девушек-добровольцев из "Камер" поговорить с ним.

Ахмет не желал разговаривать. Семья сказала ему, что Хатидже сбежала с другим мужчиной.

Когда он узнал, что все это время она была в убежище для женщин, сказал лишь: "Пусть возвращается".

И Хатидже вернулась.

Отец, мать и брат делали вид, будто ее не знают. Они не сомневались, что она переспала с Абдуллой. Ее никто даже не спросил, как все было на самом деле.

Родители жены и старейшины клана велели Ахмету убить жену. Но Ахмет поверил Хатидже. Он взбунтовался.

И превратился в человека без чести. Пекарь перестал продавать ему хлеб, хозяин чайной перестал его замечать, а люди — отвечать на его приветствие.

— Вроде ты есть, а вроде тебя и нет, — говорит сегодня Ахмет. — Как-то раз я вошел в чайную и сам налил себе чаю. Подошел работник и вылил мне его на ноги. Старые женщины плевали, завидев меня. За хлебом приходилось ходить в город, восемь километров в одну сторону. А братья решили

убить меня вместе с моей женой.

В это же время Абдулла почти каждый день названивал Хатидже и говорил, что она будет его — если не на этом, то на том свете.

17. Ахмет и Хатидже решили не ждать развития событий. Женские организации нашли им жилье в Диярбакыре и дали взаймы немного денег, но Ахмет сумел быстро вернуть долг. Он очень работящий.

Через несколько дней они поехали в деревню забрать последние вещи. Хатидже взяла у кого-то диктофон. Ждала звонка Абдуллы.

Он позвонил. Рассказывал, в каких позах он ее поимеет. Говорил, что она шлюха и каждый может ее трахнуть.

Хатидже решилась:

— Зачем ты всем врешь, что спал со мной? Я ни разу не впустила тебя в свою комнату!

Абдулла рассмеялся:

— И что с того? Тебя убьют, а я останусь жить. И если захочу, твоего отца и мать тоже убьют.

На следующий день Хатидже скопировала пленку с записью. Ахмет отправил копии своим родителям и родителям жены.

Через несколько дней те позвонили им на мобильный и попросили прощения. Уговаривали вернуться, мол, теперь все стало ясно.

Но Хатидже и Ахмет уже не хотели жить в родной деревне. С тех пор ни один из них не разговаривал со своими родителями.

Только Абдулла живет там до сих пор.

18. Девушка в белом платье стоит на сцене. С грустью смотрит на сидящих в зале и на окружающие ее фигуры. Один за одним те выходят на середину, и каждый произносит свою реплику.

Девушка в белом — Шемсе Аллак. Она вернулась из загробного мира и слушает своих преследователей.

— Доченька, почему я не спасла тебя?! — плачет мать. — Поверь, я хотела! Не позволили наши обычаи. Не позволил страх за собственную жизнь!

— Сестра, не думай, что я плохой человек, — кается брат. — Я убил тебя, потому что так было нужно. Потому что мы были слишком бедны, чтобы заплатить за нашу честь. Даже в тюрьме все увидели, что у меня доброе сердце. Потому и выпустили раньше срока...

Брата-убийцу сыграл режиссер и сценарист Мехмет Саит Алпаслан. Он объехал со своей труппой всю Восточную Турцию. Пьесу о Шемсе часто играли в маленьких городках.

— Зрители делятся на два лагеря. Одни аплодируют, когда мать кричит: "Убейте ее! Она заслужила смерть!" Есть и такие, что рукоплещут и свистят, когда ее забрасывают камнями. Но главное, что абсолютное большинство аплодирует после слов имама: "Позвольте им жить. Аллах запрещает убивать".

Байбайбуш

Дело было так: обед, смотр войск, беседа с военным руко-

водством. 14 декабря 2008 года Джордж Буш прощался с Ираком. Под конец он вышел к журналистам. Отвечал на вопросы, широко улыбался. В общем, очередное скучное официальное мероприятие.

Вдруг один из журналистов снял ботинок и запустил им в Буша.

— Это тебе, собака! — крикнул он. — От иракских вдов и сирот! — И метнул вдогонку второй ботинок.

Бушу удалось увернуться. Его агенты в суматохе чуть не затоптали пресс-секретаря Белого дома. Без всякой на то нужды. Ведь у террориста было только две ноги. Иракские охранники повалили его на землю.

Контрагент из Мосула

Фургон для доставки товара подбрасывало на ухабах на турецком побережье Черного моря. Водитель-курд курил сигарету за сигаретой, чтоб не заснуть. Он завидовал шефу, который дремал, прислонившись головой к оконному стеклу.

Обоих оживил телефонный звонок: + 964... Иракский номер. Рамазан Байдан, мужчина лет тридцати, с трехдневной щетиной на щеках, нажал зеленую кнопку ответа.

Полгода спустя на ломаном польском он рассказывает мне, что этого телефонного звонка ждал всю жизнь. Всегда чувствовал, что когда-нибудь ему позвонят, и это перевернет его судьбу.

Человеком, перевернувшим судьбу Рамазана, стал Абдулла, его контрагент из Мосула.

— Рамазан! Ты новости смотрел?

Да когда ему! Весь день развозил товар по магазинам на побережье.

— В Багдаде один парень бросил ботинком в Буша...

— Masallah! Прекрасно! Попал?

— Нет.

— Тогда чего ты меня дергаешь понапрасну?

— Рамазан! По телевизору только об этом и говорят. Газеты будут писать только об этом!

— И что с того?

— Рамазан! Это был ТВОЙ ботинок!

Подошвой больнее всего

Имам Халил Юсуф не знает, что делать с ботинком, полетевшим в Буша. Он разглядывает его со всех сторон. Кладет на пол и снова берет в руки.

— Я купил их машинально. Их шьют все на той же фабрике. Посмотри, даже назвали... помоги, здесь по-английски... "Bye bye Bush". Вот-вот, байбайбуш. Будь я на месте того парня, я бы тоже кинул.

Мы сидим дома у имама, рядом с мечетью в азиатской части Стамбула, и пьем чай. Имам — ему под шестьдесят, седая борода, на лбу две глубокие морщины — размышляет вслух:

— Я бы бросил. Но стыжусь этого. Ислам — религия любви. Если тебя кто-то обидел, ты должен подставить другую щеку. Но если взглянуть иначе, Буш — убийца, и иракца

можно только похвалить. Он метил с расчетом попасть подошвой. — Мы оба смотрим на толстую подошву байбайбуша. — У нас это считается сильным оскорблением, — говорит имам, но ему не удается скрыть симпатию к метателю. — Здесь дело не в ботинке. И даже не в Буше, — добавляет он и расчесывает бороду пальцами. — Здесь дело в вас. В людях скопилось много злости по отношению к Западу. К Америке, к Евросоюзу, к вам. Я содержу приют для наркоманов. Много лет езжу на конференции по всей Европе. И всегда говорю: "Мы живем иначе, но проблемы у нас те же: как обеспечить детям лучшее будущее, старикам достойную старость, миру — спокойствие".

Но для вас спокойная жизнь — это жизнь по вашим правилам. Вы говорите, что ислам — религия отсталая, что наша демократия слабая, а традиции плохие. Вы требуете от нас перемен, ибо только вам дано знать, как жить в XXI веке. Но над нашими попытками измениться — ведь со времен Ататюрка мы ничем другим не занимаемся — вы лишь насмехаетесь. Вот, например, у меня борода и мусульманский головной убор. Стоит мне выйти в город, вы кидаетесь меня фотографировать! Точно какую-нибудь обезьяну!

— Ходжа, это любопытство, а не насмешки, — я пытаюсь смягчить его гнев.

— Нет, Витольд. Здесь нечто большее. Моя страна любой ценой хочет стать западной и современной. Мы готовы на все, лишь бы вам понравиться. Полвека назад послали войска в Корею, чтобы американцы с нами считались. И что получили взамен? Ничего! Даже визы для нас не отменили. Мы носим джинсы, снимаем фильмы наподобие ваших. А вы по-прежнему приезжаете и воротите носы.

— Не каждый...

— Витольд, с тобой невозможно разговаривать. Лучше не нервируй меня, а поди поговори с теми, кто покупает эти... байбайбуши.

Гордость Ирака

Исполнителем ботиночного покушения был журналист Мунтадар аль-Зейди. Холост, детей нет, двадцать девять лет.

— Какой президент, такое и покушение, — сказал на следующий день один турецкий сатирик.

— Думаю, он не вынес улыбки этого придурка, — говорит мне по телефону Диргам аль-Зейди, брат журналиста. — Мунтадар третий год работал на телеканале "Аль-Багдадиа". Вначале я был у него оператором. Каждый день мы показывали, как живут самые бедные иракцы: вдовы, сироты, калеки. Война оставила страшные следы. Ваше телевидение этого не показывает. У вас цензура, потому что это ваша война и ваша вина. Кроме того, ваши журналисты боятся заглядывать в такие места. Мунтадар не боялся. Он принимал близко к сердцу то, что видел. Наш двоюродный брат погиб во время теракта. Каждая семья потеряла кого-то из близких. Бросил ботинок? Я от него такого не ждал. Скорее всего, это

было спонтанное решение. Но я горжусь братом.

Гордились почти все иракцы. Когда оказалось, что аль-Зейди грозит больше десяти лет тюрьмы, тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить солидарность с Мунтадаром-метателем. Они несли ботинки: в руках и привязанные к палкам. Приклеивали их к плакатам с изображением Буша и скандировали: "Американская собака!"

Рамазан Байдан, как только пришел в себя после разговора с Багдадом, поехал в ближайшую гостиницу. В каждых новостях (а гостиничное телевидение ловило турецкие, грузинские и — пусть и нечетко — иракские каналы) показывали его ботинок.

— Я плакал, — говорит мне Байдан полгода спустя. — Я сам спроектировал эту модель и первые пять лет сам шил ботинки. Ведь мне за всем приходится следить самому. А теперь моим ботинком восхищается весь мир!

Но я понимал, что нужно действовать быстро. Уже на следующий день десять фабрик стали похваляться, что это их ботинки полетели в Буша. Две из Китая, одна из Сирии и по одной из Ливана и Ирака. Остальные из Турции, ведь мы производим больше всего одежды и обуви в регионе. Я увидел по иракскому телевидению какого-то идиота, который размахивал туфлей и кричал, что это она была в руках Мунтадара-метателя. Да я б его голыми руками придушил! Видно же, что байбайбуш летит медленно. Только потому Буш и сумел увернуться. Это был тяжелый ботинок, а не какая-то там свадебная туфелька.

Наши банки лучше ваших банков

В том, что байбайбуш никакая не туфелька, убедился Реджеп, владелец маленькой кондитерской.

— Я их надел на обрезание двоюродного брата. У меня ноги горели весь день. Невозможно было выдержать. Может, тот парень из Ирака тоже не выдержал при такой жаре? Снял, спрятать было некуда, вот он и кинул их в Буша, — шутит кондитер. И хвастается, что ему поступило уже несколько заказов на торт в форме ботинка. — С тех пор как выяснилось, что ботинки турецкие, все только об этом и говорят! Я тоже считаю, что все турецкое — лучшее. Турецкое и арабское. То есть исламское. Ты знаешь, что наши банки вообще не пострадали от кризиса? Точнее турецкие, которые во всем следуют за Западом, немножко пострадали. Но исламским, руководствующимся Кораном, живется все лучше и лучше.

И Реджеп рассказывает мне о банке, который дал ему кредит на развитие бизнеса.

— Коран запрещает зарабатывать на процентах. И правильно делает. Бедный всегда берет взаймы у богатого и всегда на этом теряет. Богатый богатеет. А бедный до конца своей жизни не может избавиться от долгов.

Посмотри, что делают ваши банки. Они дают тебе деньги, только если получат гаран-

тию, что ты их вернешь. Если твой бизнес прогорит, тебе придется продавать дом. Или почку.

Исламский банк предложил мне musareka, то есть соглашение, соответствующее законам ислама. Если кондитерская не будет приносить прибыль, теряем и я, и банк. Никто не станет таскать меня по судам, выбивать из меня долги. Нам обоим важно, чтобы все получилось. Банк дает деньги, консультирует, мы вместе составляем бизнес-план. И зарабатываем тоже вместе.

Если бы все банки так работали, не было бы кризиса. Но вся ваша культура держится на деньгах. Мусульманин всегда помнит о семье, друзьях. Он всегда делится с бедными.

Вы же хотите как можно больше получить для себя.

Мусульманин, если у него есть жилье и еда, благодарит Аллаха и считает себя счастливым человеком.

Вам на Западе для этого нужна еще машина. И вертолет. И последняя модель телефона.

Я так думаю. Но молодежь уже совсем другая. Моему сыну тридцать лет, и он проколол себе губу. Слушает дикую музыку и думает, болван, что он европеец.

Ботинки расходятся, как фисташки

Мировой центр заговора против Буша — так назвал фабрику Байдана один из турецких публицистов — находится на окраине Стамбула.

Из центра метрополии туда ехать почти час пригородным поездом. Или два часа на такси — пробки в городе с пятнадцатимиллионным населением заканчиваются только в Кючюкчекмедже, деревне, которую недавно поглотил стамбульский колосс. Здесь останавливались на отдых отряды янычар, отправлявшиеся завоевывать Европу. Войска Кара-Мустафы, шедшие на Вену, тоже устраивали привал в Кючюкчекмедже. По сей день жизнь здесь, вдалеке от мировых конфликтов, течет медленнее.

Секретарша с лицом, закрытым платком, предлагает кофе, чай или кола-турку — местный ответ кока-коле, которую по телевизору часто рекламируют голливудские актеры.

Через минуту появляется сам шеф.

— I am big boss Ramazan, — представляется он. Это все, что он может сказать по-английски. По-польски у него получается куда лучше. — Хороший ботинки, очень дешевый, — он указывает на товар, стоящий на полках. — Три года я ездил в Варшаву, на Стадион[1], — польские слова даются ему нелегко, поэтому он переходит на турецкий, и я узнаю, что модель 271, прежде чем полететь в Буша, скиталась с биг-боссом между Стадионом Десятилетия и рынка-

1. Стадион Десятилетия — один из крупнейших стадионов в Польше. В 1989–2007 гг. здесь располагался вещевой рынок, известный как ярмарка "Европа", один из самых больших базаров в мире. (*Прим. перев.*)

ми в Млаве, Гродзиско и Пясечно. — Больших денег я у вас не заработал, но люди были супер. Как и я, всего добивались сами. Было много курдов, прямо как дома. А еще были турки, болгары, русские, украинцы. Я перестал к вам ездить только в 2003-м, когда началась война в Ираке.

Ирак — моя самая большая удача. Все боялись там торговать. А я ездил по маленьким городам, иногда уже через неделю, после того как прекращались бои, и искал рынки сбыта. Я рассуждал так: война войной, но ходить в чем-то нужно. И оказался прав.

Другие только сейчас открывают этот рынок. А у меня уже есть контакты. Я продаю обувь в Турции, Ираке, Сирии, Иордании, России, Албании, Боснии... Дам вам адреса некоторых магазинов на базаре. Сами увидите. Ботинки расходятся, как иранские фисташки!

И мы отправляемся поговорить с покупателями. В первом магазине байбайбуши уже закончились.

— Мы продаем двести пар в неделю, — хвастается сын владельца.

Во втором магазине продавец начинает с антибушевской тирады:

— Надеюсь, что ночью ему снятся кошмары. Что он не может спать и что будет мучиться перед смертью. Он столько людей поубивал в Ираке, что гореть ему в аду, вместе с Гитлером и Сталиным. Вы из Польши? То есть ваши руки тоже в крови. Пусть хоть вашим детям будет стыдно за эту войну.

Пропускаем мимо ушей. Идем в третий магазин. Он находится в самом центре района Аксарай. Именно здесь во времена коммунизма польские челноки затоваривались кожаными куртками и джинсой. Может, где-то еще сохранился магазин под названием "Бонек". Но сегодня здесь безраздельно властвуют русские.

— Байбайбуши? Пожалуйста! Бежевые, черные, коричневые. Все с фирменной наклейкой и парой прощальных слов бывшему президенту, — нахваливает свой товар продавец. — Хотите поговорить с покупателями? Пожалуйста! О, вот наш постоянный клиент. Мехме-е-ет! Иди, скажи чего-нибудь газете!

Ваш король нам шнурки завязывал

— Соединенные Штаты по-турецки называются ABD, Amerika Birlesik Devletleri, — говорит Мехмет, и все в лавке внимательно прислушиваются к его словам. Мехмет продает на улице крендели, похожие на краковские прецели, которые здесь зовутся sumit. Среди торговцев он пользуется большим уважением.

У Мехмета нет сомнений в том, что сегодня ABD — самый важный игрок на мировой арене.

— Но когда-то мы сами были ABD. Правили всем миром: от Белграда до Мекки. Ты знаешь, Витольд, что мы дошли до самой Вены?

Я на секунду задумываюсь, стоит ли продолжать эту бо-

лезненную для турецкой гордости тему. Эх, была не была.

— Знаю. Наш король вас оттуда прогнал.

Мехмет смотрит на меня, как на одного из безумцев, слоняющихся рядом с мечетями.

— Витольд, ты в своем уме? Ваш король? Король ляхов? Да ему бы только турецким янычарам шнурки завязывать. — Мехмет сотрясается от смеха, а вместе с ним и продавец с покупателями, которых с каждой минутой становится все больше.

На сей раз задета моя национальная гордость.

— Но из-под Вены он вас прогнал!

Мехмет разводит руками.

— Мы сами себя прогнали. Один паша поссорился с другим. Их приспешники при дворе плели друг против друга интриги. Султан не смог их обуздать, и мы проиграли. Что-что, а ссориться мы умеем. Но когда мы были ABD, шансы у всех были равны. Раб мог стать султаном. Бывало и такое. И неважно, босниец, черкес или курд. Сейчас кто бедным родился, тот бедным и умрет. И называется это демократия.

С *нашей овцой все в порядке*

После ухода Мехмета ко мне подошла одна из покупательниц.

— Вы из газеты? А вы знаете, что нашим ученым удалось клонировать овцу? — тихо спросила она.

Ничего себе! А я-то думал, что англичанам.

— Они были первыми, — соглашается женщина, как выясняется, учительница биологии. — Но их Долли сдохла через год. А нашей Оялы уже два года, и она по-прежнему чувствует себя неплохо. Для меня в этом вся суть вашего Запада. Дешевка. Байбайбуши вы будете носить 10 лет, а то и дольше. А я вот купила итальянские туфли, так они через неделю начали разваливаться, вот здесь, — и биологичка показывает, в каком месте расходится шов.

— Итальянские? Да эти туфли мой двоюродный брат под Стамбулом шьет, — неожиданно отзывается продавец.

Учительница фыркает на него, на меня и гордо удаляется.

Б*айбайбуш — символ борьбы*

Скажем прямо, ботинки Рамазана Байдана — страшная дешевка. Не думаю, что они продержались бы дольше, чем пошитые под Стамбулом итальянские туфли учительницы биологии. Делают их из низкокачественного кожзаменителя. Подошва такая толстая, что мужчина ростом выше декоративного гнома выглядит так, будто хочет прибавить себе сантиметров. Сейчас, ко всему прочему, их уродует надпись. На золотом фоне читаем (чего и следовало ожидать): Bye bye Bush.

Но Байдан, как каждый турецкий бизнесмен, блестяще умеет недостатки превращать в достоинства.

— Это дешевые ботинки. Всего тридцать долларов за пару. Благодаря этому они могут стать символом борьбы бедных с богатыми, — говорит он и подсматривает в записи, спрятанные в ящике письменного стола. — Мой ботинок стал символом борьбы! — читает он. — Моя фирма поддержит диалог на Ближнем Востоке. Я буду помогать палестинцам, чеченцам и Сектору Газа. Байбайбуш станет оружием в борьбе за мир во всем мире.

Как именно он собирается повлиять на мировых лидеров, шеф не рассказывает. Поняв, что его речи не производят на меня особого впечатления, он закрывает ящик стола и предлагает закурить.

Памук позорит народ

— Мир на Ближнем Востоке? Не при нашей жизни, — говорит Зейнеп, студентка из Стамбула. — Эту пару я покупаю в подарок отцу. Он офицер. Как раз вышел на пенсию. Он тоже считает, что израильтянам с арабами не договориться. Зачем ему ботинки? Ну, в Турции тоже найдется, в кого их бросить. — Зейнеп будто взвешивает в руке байбайбуш. — Несколько политиков. Певцов. И этот чертов Орхан Памук.

С политиками все понятно. Эти всегда что-нибудь натворят. Певцы? Предположим, часто фальшивят. Но чем студентке не угодил нобелевский лауреат? Мы выходим из магазина и отправляемся выпить кофе. Я прошу Зейнеп объяснить поподробнее. Она читает мне небольшую лекцию из области пограничья литературы и жизни.

— Во-первых, он ни одного дня в жизни не работал. Сам из богатой семьи. А есть писатели, кто лишнего куска себе не позволит — только бы иметь возможность писать. Почему им никто Нобеля не дает?

Я отвечаю, что если давать только бедным, то это будет благотворительность, а не Нобелевская премия. Зейнеп качает головой.

— Знаешь, почему Памуку дали премию? Потому что он позорит турецкий народ! Смеется над тем, что мы гордимся своей историей. Что до сих пор вспоминаем великие победы нашей армии. Что не можем найти себе место между Востоком и Западом. Писатели должны воспевать прекрасное в народе. А он выпячивает недостатки. Но больше всего меня задевает то, что он оскорбляет Ататюрка.

И Зейнеп напоминает мне, как после Первой мировой войны соседи хотели поделить Турцию, но Ататюрк им не позволил. И как он реформировал страну, приближая ее к Европе.

— Турция не должна ничего менять в его заветах! — негодует дочь офицера. — Если кто-то пытается его очернить, меня аж зло берет. Еще пять лет назад Ататюрк был святым. А сегодня Памук, который над ним насмехается, получает Нобеля. А какой-то горе-режиссер[1] сни-

1. Фильм Джана Дюндара под названием "Мустафа" посвящен личной жизни Ататюрка, что вызвало в Турции бурные дискуссии. (*Прим. автора.*)

мает фильм, где Ататюрк пьянствует и бесчинствует. Мне плевать, напивался он или нет! Я не хочу этого знать! Погоди, вон идет мой друг. Он у нас умный, наверняка скажет что-нибудь интересное. Мура-а-ат!

Мурат вместе с Зейнеп изучает педагогику.

— Запад? Я с ним сталкиваюсь почти ежедневно. Мой родной город Алания лежит на берегу моря. Там тысячи туристов. Когда я вижу, как вы относитесь к женщинам, меня в жар бросает, — говорит он. — Ваши женщины с каждым мужчиной готовы болтать. К ней пристают, а она улыбается!

— Они в чужой стране. Просто хотят быть приветливыми.

— Только проститутки со всеми кокетничают. А какие из вас мужья! У моих друзей, если они познакомятся с кем-нибудь с Запада, всегда наготове шутка. Ты откуда, из Польши? Спал я как-то с одной полькой. Ну и почему ты молчишь?

— А что я должен сказать? Повезло...

— Да я же тебя только что оскорбил!

— Разве?

— Ну вот видишь, вы ничего не понимаете. За такую шутку турок сразу дал бы в морду. Это как оскорбить члена семьи, — говорит Мурат и уходит.

— Многие парни, особенно из села, так думают, — говорит Зейнеп. — Это как племенные отношения. Каждый из твоего племени — твой родственник. И все же, когда речь заходит об отношении к женщине, — Зейнеп на минуту задумывается, — я на стороне Запада.

Президент грозил ботинком президенту

Через месяц после выходки Мунтадара ботинком от журналиста получил индийский министр внутренних дел. Следующий полетел в китайского премьер-министра во время его визита в Оксфорд. Президент Бразилии угрожал ботинком президенту Венесуэлы.

— Брошу, если затянешь свою речь, — сказал он во время встречи глав государств Латинской Америки.

В иракском Тикрите местный художник поставил памятник байбайбушу, а в США молодые противники Буша стали носить значки с ботинком.

Рамазан Байдан начал бриться и пользоваться туалетной водой. Ему поступило два предложения: жениться (на богатой даме из Штатов, которая также терпеть не могла Буша) и закрутить роман (с моделью, рекламирующей его обувь). Он отверг оба. Сейчас нет времени ни на что, кроме фирмы.

А фирма процветает. Раньше ежегодно продавалось около пяти тысяч пар модели 271. С тех пор как модель стала именоваться байбайбушем, за полгода разошлось более ста тысяч пар. Самые большие продажи в... Соединенных Штатах.

— Противники Буша ставят их у себя дома на телевизор, — говорит Байдан. —

Правда, меня беспокоит, что в Ираке продажи почти не растут. Они не верят, что это был мой ботинок. Если мне удастся их убедить, треть иракского обувного рынка может стать моей. Так было с портным Саддама, который после суда над ним стал главным по мужским костюмам.

— Кто это?

— Реджеп Джесур. Я дам тебе его адрес.

У Хусейна был прекрасный вкус

Пиджак — 56.
Нога — 112.
Рост — 1,86.
Размер обуви — 45.

Все эти цифры Реджеп Джесур, лысый, как колено, курдский портной, называет по памяти.

— Дело не в Саддаме, — замечает он. — Я помню размер каждого постоянного клиента.

Его магазин на знаменитом базаре в районе Султанахмет вот уже несколько лет осаждают покупатели. Внутри невозможно даже спокойно поговорить. Поэтому мы идем в подсобку. Джесур показывает мне кое-что интересное: последний костюм Хусейна, так и не попавший к клиенту.

— Перед процессом его двоюродный брат заказал мне восемь костюмов и рубашек. Я не знал, что это для Саддама. Вся его семья у меня шьет, а размер пиджака был не тот, что обычно. Но когда я увидел, как он похудел, все стало понятно. Он очень хотел хорошо выглядеть на суде, поэтому надевал только мои костюмы. Но последний я так и не успел ему переслать.

Джесур больше десяти лет шил для Хусейна, его министров и даже для сборной Ирака по футболу. Но лишь с процесса над бывшим иракским президентом начался взлет его карьеры.

— Каждый раз, когда Хусейн доставал авторучку, камера показывала вшитый логотип моей фирмы, — хвалится портной. — Один журналист подсчитал, что на такую рекламу мне пришлось бы потратить шесть миллионов долларов. До того мы продавали двенадцать тысяч костюмов в год. После суда продажи возросли в пять раз. В основном за счет Ближнего Востока.

— Разве не парадоксально, что Саддаму, осужденному за убийства курдов, костюмы шил курд? — спрашиваю я.

— Саддам не знал, кто их шьет. А для меня бизнес — это бизнес, и не надо смешивать его с политикой.

Евросоюз хочет уничтожить Турцию

Я возвращаюсь в магазин с байбайбушами. Элегантный мужчина примеряет пару песочного цвета. На беглом английском он приглашает меня на чашечку кофе и сразу же снимает галстук.

— В галстуке я — чиновник одной из районных управ Стамбула. Не пиши, какой именно. А как только его снимаю, становлюсь обычным гражданином по имени Мурат. На твои вопросы хочу отвечать как гражданин, — говорит он и

вешает голубой галстук на стул. — Ботинок и Буш? Очень хорошо все вышло. Парень сделал то, что все мы хотели бы сделать. Жаль, что не попал. Я купил такие ботинки и жду, пока нас не навестят чиновники из Евросоюза. Почему? Потому что вы хотите уничтожить Турцию.

Я чуть не поперхнулся кофе.

— Что, простите?

— Да-да! Вы знаете, какая мы сильная страна. Еще пару лет, и мы всей Европе дадим прикурить. И поэтому вы приезжаете и занимаетесь пропагандой: презервативов, однополых браков, секса без обязательств. Все ради того, чтобы мы рожали меньше детей.

— А может, затем, чтобы не было детей голодных и нежеланных? И чтобы каждый мог жить так, как хочет?

— Ты пудришь мне мозги, как и все вы с Запада. В Турции нет ни одного голодного ребенка. Ислам велит нам заботиться о бедных. И мы заботимся. А Евросоюз пропагандирует извращения. Когда в Стамбуле проходит парад извращенцев, они несут европейский флаг. Вряд ли случайно. Наш премьер говорит: "Вступим в Евросоюз, нам дадут много денег". Но в обмен на что? К нам в управу приехала делегация: француженка, бельгиец и люксембуржец. И сразу в лоб: у вас страшная бюрократия и наверняка проблемы с коррупцией. Мы будем бороться с этой вашей коррупцией.

Шеф неделю продержал их в приемной. Говорил, что у него нет времени на встречу. Прежде чем время нашлось, им уже пора было уезжать. Он показал им, кто тут главный. У нашей бюрократии пятисотлетние традиции. Еще с османских времен. И не Евросоюзу учить нас, что нам делать!

Когда-то, должен признаться, я восторгался Западом. Но, пожив с год в Гамбурге, осознал, что нигде не живется так хорошо и богато, как в Турции. Вы нам завидуете. Поэтому хотите, чтобы мы вошли в Европейский союз. А после этого вы начнете здесь заправлять.

— А на Западе есть хоть что-то, что вам нравится?

Мурат глубоко задумывается.

— Обама мне нравился. Поначалу. Но с этим уже покончено. Потому что он приехал в Стамбул и говорит: "Евросоюз, прими Турцию!" Ку-ку! Это не его страна и не его дело! Он может сказать, что ему понравились наши достопримечательности. Или что турецкая кухня пришлась ему по вкусу. Но решать, куда и когда вступать, будем мы сами. Недавно на эту тему проводили соцопрос. Сегодня более 60 % турок вообще не хотят в этот ваш Евросоюз.

Следующий кризис вас добьет

Халил и Рабья тоже настроены против Евросоюза.

— Я считаю, что мы на этом больше потеряем, чем приобретем, — говорит Халил. Они живут в Коньи. У него подстриженная мусульманская борода. Она в платке.

Приехали за товаром, у отца Халила магазин одежды. — Ваше время подходит к концу! — добавляет Халил, а Рабья скромно потупляет взор. — Время Буша уже закончилось. Твое, Витольд, тоже заканчивается. Как и каждого из вас.

Они женаты полгода. Никогда не были на Западе, да им это и не интересно. Зато Халил побывал с паломниками в Сирии.

— Вначале, когда я узнал об этой истории с ботинком, я был взбешен. Вы на нас, мусульман, посылаете танки, бомбардировщики, лучшие свои войска. А мы в ответ пытаемся забросать вас ботинками. Даже Буш над этим смеялся.

Но один мудрый мулла мне объяснил: "Запад сам себя истребит". Десять лет, и никто не вспомнит, что вы были мировой силой.

Во-первых — вы не хотите рожать детей.

Во-вторых — вам слишком хорошо живется. Пословица гласит: сытый лев забывает, как нужно охотиться. Этот кризис вы еще переживете. А следующий — нет.

А в-третьих — вы едите свиней. Можешь смеяться. Но Магомет знал, что делал, когда запретил нам есть свинину. Свинья — грязное животное. Она разносит болезни. Каждый новый свиной грипп может стать для вас последним.

— С этими свиньями парень, возможно, и прав, — говорит имам Халил Юсуф, когда я пересказываю ему свои беседы с людьми. — Упадок культуры... Пожалуй, что-то в этом есть... Мусульманам не нравится, что вы всегда правы. Ваша культура, ваша демократия, ваши идеи всегда лучшие. В стране с такими богатыми традициями, как наша, это не может нравиться. В Польше еще обезьяны скакали по деревьям, когда между Тигром и Евфратом возникла цивилизация. Обе эти реки текут через Турцию. Вы должны это уважать.

— Ходжа, у нас не было обезьян...

— Витольд, ты меня раздражаешь. Иди уже.

Турецкая смесь

Доктор Хатидже Ёзтюрк, социолог:

— Турок — это удивительная смесь гордости за свое прошлое и современных комплексов, — объясняет она. — Мы все гордимся тем, что когда-то были великой державой. Сегодня поводов для гордости у нас гораздо меньше. Да, мы победили на Евровидении. В футбол неплохо играем. Но времена, когда армия султана осаждала Вену, давно прошли.

Однако вы должны понимать, что покупатели байбайбушей — люди специфические. Именно поэтому вам так часто попадались религиозные турки. Поэтому они так остро критиковали Запад. В Турции сотни тысяч вполне успешно живут "по-западному". Я и себя считаю одной из них. Но признаюсь: скажи вы хоть слово против турецкой кухни или Ататюрка, я бы обиделась насмерть.

Обама и абрикосы

Через три месяца после визита Буша в Ирак, Стамбул посетил Барак Обама. Через час после его отъезда в мэрии города Малатья раздался телефонный звонок.

– Ахмет, ты новости смотрел?

– Нет, а что?

– Обама съел абрикос. На базаре попробовал.

– И что с того?

– Ахмет, ради Аллаха. Это же был ТВОЙ абрикос!

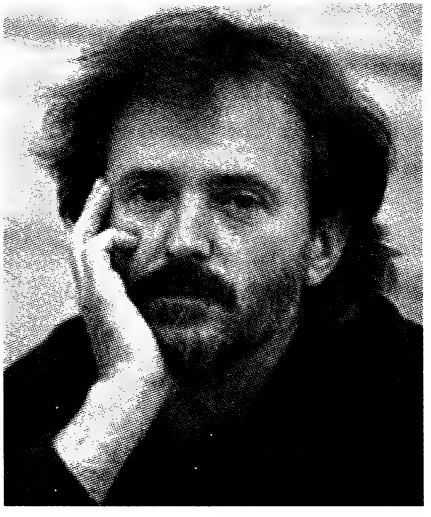
Малатья – самый крупный производитель абрикосов в мире. В тот же день в мэрии была создана специальная комиссия. Два дня спустя студенты представили проекты плаката. Через неделю в газетах появилась фотография Обамы, окруженного абрикосами из Малатьи. "Он знает, что хорошо", – гласил наспех придуманный слоган.

– С одной стороны, мы вас ненавидим. С другой – ваше одобрение для нас бесценно, – улыбается доктор Ёзтюрк.

Влодзимеж Новак

Окружность головы

Перевод Ирины Подчищаевой



Чертов источник бьет из-под земли возле санатория "Борково" — в прошлом "Luisenbad" — в Полчин-Здруе. Источник старый, заброшенный, в глубине зеленоватый — в воде много железа. В январе или начале февраля 1944 года к нему подбежала смеющаяся девочка в красном пальтишке. И стала звать по-немецки свою младшую сестренку посмотреть на чудо: кругом снег и лед, а тут из земли вытекает вода. Алисе в то время было пять лет, Доре — на полтора года меньше. Обе светловолосые, бойко щебетали по-немецки, только Алиса непонятно почему вместо "nein" говорила "nie"[1], что страшно злило женщин в белых халатах, которые присматривали за детьми. В обширном доме с открытыми террасами и балконами полно было детворы. Внизу жили детишки постарше, на верхнем этаже — груднички. Весной на террасу погреться на солнышке вывозили коляски с младенцами. Их мамы прогуливались по парку. В этом новом Heim'е[2] сестричкам очень нравилось. Они еще не забыли лагерь для детей в Лодзи — там только и делали, что били и ругали. Ульку Качмарек так долго поливали водой на улице, что она превратилась в ледышку. Спали они на полу, тесно прижавшись друг к другу на грязном матрасе, потому что не могли взобраться на высокие деревянные нары. А здесь — белые кроватки и чистая постель, ночью постоянно горит ночничок над умывальником. Иногда только воспитательница даст по попе, если кто-то описается во сне. В Bad Polzin их привезли из Калиша, где было чуть получше, чем в Лодзи. Когда их навестил дядя Зигмунт, они

© Włodzimierz Nowak, 2007
© Ирина Подчищаева. Перевод, 2011

1. Nein — нет (*нем.*), nie — нет (*польск.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Heim — семейный очаг (*нем.*).

ему сказали, что за них волноваться не надо: "дяденька Гитлер очень добрый и присылает им конфетки".

Иногда, правда, Алисе снится большой дом в залитом солнцем саду, светлые волосы мамы. А высокий мужчина с усами это, наверное, папа. Он пьет кофе и слушает музыку по радио. Он, что ли, врач? Алиса не помнит. Она знает только, что теперь они с сестрой — бедные немецкие сиротки и ждут в Heim'е новую мамочку, Mutti, которая заберет их в настоящий дом. Так говорят тетеньки в белых халатах, а они всё знают.

Голова гения

В то время, когда Алиса с Дорой весело болтали у Чертова источника, голова их отца год как уже лежала в банке с формалином. Банка стояла на полке среди других сосудов с польскими головами в немецком Институте судебной медицины в Познани. Какой-то немецкий профессор написал на стекле: "Der Kopf eines inteligenten, polnischen Massenmörders, dr Franz Witaschek", что в дословном переводе означает: голова интеллигентного польского массового убийцы.

Ранним утром 8 января 1943 года доктор Виташек с высоко поднятой головой шел по двору Форта номер семь познаньской Цитадели и пел "У двери я Твоей стою, Господи". Вешали их партиями по девять человек на крюках, торчащих из свода бункера. Так погибли тридцать виташковцев. Вскоре в гестапо из Института судебной медицины поступило письмо с требованием немедленно выслать им голову Виташека. Там хотели исследовать мозг гениального человека.

Семью Виташека Вторая мировая война застала врасплох в пятницу утром. Они с женой позавтракали как обычно под концерт по радио. Девочки еще спали в своей комнате. Полвека спустя Халина Виташек напишет, что они были очень счастливой семьей. Им с Франтишком было по тридцать одному году. Никогда ей не забыть фигуру мужа, "красивую, стройную, как у английского джентльмена". К сентябрю 1939-го у них было три дочери, самой старшей, Мариоле, исполнилось пять лет, а младшенькой, Алодии, полтора года. Четвертую дочку, Дарью, Халина еще носила под сердцем. Она родит ее в октябре. Франтишек был талантливым ученым, ассистентом кафедры лечебной гигиены и кафедры микробиологии в Познаньском университете. Доктором всех медицинских наук, специалистом в области гигиены и здравоохранения. Летом 1939-го он приступил к написанию диссертации. Был также основателем и директором фабрики, первой в Польше начавшей выпускать кетгутовые хирургические нити. Всего в семье было в достатке, была новая вилла с садом в районе, где жили университетские профессора, автомобиль. По хозяйству помогала домработница, детьми занималась нянька.

В сентябре 1939-го Франтишек мобилизован не был:

из-за врожденного порока сердца его признали негодным к военной службе. В то, что начнется война, доктор не верил до самого последнего момента. Успокаивал Халину, говоря, что немцы не решатся напасть на Польшу. Первые бомбы упали на Познань, когда его девочки играли в саду. День был на редкость погожий, солнечный.

За два дня до Рождества на виллу к Виташекам зашел немецкий полицейский высокого ранга. Халина была одна с девочками. Гость осмотрел комнаты, в кухне сцапал банку кофе в зернах. Когда увидел себя в зеркале с этой банкой в руках, чуточку смутился и отсыпал немного зерен "для доктора к празднику". Он дал им десять минут на сборы и ключ от холодной комнаты с кухней в доме, что возле Лазарского рынка. В виташковскую виллу вселился доктор Отто Краус, который два года спустя стал распоряжаться в захваченной немцами Риге.

На новом месте Виташек занялся врачебной практикой, хотя врачом, несмотря на медицинское образование, никогда не работал. Теперь он ездил на велосипеде, делал прививки детям и принимал роды. Бедных лечил бесплатно — его стали называть "вторым Марчинковским[1]". Познаньский историк профессор Эдмунд Серванский написал, что Виташек был "горячим патриотом, благородным человеком с добрым сердцем и кристально чистой душой". О подпольной деятельности Франтишека Халина не знала. Однажды только заметила, что, просматривая немецкую газету, он усмехнулся в усы при виде некролога высокопоставленного немецкого офицера. Муж тогда сказал: "Я солдат, хотя и не на фронте. А этот офицер погиб не от пули на восточном фронте. Он заразился брюшным тифом во время прощального ужина в познаньском ресторане".

Халина немало удивилась, когда Франтишек начал попыхивать трубкой, хотя всегда был противником курения. Она не знала, что это условный знак для товарищей по конспирации. С середины 1940 года Виташек руководил подпольным "Союзом возмездия" в Познани. Несколько тайных лабораторий производило под его присмотром химические вещества, которые выводили из строя моторы, специальные гвозди для пробивания автопокрышек и маленькие термические бомбы, взрывавшиеся с отсрочкой, когда немецкий транспорт уже пару дней был в пути. В подпольную группу Виташека входили ученые, врачи, лаборанты и даже официанты. Последние добавляли в кофе немецким офицерам некий препарат, изобретенный профессором Виташеком. Препарат "сажал" почки, выводил из строя селезенку или вызывал сердечную недостаточность. Трудно выявляемая болезнь приводила к смерти, когда жертва находи-

1. Кароль Марчинковский (1800—1846) — известный познаньский врач, общественный деятель, филантроп. Бесплатно лечил бедных, часто сам покупал им лекарства.

лась далеко от Познани. Таким способом казнили тайных доносчиков, гестаповцев, немецких офицеров.

В апреле 1942 года гестапо арестовало виташковцев. Доктора взяли прямо в его врачебном кабинете. Как ученому немцы отдавали ему должное и, после страшных пыток, предложили сотрудничество. Своими гениальными открытиями он должен был послужить Третьему рейху. Виташек отверг предложение. Говорят, из Берлина пришло сразу два пакета: в одном был приказ о казни через повешение, во втором — распоряжение отрубить голову. С хваленой немецкой пунктуальностью оба приказа были приведены в исполнение.

Халина не знала о смерти мужа. К тому времени она попала в Освенцим, где ей накололи на руке номер — 394447. Еще в Познани она была подвергнута антропологическим исследованиям. Халина и предположить не могла, что ее светлые волосы, окружность головы, расстояние между глазами и форма носа предопределят судьбу ее детей.

Две арийские капельки, Алодия и Дарья

Семьями виташковцев лично заинтересовался рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, носившийся с идеей "чистой расы". Дети гениального ученого и ценной с расовой точки зрения матери могли послужить хорошим материалом для выведения новой породы германцев. Во время своего посещения Познани в октябре 1943 года Гиммлер объяснял высшим чинам СС: "Наша задача в следующем веке — возвратить былую гегемонию людям нордического типа, а также создать универсальную аристократию, которая в дальнейшем будет править миром. Если здесь [в Польше. — *В. Новак*] найдется расово чистая особь, мы заберем у нее ребенка и отправим в Германию. Если ребенок будет противиться, мы убьем его, поскольку как потенциальный вожак он станет для нас небезопасен. Если же согласится, воспитаем из него немца и не позволим вернуться на родину".

Похожие соображения он высказывал тремя неделями раньше: "Несомненно, в этой мешанине народов найдутся весьма ценные с расовой точки зрения типы. В таком случае наша задача — отобрать у них детей для отправки к нам, даже если придется их выкрасть. Или мы отыщем хорошую кровь для использования во благо германской нации, или... можете, господа, называть это жестокостью — кстати, в природе жестокости хоть отбавляй, — мы ее уничтожим. Иначе, если эта кровь окажется по ту сторону баррикады, не будет нам оправдания перед нашими сынами и потомками".

Самая лучшая кровь — арийская. Кровь расы господ, гениев и вождей. Больше всего ее течет в немецких жилах, доказывал Гиммлер, у остальных к этой крови столетиями примешивалась всякая другая.

Капли арийской крови рассеяны по всей Европе; необходимо их отыскать или уничтожить: если люди с такой кровью останутся среди недочеловеков, расово неполноценные нации смогут выдвинуть своих фюреров — гениальных вождей, а это несет угрозу Третьему рейху.

Пятеро малышей из семьи Виташека (Кшиштоф родился уже во время войны) оказались в Управлении по вопросам расы, где их тщательно обследовали. Помнит это только самая старшая из них, Мария: черные мундиры, злые окрики. Детей раздели донага и таскали из кабинета в кабинет, делая разные измерения и фотографируя. Мария помнит деревянный скрипучий аппарат, который ей надели на голову; какой-то немец ковырялся у нее во рту пальцем, ощупывая нёбо. Под конец человек в белой врачебной куртке, изучив все результаты, улыбнулся и сказал: "Na ja, schönes Kind, echte nordische Rasse (ну что же, прекрасный ребенок, настоящая нордическая раса)". Исследования показали, что вся пятерка — расово полноценные дети. Троих родственникам удалось спрятать где-то в Польше. Четырехлетнюю Дарью и пятилетнюю Алодию спрятать не успели. Из гестапо пришла повестка. Маленькая Алодия запомнила огромные флаги со свастикой. Кто-то показал им через окно маршировавший по улице духовой оркестр — они с Дарьей засмотрелись. Когда обернулись, дядя и тетя уже исчезли. Дальше — грузовик, вокзал в Познани и поезд в Лодзь. Лагерь имперской службы безопасности для детей, где малютки мёрли, как мухи. Но кто-то пожалел девчушек правильной расы — через несколько недель они попали в SS-Heim в Калише. В мрачных стенах бывшего монастыря заставляли говорить по-немецки. За каждое произнесенное по-польски слово били. Две маленькие запуганные девочки поначалу еще шептались по-польски, но спустя пару месяцев разговаривали друг с дружкой уже только по-немецки. В Калише Алодия чуть не умерла от дифтерита. Трахеотомия, сделанная в последний момент, спасла ей жизнь. Осталась особая примета — шрам на шее. Одна женщина из Острова Великопольского, фольксдойче[1], запомнила светловолосую девочку, которая играла в больничном коридоре. Говорила девочка на немецком языке. Рассказывала всем, что у нее есть дядя в Острове. Так известие о Дарье и Алодии дошло до родственников. Дядя, Зигмунт Мушинский, отыскал их в калишском SS-Heim'е. Он намеревался выкрасть племянниц с помощью садовника, но, когда приехал в Калиш в январе, девочек там уже не было. Никто не смог ему сказать, где они. На одно из писем, которые он разослал по немецким детским домам, откликнулось только неизвестное ему учреждение "Лебенсборн" из Мюнхена. С приветствием

1. Обозначение "этнических германцев", которые жили за пределами Германии. В период существования Третьего рейха фольксдойчи имели особый правовой статус.

"Хайль Гитлер!" его извещали, что ни о каких маленьких девочках из семьи Виташеков ничего не слышали.

Подарок для Гитлера

Я загляделся в зеленый зрачок Чертова источника: прозрачная вода сверху, под ней — зеленая бездна. Родник бьет из земли уже триста лет и помнит много лиц. Над ним склонялся герцог Фердинанд Курляндский и польские магнаты, которые ездили за границу на полчинские воды. Когда в Чертов источник гляделся канцлер Бисмарк, частый гость курорта, санаторий уже назывался "Luisenbad" — в честь прусской королевы Луизы. Сегодня к источнику приходят отдыхающие в ярких спортивных костюмах, которые лечат в Полчине свой ревматизм.

В Полчин я приехал, пытаясь проследить судьбы двух белокурых девочек, пропавших в начале 1944 года. Так я напал на след организации "Лебенсборн", которая отозвалась когда-то на письмо Зигмунта Мушинского.

Организация "Лебенсборн" ("Источник жизни")[1] была основана по приказу Гиммлера в декабре 1935 года руководителями СС, имена которых неизвестны. Она была призвана помогать беременным немкам, которые по разным причинам желали скрыть беременность либо родить ребенка подальше от любопытных глаз. С этой целью по всему Рейху, а затем и в оккупированных странах, "Лебенсборн" открывал сеть домов, обычно выбирая для своих резиденций места по преимуществу безлюдные.

В 1936 году, когда старый "Luisenbad" клонился к упадку, Bad Polzin был подарен Адольфу Гитлеру, а тот передал его в ведение "Лебенсборна". Так возник померанский "Семейный очаг", самый большой из домов "Лебенсборна" во всем рейхе — в нем было шестьдесят мест для матерей и семьдесят пять для детей.

Организация "Источник жизни" подчинялась непосредственно Гиммлеру. Профессор Ежи Красуский писал в своей "Истории Германии", что, если б Гитлер не достиг успеха, Гиммлер, по профессии агроном, продолжал бы заниматься своей фермой породистых несушек. "Настоящая трагедия разыгралась тогда, когда Гиммлеру помешали разводить яйценосных кур и, поставив перед ним задачу — навести порядок с расовым вопросом в Европе, наделили неограниченной властью над десятками миллионов людей".

До сегодняшнего дня историки спорят, заключалось ли "разведение людей", о котором говорил рейхсфюрер, в буквальном спаривании расово чистых женщин и мужчин, или только в контроле над размножением исключительно таких особей — например, эсэсовцев, которым согласие на брак давал лично Гиммлер после проверки здоровья невест, их способности к дето-

1. Девизом этой организации был лозунг: "Подари свое дитя Фюреру".

рождению и чистоты арийской крови. Часть своих замыслов Гиммлер намеревался реализовать после войны, в завоеванной Европе, где к тому времени образовался бы недостаток породистых немцев. Тогда каждой бездетной немке старше тридцати лет вменялось бы в обязанность родить ребенка. "Лебенсборн" стал бы центром, где оказывалась не только помощь при родах, но и посреднические услуги по предоставлению кандидата репродуктивного возраста, а женщина выбирала бы отца своего будущего ребенка из трех рекомендуемых претендентов-эсэсовцев. Гиммлер уже в 1942 году готовился к осуществлению этого грандиозного проекта: "Своим секретным распоряжением я поручил расширить головное учреждение 'Лебенсборна' в Мюнхене, учитывая тот факт, что до четырехсот тысяч женщин уже сегодня из-за войны не могут найти себе мужа". Гиммлер считал, что не только незамужние женщины, но и все замужние, не имеющие как минимум четверых детей, обязаны зачать ребенка от расово полноценного немецкого мужчины. Долг любой подходящей семьи — выдать "напрокат" отца для этой акции. Для проверенных солдат Гиммлер намеревался ввести двоеженство. Уже в 1942 году в его ведомстве озаботились искусственным оплодотворением и созданием базы "ассистентов-осеменителей", то есть мужчин, которых "Лебенсборн" предоставлял бы женам бесплодных мужей. Но первыми опытами в этой области Гиммлер остался недоволен — "генетическая ценность женщин и мужчин, выразивших готовность послужить этой цели, зачастую оказывалась гораздо ниже среднего уровня".

Уже спустя месяц после нападения на Польшу, в октябре 1939 года, Гиммлер в приказном порядке велел эсэсовцам "плодить" детей, в том числе и внебрачных. И заверил "немецких женщин и девушек хороших кровей", что "на них будет возложена почетная обязанность вне брака — не по легкомыслию, а по велению морального долга — стать матерями детей, зачатых от отправляющихся на фронт солдат. <...> Эсэсовцы! — так заканчивался приказ Гиммлера. — Я верю, что и вы, и матери столь нужных Германии детей, вдохновленные верой в фюрера и во имя вечной жизни нашей крови и нашего народа, на деле проявите готовность не только бороться и умирать ради Германии, но и служить продолжению жизни германской нации".

Халина Виташек, вспоминая спустя годы жизнь в оккупированной Познани, описывает такой случай: шестнадцатилетняя дочь свежеиспеченных фольксдойче, будучи членом Союза немецких девушек, вернулась с собрания вся в слезах. Немецкий агитатор кричал об их долге перед отечеством: "Никто не заставляет вас быть проститутками, но вы обязаны позволить заделать вам ребенка".

В другом своем "прокреационном" приказе с драматическим заголовком "До последних сынов", появившемся во

время сталинградской битвы в августе 1942 года, Гиммлер распорядился вызывать с фронта бездетных молодых эсэсовцев с тем, чтоб они, прежде чем упокоятся под березовым крестом, спешно наплодили сыновей. А после сталинградского поражения приказал давать фронтовикам специальный отпуск на то время, когда у их жен наступают благоприятные для зачатия дни.

M*utti*

В начале апреля 1944 года в зеленый омут Чертова источника заглянула Луиза Даль, миниатюрная полненькая секретарша из Стендаля, что под Берлином. Она прогуливалась по парку с маленькой девочкой, недовольная тем, что ей предлагают взять на воспитание ребенка с белокурыми волосами и голубыми глазами. Да ведь у них с мужем темные волосы и глаза, сразу будет видно, что ребенок не их! Но уже спустя час они с девочкой шли мимо источника в обнимку. Алиса показала новой Mutti свою сестренку, которая лежала в изоляторе с гриппом. Но госпожа Даль не могла ее взять. Дора как девочка с "хорошей кровью" была предназначена офицеру СС высокого ранга и ее готовили для удочерения. У Доры было что-то вроде диатеза, и ей забинтовали ручки, чтоб не расцарапала себе лицо. Она должна была выглядеть привлекательно. Но офицер не захотел ребенка из изолятора и выбрал другого. Дору отдали маляру из Австрии, который в мае забрал ее в городок Вайтра вблизи чешской границы. Там ее звали Дора Шёльм. Семья Шёльм, люди простые, не имели права удочерить девочку, они были только ее опекунами. Узкие улочки, уютный дом с видом на горы. Потом она всю жизнь будет тосковать по этим горам. Запомнит и глаза своей опекунши, вечно обведенные темными кругами. Покой и порядок — всё на своих местах, всему свое, четко обозначенное, время. Когда выпекать хлеб, ходить по ягоды, отмечать церковные праздники, есть оладьи, запивая их ячменным кофе. Никаких скандалов, никакой ругани. В школе писали грифелями на маленьких дощечках. В 1946 году учительница велела закрасить в учебниках все свастики. Дора была лучшей ученицей в классе и получала только отличные оценки. На фотографиях того времени улыбающейся ее не увидишь.

Алиса стала жить в Стендале под Берлином. Получила второе имя по Mutti и новую фамилию: Алиса Луиза Даль. После войны, в 1947-м, госпожа Даль вынуждена была оправдываться, почему взяла ребенка из "Лебенсборна". Одному из юристов она писала: "Тогда мне неизвестно было название 'Лебенсборн', но, признаться, только там я нашла сочувствие. Здесь с пониманием отнеслись к тому, что мне, человеку умственного труда, женщине, которая из-за постоянных болей внизу живота не способна к физической работе, в моей солнечной, прекрасно оборудованной квартире не хватало детского щебета.

Вскоре я получила из Bad Polzin телеграмму о том, что меня там ждет девочка 1938 года рождения. Так в 1944 году я увидела Алису Витке. Когда мой муж в апреле 1946-го вернулся из плена домой, девочка и для него стала великой радостью. В 'Лебенсборне' заботились о благополучии ребенка — ведь Алиса могла попасть в семью рабочих. Я с уважением отношусь к рабочим, но такая умненькая девочка не могла бы получить соответствующего воспитания и духовного развития в подобной семье. Прежде чем Алиса попала к нам, мы прошли тщательную проверку. Проверяли наши личные связи, состояние здоровья, партийную принадлежность. Муж с 1937 года состоял членом NSDAP. С 1933 года был в SA. В других нацистских структурах, таких, как NSV, DAF, RLB, VdA[1], тоже состоял и был на хорошем счету. В ведомстве, которым руководил стопятидесятипроцентный нацист, по-другому и быть не могло. Я к национал-социалистической партии не принадлежала, не состояла ни в Союзе немецких женщин, ни в других партийных структурах.

Но вернемся к Bad Polzin. Девочка выбежала ко мне с сияющими глазами и возгласом: 'Guten Tag, Mutti!' Я почувствовала, что ребенку очень хочется, чтоб у нее снова была мамочка. Об Алисе мне мало что было известно. Я взяла ее как сироту немецкого происхождения (фольксдойче), предназначавшуюся для удочерения под фамилией Алиса Витке. О ее польском происхождении вообще не было речи, и догадаться об этом я никак не могла, потому что шестилетняя девочка прекрасно говорила по-немецки. Мы с Алисой очень подходили друг другу, как будто были одной крови. Несмотря на то, что в ее анкетах в графе 'происхождение' стояло: 'подкидыш', я чувствовала, что эта девочка из хорошей семьи. Она говорила, что ее папа был 'дядя доктор' и делал деткам уколы. Рассказывала мне о своем братике и сестричках и о том, что папочку и мамочку забрали в полицию. Оба они умерли, так ей сказала тетя. В Bad Polzin я видела ее сестру по имени Дорис. К сожалению, Дорис вместе с Алисой я взять не могла: ее уже обещали другой семье, но я хотела позже отыскать девочку, чтобы обе сестры воссоединились.

Алиса часто искала на небе две звездочки, которые называла мамочкой и папочкой. Говорила, что они видят, как ей у нас хорошо. Она и вправду ни в чем не знала нужды. Привезла я ее к себе в 1944 году с небольшим узелком и связала ей на спицах бельишко, рубашечки и трусики на лето и зиму — купить-то ничего невозможно было. А еще курточ-

1. Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП). SA — штурмовые отряды, военизированные формирования НСДАП. NSV — "Национал-социалистическая народная благотворительность" — общественная организация, основанная НСДАП в 1933 г. DAF — объединенный профсоюз работников и работодателей. RLB — Имперский союз противовоздушной обороны. VdA — Союз немецких автомобилестроителей.

ки, шерстяные платьица, свитерочки, чулочки и носочки — всё собственноручной вязки.

В Окружном суде я получала вполне достойное жалованье. Все шло хорошо, подрастающая Алиса ни в чем не нуждалась. Мамочка могла ей купить все, чего она только пожелает. Когда школу закрыли из-за частых воздушных налетов, а потом из-за отсутствия угля, Алиса посещала частные занятия. Она была очень хорошей ученицей. Ходила на гимнастику, летом на плавание, зимой каталась на лыжах и на санках. Когда ей исполнилось восемь лет, сдала экзамен на юношеский разряд по плаванию. Даже на уроки балета для детей могла ходить регулярно. Я заботилась обо всем", — писала госпожа Даль.

Там, в Стендале, в светловолосой головке Алисы все окончательно перепуталось. Она рассказывала Mutti, как ей плохо жилось в польском детском приюте. Ее, маленькую немку, заставляли говорить только по-польски и навсегда забыть немецкий язык. Били за каждое немецкое слово.

На Пасху 1944 года они с Mutti поехали во Францию. Госпожа Даль хотела показать приемную дочку своему мужу, который сидел в лагере для немецких военнопленных. Алиса получила в подарок от нового папочки огромного голубого зайца, набитого сластями. В 1945 году заяц принес Алисе деревянные ходули, сделанные на заказ местным столяром. Все дети в Стендале ходили на ходулях. Когда к Берлину подлетали бомбардировщики союзных войск, ребятня бежала прятаться в погреба и подвалы, где все напяливали на голову огромные кастрюли, в которых обычно варили картошку. Потом, стуча ходулями по тротуару, огибали оторванную руку или ногу, осколки стекол, куски человеческих тел.

В то время как Алиса Даль, с кастрюлей на голове, дрожала от каждого взрыва, Халина Виташек была совсем недалеко от нее. За колючей проволокой Равенсбрюка она радовалась каждой упавшей на Берлин бомбе.

Халина вернулась в мае 1945-го. Сумела выжить в Освенциме и Равенсбрюке, но ее едва не убили известия, которые она услышала на пороге своего дома: Франтишека два года как нет в живых, а Дарья и Алодия пропали.

Голову молодого ассистента кафедры гигиены в банке с формалином узнал сторож, работавший здесь до войны. Похороны превратились в манифестацию с участием епископа и воеводы. Головы доктора Виташека и двоих его сотрудников — Хенрика Гюнтера и Сони Гужны — погребли в познаньской Цитадели.

Два года Халина искала дочерей. Фотография маленьких блондинок с большими бантами в волосах обошла весь мир. Пока не попала к Роману Грабару, который в Людвигсбурге в качестве уполномоченного польского правительства занимался поисками пропавших во время войны польских детей. Благодаря ему тысячи из них вернулись в свои семьи. Грабару удалось найти секретные немецкие распоряжения по поводу обра-

зования фамилий для "бывших польских детей". От имен и фамилий оставлялись три первые буквы, чтобы спустя годы ребенок мог думать, что его так звали всегда. Поэтому, разыскивая Алодию и Дарью Виташек, Грабар в списке полчинского Heim'a обратил внимание на Алису и Дору Витке.

Грехи по-польски и по-немецки

Когда мы рылись в поисках семейных документов, из буфета выпала курительная трубка, большая и красивая.

— Это трубка моего отца, хотите посмотреть? — обрадовалась Алодия Виташек. Дочери доктора Виташека сейчас шестьдесят два года. Она живет одна в познаньском микрорайоне "Под липами". У ее дочери и сына свои семьи. По мужу, который уже умер, она носит фамилию Наперала. — Алодия — странное имя, правда? Назвали так в честь какой-то итальянской святой. Это дядя Корнель посоветовал родителям — до войны он был священником в Некли. Знакомые зовут меня Аля либо Люся.

— Как долго вы прожили у той немки? — спросил я и тут же об этом пожалел.

— Нехорошо так говорить, — возмутилась пани Алодия. — Она заслуживает уважения. Ведь это моя Mutti. Она была добрая. И помешана на мне. Своих детей иметь не могла, болела раком. Она всегда меня обнимала, и я быстро к ней привыкла. Жила у них до ноября 1947 года. Когда к ней попала наша фотография, она сразу меня узнала. Не пыталась прятать приемыша, как другие немецкие семьи, где воспитывались похищенные из Польши дети. Сказала: если моя мама действительно жива, она отдаст меня ей. Но если меня захотят поместить в детский дом, то будет бороться. Когда я возвращалась в Польшу на поезде, кажется, только я одна ехала к своей семье, все остальные — в детский дом. — Алодия улыбается. — Я вернулась аккурат в годовщину революции, 7 ноября, неожиданно для мамы.

В обеденный перерыв Халина Виташек отлучилась с работы, чтобы накормить детей. Она жарила картофельные оладьи. Жили они тогда у родственников в Острове. Жарит она, значит, оладьи, а тут дети кричат, что пришла какая-то женщина с девочкой, у которой на шее картонка. На картонке было написано, что это Алодия Виташек и адрес, ну прямо как на посылке. Они стояли и улыбались друг дружке. Алодия не понимала по-польски. В конце концов, девочка сказала поседевшей матери по-немецки: ты была моложе и блондинка.

Оладьи пригорели.

Дарья вернулась из Австрии месяц спустя, под Новый год. Сохранился протокол "приема-сдачи": номер транспорта 0/138, кто сдает ребенка, кто принимает, подписи, личные вещи — чемоданчик с кулечком (игрушки).

— Ах, я хорошо это помню. — Дарья Виташек, по мужу Войтович, живет в Быдгоще, работала учительницей, сейчас на пенсии. — Это были две

фигурки, я получила их в подарок от Деда Мороза. Белая фигурка святого и черненький чертенок. Вот с этими святым и чертенком я и появилась у мамы.

Она помнит, как они с мамой поехали в Познань к тетке, у которой Дарья жила в первые годы оккупации.

— Маме было интересно, найду ли я дорогу, потом они с тетей стали спрашивать, что я из того времени помню. Я говорила, где была кухня и как я во дворе покалечила палец. Тетя кивала, а мама радовалась. Она ведь тоже хотела убедиться, что эта щебечущая по-немецки девчушка действительно ее дочь. Все совпадало, только когда я заспорила, утверждая, что возле дома был пруд, обе они огорчились. Но тут тетя вспомнила: "Ну да, это была огромная воронка, оставшаяся от бомбы и полная воды".

Алодия: В доме царила страшная нищета, мама одна, с пятью детьми. В Познани все разграблено. Я ходила в польскую школу, не зная ни слова по-польски. До окончания начальной школы говорила еще с немецким акцентом. К тому же берлинским, гортанным. У Дарьи акцент был более мягкий, австрийский, легче переносимый для польского уха. В те времена слух у всех на немецкую речь был обостренный. Не было человека, который бы не потерял кого-то из близких. А тут приезжает этакая маленькая немчура и стрекочет по-немецки. Дети меня страшно доставали. Помню постоянное свое смущение, напряженность и себя с пылающими щеками, а в классе — взрывы хохота. В Стендале я была бойким ребенком, уверенным в себе. А тут мы с Дарьей замкнулись. Замолчали. Для нас война еще не кончилась. Сестры и братишка нас тоже не понимали. Маме приходилось переводить — она знала немецкий. В один прекрасный день мы с Дарьей решили бежать обратно в Германию. Наши перешептывания услышала старшая сестра и пожаловалась маме.

Дарья Войтович: Когда я заговорила по-польски? Это было весной 1948 года, я училась в четвертом классе. Мне предстояло идти к первому причастию и исповедоваться. К исповеди готовилась и старшая сестра, мы вместе готовились. С той только разницей, что она перечисляла свои грехи по-польски, а я по-немецки. И вот стою я возле исповедальни на коленях и вдруг слышу, что исповедуюсь-то я по-польски. К немецкому языку у меня на всю жизнь осталось отвращение. В лицее я выбрала латинский. В Политехническом пару семестров снова пришлось учить немецкий, но он у меня как-то не пошел.

Алодия Виташек вытаскивает из шкафа очередную серую папку.

— Нет у меня сил ее раскрывать, вы уж сами посмотрите, — она опускается в кресло. — Извините, я веду себя как дикарка. Мы обе с Дарьей дикарки, поэтому так хорошо понимаем и любим друг друга, очень-очень. Понимаете, такой разлад в середке, до разрыва сердца. Может, если б нас перестали спрашивать, ес-

ли б нам не приходилось все время возвращаться памятью в те годы, мы бы, возможно, успокоились. Но нас спрашивают и спрашивают, вот и вы тоже...

Mutti постоянно писала письма, сначала Халине Виташек, потом своей любимой Алисе. Приглашала к себе. Алодия-Алиса поехала к ней только спустя девять лет, в 1957-м. Супруги Даль жили уже в Западной Германии.

— Должна была пробыть у них долго, но вскоре уехала — школа закончена, и я решила поступать в институт. К тому же я уже не чувствовала себя в этом мирке своей. Немецкий забыла. А знакомые и соседи Далей, в основном переселенцы из Гданьска, с так называемых возвращенных земель, смотрели на польку волком. Выдержала я там только один месяц. Mutti так тепло ко мне относилась, так радовалась, что я с ней, а меня изнутри как заморозило. Не любила я, когда она меня обнимала. Не хотела спать с ней рядом. Позже, за те четырнадцать лет, когда я стала приезжать к ней по два раза в год, мы снова сблизились. Она жила моей жизнью. Интересовалась всем, что меня касалось. Когда у меня родились дети, радовалась, что теперь у нее есть внуки. Мои дети были одеты как куколки — она вязала им одежду, присылала посылки.

Алодия достает фотографию: две улыбающиеся седые женщины в обнимку.

— Это моя мама, а это Mutti. Она навестила нас в 1969 году. Как же они с мамой полюбили друг друга. Постоянно обменивались очень теплыми письмами. Однажды мама мне сказала, что, если бы раньше познакомилась с госпожой Даль и знала, как настойчиво та искала Дарью, чтобы мы с нею вместе воспитывались, быть может, я бы осталась в приемной семье. Ведь маме было очень трудно поднимать пятерых детей, она даже не получала на нас пособия, потому что папа был аковцем[1], то есть врагом Народной Польши. Ничего не поделаешь, так жизнь складывалась. Mutti умерла в 1971 году, Vati (папа) — в 1980-м, а мама — в 1985-м.

В спальне Алодии Виташек над кроватью висит портрет внучки; недавно рядом с ним пани Алодия повесила старую фотографию в рамочке — маленькая Алиса в Стендале. Девочки на снимках примерно одного возраста и немного похожи.

За отсутствием доказательств

В апреле 1969 года возле Чертова источника побывал Анджей Зентарский, судья, член Кошалинской комиссии по расследованию гитлеровских преступлений. Он вел следствие по делу о преступной деятельности "Лебенсборна" в

1. Аковцы — члены Армии Крайовой, подпольных вооруженных формирований, во время Второй мировой войны действовавших на оккупированной территории. АК подчинялась польскому правительству в изгнании, и после войны в Народной Польше бывшие аковцы подвергались репрессиям.

Полчине. В показаниях троих бывших служащих "Лебенсборна", которые предстали перед Нюрнбергским судом, он нашел информацию о польских детях из Края Варты[1], подвергшихся онемечиванию в померанском Heim'е. Зентарский занялся поисками свидетелей. Ему удалось найти двух насильно угнанных в Германию поляков, служивших в "Лебенсборне", которые рассказали то, что слышали во время оккупации от местных немцев. "Приезжавшие в 'Лебенсборн' оплодотворять женщин эсэсовцы были все, как на подбор, высокие и голубоглазые. Они прогуливались с женщинами по городу и лебенсборнскому парку". Немецкие же историки утверждают, что все это обычные фантазии, порождение народной молвы, с самого начала сопутствовавшие "Лебенсборну". В 1945 году организация "Источник жизни" старательно ликвидировала все документы. После войны ремонтировавшие поместье "Борково" рабочие нашли только коробку со стеклянными пробирками, на которых были надписи с польскими, чешскими и немецкими фамилиями. Судья Зентарский вызвал "на осмотр места происшествия" также и Алодию Виташек. Но она немногое помнила. Что может запомнить шестилетний ребенок? Террасу с выставленными на солнышко колясками с младенцами. Игровую комнату с огромным полукруглым окном, скамейку, на которой вместе с другими детьми она сидела в ожидании своей Mutti.

Спустя три года дело за отсутствием доказательств было прекращено.

"Лебенсборн"? – ничего плохого

Летом 1941 года в Полчин (в то время Bad Polzin) приехала немка из Берлина, Эллен Лундт. Здесь она собиралась родить внебрачного ребенка, отец которого, женатый австриец, служил на торпедоносных катерах. Эллен хорошо запомнился вид из окна главного здания "Лебенсборна". В шесть утра медсестры уже начинали расставлять в парке коляски с грудничками. Ровными рядами стояли белые колыбельки с чистенькими простынками, а вокруг зелень, яркое солнышко. Благодать и безопасность.

В вестибюле висела фотография рейхсфюрерин Гертруды Шольц-Клинг, председателя объединения всех женских организаций Третьего рейха. В других Heim'ах на стене обычно был портрет матери Гитлера, "самой прекрасной из всех немецких матерей". Патриотичные немецкие матери отмечали ее день рождения (12 августа) по особо торжественному ритуалу. Политзанятий Эллен не помнит, хотя головной офис в Мюнхене требовал от директоров Heim'ов регулярных отчетов и разрабатывал специ-

1. Reichsgau Wartheland (Warthegau) – название административного округа, включенного в состав Третьего рейха (до января 1940 г. носил название Reichsgau Posen – имперский округ Познань).

альные программы: совместные чаепития, прослушивание выступлений фюрера по радио, народные песни, краткий курс противовоздушной обороны, речи Геббельса, народные песни... Матери расово полноценных детей должны иметь "расовое", национал-социалистическое мировоззрение.

Сегодня восьмидесятивосьмилетняя Эллен Лундт, как и большинство матерей "Лебенсборна", не видит ничего плохого в организации, которая помогла ей родить двоих детей — сына в Bad Polzin и дочь в Heim Harz в Вернигероде. Тогда она не знала, а сейчас не хочет помнить, что эта якобы в высшей степени гуманная организация была одним из центров расовой гигиены и находилась в ведении ведомства СС, а после войны ее признали преступной. Эллен, кажется, припоминает, что, прежде чем она попала в Полчин, "Лебенсборн" проверил расовую чистоту ее и австрийского моряка. В специальной анкете был даже пункт о густоте волосяного покрова, ибо, чем меньше на теле волос, тем больше оснований считать тело арийским. Фамилии матерей и список отцов хранились под строгим контролем в Мюнхенском головном отделении "Лебенсборна". Расово неполноценные женщины не могли рассчитывать на место в Heim'е, а "неудавшиеся" дети уничтожались.

Немецкая журналистка Дороте Шмиц-Кёстер описывает в одной из своих книг, посвященных "детям фюрера", случай с Юргеном В., мальчиком, родившемся в полчинском Heim'е больным. Его забрали оттуда на "специальное лечение", что на языке Третьего рейха означало эвтаназию. Младенцев нашпиговывали люминалом и морфием. У детей с помутившимся от сильнодействующих препаратов сознанием возникало нарушение всех функций, они быстро заболевали воспалением легких и, не получая никакой медицинской помощи, умирали. Еще одно доказательство уничтожения "неудавшихся" детей "Лебенсборна" приводит немецкий историк Георг Лилиенталь. Среди документов одного из Heim'ов он нашел письмо с приказом о переводе умственно отсталого младенца в венское спецзаведение, которое действовало в соответствии с "идеей элиминации".

В секретных рапортах, попадавших на стол Гиммлера, имелось профессиональное описание каждой рожавшей в "Лебенсборне" женщины. Расово чистым и проверенным матерям легко было устроиться на работу в "Лебенсборн" или в иные, подведомственные СС, организации.

Гиммлер, который велел своим эсэсовцам пить минеральную воду, ибо она улучшает пищеварение, рекомендовал подавать на завтрак будущим матерям овсянку, поскольку "овес способствует укреплению нервной системы". Кормление грудью вменялось в обязанность всем женщинам без исключения. В специально отведенном для этого помещении одновременно кормили младенцев не-

сколько матерей, а патронажная сестра затем проверяла, сколько каждый ребенок высосал молока. Если у арийской матери не хватало молока, ребенка подкармливала другая.

В домах "Лебенсборна" увидели свет одиннадцать тысяч детей, половина родилась вне брака. Шарлотта Д. из Полчина, которая год помогала в Heim'е ухаживать за грудничками, а теперь неохотно об этом говорит, заметила, что половина матерей оставляла здесь своих детей. Считалось, что они жертвуют их фюреру. Так дети попадали в приемные семьи — в качестве "подарка от фюрера".

Эллен Лундт своего сына Вождю не оставила. Михелю сейчас пятьдесят девять лет. Статный рослый мужчина, в отца-моряка. Занимается рекламой, сочиняет музыку, снимает документальные фильмы. В настоящее время работает над фильмом о сотрудничестве Штази с польской Службой безопасности. Живет в Берлине в двух шагах от Гюнтера Грасса. О том, что он "ребенок 'Лебенсборна'" впервые узнал, когда пошел получать удостоверение личности. Он показывает нам свидетельство о рождении: Bad Polzin, "Лебенсборн" 18.09. 1941 г., 14 часов 15 минут, фамилия матери, в графе отец — прочерк.

— Помню, когда я женился, служащая отдела регистрации браков, увидев мое свидетельство о рождении, побежала показывать его коллегам. А моя жена сгорала от стыда, потому как думала, что меня произвели на свет в специальном месте, где люди плодятся как кролики, — смеется Михель. — А мама говорит, что я плод большой любви.

Дома "Лебенсборна" должны были стать источником новой аристократии СС. Гиммлер знал, что правильное разведение нужно не только для сохранения расовых черт, но и для их совершенствования. Своим распоряжением он запретил принимать в СС каждого четвертого кандидата, если тот — сын эсэсовца, дабы уберечь "большую семью СС" от близкородственного кровосмесительства. Для улучшения породы требовалась свежая кровь. Источником для нее стали внебрачные дети эсэсовцев и дети других расово полноценных немецких солдат, зачатые или родившиеся за пределами Третьего рейха, и особенно в Норвегии, где было так много ценимой Гиммлером нордической крови. Поэтому в Норвегии открылось целых девять домов "Лебенсборна", которые должны были поставлять больше всего — после домов в самом рейхе — расово чистых детей. Беременных норвежек Гиммлер отправлял на юг Германии, дабы заселить менее "благополучные" с точки зрения чистоты расы территории. Примерно раз в год организовывались облавы на "арийских" детей в оккупированных странах, главным образом во Франции и Польше.

В 1975 году Германию потряс фильм "Во имя расовой чистоты", снятый по книге Марка Хилеля и Клариссы Генри, которые первыми попытались приподнять завесу тайны над "Лебенсборном".

Одна из рассказанных в фильме историй начинается в Рогозно. 1943 год. Немцы вывозят отнятых у семей маленьких "расово чистых" детей. Ирэнку, единственную дочку Брониславы Эвертовской, забрали из дома прямо с горшка. После войны ее отыскали в приемной немецкой семье. Когда сотрудник Красного Креста пришел за девочкой, приемные родители закрылись с ней в туалете и не выходили оттуда несколько часов. Потом они поменяли место жительства. Эвертовская тридцать лет ждала дочь. Съемочная группа отыскала Ирэну в Германии. Разговаривать с ними она не пожелала. Выслала на улицу своего адвоката, который, стоя перед камерой в черном плаще и черной шляпе, сообщил, что у госпожи Н. - муж и двое детей, она вполне довольна своей жизнью здесь и не собирается возвращаться в прошлое. Фильм заканчивается эпизодом, где показанная крупным планом Бронислава Эвертовская по-немецки обращается к дочери: "Дорогая Ирэна, напиши мне несколько строк. Мне шестьдесят семь лет, я скоро умру, и ты заплачешь и пожалеешь, что не захотела написать матери".

Я решил отыскать Брониславу Эвертовскую и спросить у нее, отозвалась ли Ирэна, когда увидела мать по немецкому телевидению. Как я узнал, вскоре после съемок этой последней сцены Эвертовская, заболтавшись со знакомой в электричке по дороге в Оборники, вовремя не вышла на своей станции. Поезд тронулся, она на ходу спрыгнула на платформу, упала и разбилась насмерть. Родственники написали Ирэне: "Твоя мама умерла". Дочь не отозвалась.

Написано
в сотрудничестве с
Анжеликой Кузьняк.
2000 год

Яцек Антчак
Надежда на развалинах Всемирного торгового центра

Перевод Дениса Вирена

Было 11 сентября, около 9.00 по американскому времени, когда Эразм крикнул: “Ребята, поглядите, что делается”. И они засмотрелись на самолеты, врезающиеся в небоскреб, так что Чесек забыл о цветах. Шимон нервно смеялся. Зенек какое-то время не думал о своей женщине, а Кшисек – о сыне, который больше его не стыдится. Смотрели, пока не закончилась телетрансляция. Потом дом бездомных стал жить тем, что произошло за океаном. Решено: они соединятся с семьями погибших. При помощи памятника. С директором можно договориться обо всем, что хорошо и имеет смысл, а значит, они сделают это – “построят” развалины Всемирного торгового центра.

Символ того, что не все можно уничтожить.

Дом социальной опеки для бездомных мужчин во Вроцлаве, возглавляемый тридцатипятилетним Эразмом Хуменным, приобретает все большую известность. Обыкновенный барак на улице Реймонта только кажется обыкновенным. Фотогалерея, компьютерный класс, библиотека, фантастические растения в саду – с первого же взгляда ясно, что здешних жильцов избавляют от стереотипа бездомного, который они с собой приносят. И теперь эту художественную инсталляцию – знак солидарности жертв жизненных обстоятельств из Вроцлава с жертвами из Нью-Йорка – установят между загончиком с козами и оставшемся с Рождества велосипедом, разукрашенным как елка.

Эразм Хуменный уже не раз доказал, что знает, как вернуть обитателям дома чувство собственного достоинства. Стоя у памятника, он рассказывает о своих подопечных: больных СПИДом наркоманах, убийцах, ворах и алкоголиках, – а потом об исполнении их мечтаний. И об

© Jacek Antczak
© Денис Вирен. Перевод, 2011

амбициях Здислава с голосом Химильсбаха[1].

— Мы решили, что это будет символическое пепелище с предметами, которые могли бы там оказаться, и ребята начали собирать испорченные мобильные телефоны, клавиатуры и часы, найденные в мусорных баках. А Глос, весь из себя гордый, принес русский телевизор. Когда приятели убедили его, что русский не годится — не американский же! — и тем более не подходит к Всемирному торговому центру, Глос расстроился. А на следующий день притащил разбитые автомобильные окна. Это был выстрел в десятку, — рассказывает Хуменный, одновременно приглядывая за ремонтом дома. (Больше всего его обитатели радовались замене центрального отопления, потому что нашли в котловане бесценный для их художественной концепции предмет.)

Эразм также попросил "ребят" принести для памятника один кирпич и не удивился, когда они привезли несколько тачек. "No problem, пригодятся", — смеется Хуменный и договаривается о моей встрече с "ребятами", которых трудно поймать. Это действительно проблема, потому что даже в выходные нужно ухитриться втиснуться между групповым походом на матч "Силезии", сеансом "Планеты обезьян" и экскурсией на выставку Энди Уорхола. Надо ловить их либо вечером, либо утром, около восьми...

1. Ян Химильсбах (1931—1988) — актер, писатель и сценарист, по профессии каменотес; сыграл несколько десятков эпизодических ролей в кино; обладал характерным хриплым голосом. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

8.48. Самолет врезается в северную башню ВТЦ на Манхэттене
8.51. CNN и TVN показывают горящий небоскреб

В комнате Шимона висит большая фотография Моники Олейник. Шимон говорит: она красивая. Он не знал, что она журналистка, — это один из подаренных кем-то постеров, которыми украсили интерьер баракогостиницы.

— Знаете, я как-то смотрел телевизор, и друзья сказали, что это та самая женщина, фото которой у меня висит. А я и не понял, потому что на экране она похудее. — Шимон все время улыбается, хотя и расстроен. Он не сдал математику, а вдобавок сломался автобус, на котором он возвращался с последнего выпускного экзамена в Калише. В высоком, худом двадцатичетырехлетнем молодом парне в элегантном костюме трудно заподозрить бездомного, серьезно больного бывшего наркомана, еще только становящегося нормальным человеком. — У меня параноидальный синдром, эпилепсия, — перечисляет он и неожиданно задумывается. — Ладно, это неважно.

Когда я спрашиваю, о чем он мечтает — хотел бы отыскать сестру или просто иметь свой дом, — он каждый раз долго думает, смотрит отсутствующим взглядом и наконец с неуверенной улыбкой отвечает: "Не знаю".

Ему было 17 лет, когда они с сестрой попробовали травку. Вскоре пришел черед амфетамина, следом, очень быстро, – героина, и они – правда, поздновато – оказались в МОНАРе[1]. "Сестра сбежала из центра для бездомных, но она где-то во Вроцлаве, – рассказывает Шимон. – Ее видели около вокзала, она была в плохом состоянии". Он не договаривает, что еще два года назад сам был в похожем, а возможно худшем, состоянии.

Выпускник включается в создание памятника, обсуждает его с мужиками, даже помогает укладывать камни. Он говорит, что был потрясен: "Ведь это катастрофа, человеческая трагедия".

Тем не менее Шимон не попадает в четверку избранных, которые будут торжественно открывать инсталляцию. Он болен шизофренией, и на него находят приступы смеха в самых неподходящих ситуациях. Никому из обитателей дома это не мешает, но, если на церемонии будут люди со стороны, они могут не понять. Вместо того чтобы оправдываться, лучше похвалить его за то, что он за несколько месяцев сдал обществознание, химию, биологию и английский.

– Математика мне не по зубам, – улыбается Шимон. Ему предстоит переэкзаменовка. Одногруппники уже всё сдали и, когда автобус сломался, даже обмывали аттестаты на задних сиденьях. А он из-за этой аварии не успел на выставку Уорхола.

9.03. На глазах телезрителей в южную башню ВТЦ врезается второй самолет

9.23. Эвакуация людей из здания ООН на Манхэттене

Чесек как раз вернулся с выставки Уорхола. Ему понравилось. Он подчеркивает, что это он подбросил идею памятника, но не имел представления, каким тот должен быть. Вначале хотел построить две башни с врезавшимися в них самолетами, этакую маленькую копию ВТЦ, но мужики только кривились. Работы много, а все равно хорошо не получится. Лучше пусть будет символ.

Пятидесятилетний Чесек занимает высокое положение в иерархии, поскольку живет в отдельной комнате со служебным видеомагнитофоном фирмы "Томпсон". Чесек отвечает за доставку официальных бумаг и подходит к телефону в дежурке, так что он второй после бога (то есть после Эразма). Мы смотрим на его воплотившуюся мечту – аквариум с рыбками, спонсором которого стал стекольщик с улицы Парижской коммуны. Потом благодетель еще и заменил треснувшую стенку. Чесек все время повторяет, что их дом – это не приют. Директор ничего не запрещает, а выслушивает каждого и даже сам загорается и помогает. Поэтому Чесек в доброжелательной атмосфере выращивает у себя в комнате пятьдесят разных растений.

1. Неправительственная ассоциация, действующая на территории Польши и ряда других стран с 1981 г. Главное направление деятельности организации – помощь наркозависимым.

— Это еще мало. Моя особая гордость — крапива, красиво растет, — хвалится он.

Цветы успокаивают Чесека. У него часто "скачет" сердце. Но не от тоски по семье и прежней жизни. Мать была больна раком, а отец только пил и бил. Чесек не пил, зато все время убегал и воровал. И в Валбжихе, и в Твардогуре. Он говорит, что воровал, чтобы жить. Деньги и еду. Ночевал в парке и в подъездах. Потом — детская комната милиции, детский дом, исправительная колония и тюрьма. Двадцать шесть лет за решеткой. Когда вышел, впервые услышал о приютах. Предпочел Центральный вокзал в Варшаве. Однажды приятель предложил ему проехаться на поезде до Вроцлава. Так Чесек попал к Эразму, который ему верит. Если надо за чем-то сбегать, он даже дает Чесеку ключи от своей квартиры. А тот всегда пользуется случаем и поливает у директора цветы. Он гордится тем, что Эразм его хвалит. Недавно начальник сказал, что памятник — замечательная идея.

— Когда эти самолеты врезались, я не мог поверить. Там наверняка погибли и бездомные, а может, какой-нибудь бездомный поляк, — задумывается Чесек.

Пока мы курим, подсчитывая, сколько точно лет он провел в заключении, звонит мобильник. Чесек лезет в карман.

— Только в "Идее"[1] мне без проблем продали телефон. 50 злотых в месяц — не так уж плохо. Если не хватает, начальник одолжит.

— Но кто, кроме него, вам звонит? — спрашиваю я неделикатно.

— Когда у меня дела в городе, звонят, чтоб я по дороге сделал еще что-нибудь. Не приходится второй раз отправляться в город. Кроме того, мне иногда становится плохо с сердцем, и тогда не нужно искать телефонную будку. — Чесек настаивает, что у бездомного даже может быть машина. — Бывает, приходится перевозить тяжести на трамвае. А так бы раз, два — и готово. Бездомных водителей немало, встречаются и юристы без дома.

Один раз я огорчил безмятежного Чесека ("Как есть, так есть, могло быть хуже".) Он не знал, что Энди Уорхол умер. Но через минуту решил, что это не имеет значения.

— Говорили, что он больной, а у него ведь голова прекрасно варила, коли дошел до того, чтобы множить картины, и прославился. — Чесек вспоминает, что так же было с тем, кто написал "По ком звонит колокол". — Хемингуэй ведь тоже был болен и в конце концов застрелился, однако прославился, — уверяет он.

10.00. Рушится южная башня ВТЦ

10.30. Рушится северная башня ВТЦ

Если бы Зенек оказался в нужное время в нужном месте, например 11 сентября 2001 года у башен ВТЦ, то наверняка сделал бы потрясающие снимки.

1. Салон одного из польских операторов мобильной связи.

Он любит фотографировать. У него уже четыре альбома и еще пять непроявленных пленок. На фотографиях запечатлены все важные события: первая в его жизни вечеринка по случаю дня рождения (устроенная на улице Реймонта четыре года назад), море (которое он впервые увидел год назад), бездомная Халина (с ней он познакомился в Гданьске и отбил у приятеля) и сын, которого он не видел много лет и уже не увидит, сейчас ему было бы 25 лет. О том, что он умер, Зенек узнал из письма Управления социального страхования.

Жена? Когда он возвращался с работы на металлургическом заводе им. Берута в Ченстохове, ее никогда не было дома.

— Мы прожили вместе тринадцать лет, и она гуляла направо и налево. Я мог убить ее и сесть либо уступить, другого выхода не было, — рассказывает глухим голосом лысеющий пятидесятилетний мужчина. Он уступил. Сперва жил в подвале собственного дома, потом у Брата Альберта[1], а после — на вокзале. — Эти полгода были худшими в моей жизни. Я хотел покончить с собой. Но выдержал.

Уже семнадцать лет бездомный. Только недавно осуществилась его самая большая мечта. Он увидел море.

— Раньше не представлялось случая. Когда Эразм узнал о моем желании, то устроил всем нам "путешествие за одну улыбку"[1] в Гданьск, — заодно это было наградой за воздержание от алкоголя. Моя мечта принесла пользу и остальным.

Мы рассматриваем фотографии, и тут выясняется, что Зенек едва не поймал Маргарет Тэтчер около Двора Артуса[2]. Правительственная охрана отогнала его.

— Ну и на фото у меня только переводчик, — заключает он. — Приятель познакомился там с Халиной. Они поселились под Шродой Шлёнской, но я ее оттуда забрал, поскольку он не мог прокормить ее детей. — Зенек взял Халину под свою опеку. Устроил в центр для женщин, в километре от их "дома", вместе с друзьями привел ее комнату в порядок. Говорит про нее "моя женщина". — Посмотрим, как там будет, мы подали документы на квартиру, лет пять надо подождать.

А пока Зенек строит Всемирный торговый центр. Символ. Ведь там погибло столько людей, а он правая рука директора и первый во всем. Он запомнил — слышал по радио, — как одна американка, находясь на борту "Боинга", по телефону прощалась с мужем.

Зенек говорит, что если бы оказался тогда в Нью-Йор-

1. Общество помощи им. св. Брата Альберта — благотворительная католическая организация, действующая в Польше с 1981 г. Помогает бездомным мужчинам, женщинам, одиноким матерям, жертвам насилия, детям из бедных семей, пожилым людям, а также заключенным.

1. Отсылка к одноименному детскому фильму 1972 г., снятому Станиславом Ендрыкой.
2. Историческое здание в центре Гданьска.

ке, рядом с рушащимися зданиями, то делал бы снимки.

— Я даже чувствую, что успел бы убежать. Мне бы снова повезло.

10.07. Мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани: число жертв будет чудовищным

12.13. Иоанн Павел II называет атаки "невообразимым злодеянием"

Кшисек пил. От тоски по семье. До этого — за компанию. С тестем-алкоголиком. Когда семейная жизнь лопнула как мыльный пузырь, а суд постановил, что он виновен в "распаде семьи", пил с дружками. Сначала в гостинице, потом в рабочем бараке, наконец, по беседкам в парках. Пил и после первого причастия сына.

— Я узнал про причастие случайно и пошел в костел, чтобы помолиться за него, но подойти не осмелился, — признается Кшисек. — Потом пошел в бар. Пил и плакал, пил и плакал, пил...

Он переехал к брату, но смотреть на него, его детей и жену было невыносимо. Пил. С двумя злотыми в кармане поехал работать в лещинское воеводство. Вернулся с 200 злотыми и надеждой. Деньги пропил. Попал в приют. Там наконец остановился на своем неизбежном пути на вокзал.

— Меня держало на плаву то, что у меня всегда была работа. Одевался я в секонд-хендах, но неплохо, и в какой-то момент мне сделали в приюте замечание, что я выделяюсь среди других бездомных, — рассказывает Кшисек. — Тогда я понял, что дело не только в одежде. Я вновь обрел веру и стараюсь постепенно идти вверх. Снимать квартиру еще не решился — не уверен, что хватит сил для такой свободы, но у меня хороший контакт с сыном. Он навещает меня. Раньше я ему врал, но теперь знаю, что мы должны говорить друг другу правду. — Кшисек перечисляет ошибки, которые совершил в жизни. Уверяет, что будет учиться на них, чтобы уберечь сына, а может, и внука. Никакого вранья и водки. Самое главное — сделать так, чтобы сын его не стыдился. — Он не осознает, насколько мне нужен. В нем смысл моей жизни, от наших контактов зависит все. Но он уже начинает замечать меня и считать другом.

Кшисеку 37 лет. Ему интересен окружающий мир. Он читает газеты. Его подборка статей о теракте в Америке очень пригодилась для поиска деталей, необходимых для памятника.

— То, что произошло, выходит за пределы человеческого понимания. Невинных людей абсолютно сознательно отправили на смерть. Я искал в газетах мотивы, которыми руководствовались террористы. Я понимал, что наш памятник не может быть красивым, что в нем не должно быть купленных вещей — только поврежденные, которые ассоциируются с разрушением Всемирного торгового центра. — Кшисек считает, что совместное строительство памятника людьми, которые знают, что такое трагедия, — для них урок. — В одиночестве не знаешь, что с собой сделать.

Вместе мы даем друг другу надежду, что у нас все будет хорошо. Это же здорово.

18.41. Министерство обороны сообщает, что в ВТЦ погибло 200 пожарных

19.30. Президент Буш выступает с обращением к народу

Чесек, Кшисек, Зенек и другие бездомные написали в американское посольство. Им пообещали дать настоящую каску пожарника, спасавшего людей в горящих башнях ВТЦ. Даже если не сдержат слова, то, возможно, дадут хотя бы телефонную карту. На открытии памятника "ребята" будут обсыпаны мукой и в масках ("Посмотрите, начальник, вот так люди выглядели в этой пыли", — уговаривали они Эразма и показывали фотографии.) В воздухе будут летать листы офисной бумаги (11 сентября их были миллиарды). Кто-то из них скажет: "Безымянные трусы совершили нападение на нашу свободу. Да благословит Бог их жертвы и Америку", — в точности, как Буш (есть идея, чтобы эти слова произнес по-английски Томми Хьюз, бездомный американец польского происхождения, уже несколько лет после депортации из США живущий на улицах Вроцлава, а иногда в их приюте). Потом они угостят пришедших замечательным молочным киселем. И надеются, что все это покажут по телевидению.

Хотя Кшисека раздражает, как показывают бездомных.

— Всегда только тех, у кого нет надежды. Грязных, пьяных, замерзших. Конечно, таких много, они всегда будут. Но среди бездомных есть и нормальные люди. Если не платишь за квартиру, тебя выселяют — и ты уже бездомный. По закону достаточно, что у тебя временно нет прописки, — возмущается Кшисек. — У тебя нет дома, так еще и надежду отбирают.

"8.48" — так называется памятник ВТЦ, созданный бездомными из Вроцлава. Его открыли через два месяца после атаки террористов, ровно в 14.48 по польскому времени.

ГРОМ: *Сила и честь*

С *генералом* Славомиром Петелицким *беседует* Михал Комар

Фрагменты книги

Перевод Марины Болевской

Дело солдата — создать для отечества молнию, которая сверкнет, а в случае надобности — ударит.

Юзеф Пилсудский

Посвящается Кшиштофу Козловскому,
крестному отцу ГРОМа.

Бригадный генерал Войска польского (в запасе) Славомир Петелицкий родился 13.09.1946-го в Варшаве, окончил юридический факультет Варшавского университета; его дипломная работа по криминологии заняла первое место на конкурсе, организованном Генеральной прокуратурой. В 1969—1989 годах — офицер разведки ПНР. В 1990-м — инициатор и организатор армейского спецподразделения ГРОМ[1], которым командовал в 1990—1995 и 1997—1999 годах. Прошел трехгодичный курс антитеррористической подготовки командиров спецподразделений, проводимый специальной оперативной группой ЦРУ. Командовал контингентом ГРОМа в ходе операции "Uphold Democracy" в 1994 году в Республике Гаити[2]. С 14.05 по 13.06 1996-го — полномочный представитель премьер-министра РП по борьбе с организованной преступностью. В 2000—2009 годах — советник президента компании "Arthur Andersen", затем — президента корпорации "Ernest@Young". В настоящее время — независимый консультант по вопросам безопасности управления в кризисных ситуациях и

© Copyright by Sławomir Petelicki
© Copyright by Michał Komar
© Copyright by Wydawnictwo Literackie, 2010
© Марина Болевска. Перевод, 2011

1. Аббревиатура: Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego, то есть Группа оперативно-маневренного реагирования. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Здесь: защита демократии (*англ.*). Имеется в виду высадка морского десанта США на Гаити 19.09.1994 и восстановление власти свергнутого хунтой президента Гаити Жан-Бертрана Аристида.

защиты объектов критической инфраструктуры. В качестве эксперта выступает в прессе, по радио и телевидению. Его статья "Игра по-крупному. Чему бизнес-лидеры могут научиться от спецназовцев ГРОМа" получила приз "за лучший текст, опубликованный в польской версии 'Harvard Business Review' в 2003—2006 годах". Славомир Петелицкий — председатель совета Фонда бывших бойцов спецподразделений, почетный десантник 5-й и 10-й Групп специального назначения армии США, почетный аквалангист спецназа ВМС США, член Лондонского клуба вооруженных сил особого назначения. Кавалер многих орденов.

Михал Комар. Давай поговорим о том, как появился ГРОМ.

Славомир Петелицкий. 13 июля 1990 года министр внутренних дел Кшиштоф Козловский подписал приказ о создании воинской части № 2305 — Группы оперативно-маневренного реагирования.

М. К. И все?

С. П. Для меня тринадцать — счастливое число.

М. К. Сунь-Цзы[1] в трактате "Искусство войны" писал: "Запрети прорицания и не позволяй солдатам гадать об исходе боя".

С. П. Суеверие — это вера в сверхъестественные связи между явлениями, вера в роковую силу слов и цифр. Моя же уверенность основана на личном опыте, причем многократно проверенном. Я родился 13 сентября, в пятницу. 13 июля, тоже в пятницу, министр обороны Козловский подписал приказ о формировании подразделения ГРОМ. Первая боевая группа ГРОМа насчитывала 13 бойцов. Цифра тринадцать фигурирует также на знамени части № 2305. Самые важные решения я старался принимать именно тринадцатого числа, и, скажу без хвастовства — все они были правильные. Можно называть это как угодно — магией, стечением обстоятельств, счастливым случаем... У меня есть на этот счет своя теория.

М. К. Какая?

С. П. Расскажу в свое время.

М. К. Кшиштоф Козловский в книге "История с последствиями" писал о создании ГРОМа:

Меня тревожило отсутствие хорошо подготовленного антитеррористического подразделения. <...> Здесь нужно вернуться к переаттестации... На моем столе собралось невероятное количество доносов — время переаттестации благоприятствует творчеству такого рода. Доно-

1. Полулегендарный древнекитайский полководец (VI в., по другим источникам IV в. до н. э.), автор трактата о военной стратегии "Искусство войны".

сов на офицера, отвечавшего за безопасность польских дипломатических представительств. Мне стало любопытно, и я решил с ним поговорить. "Про вас плохо пишут!" — сказал я. "Думаю, они правы", — ответил он, чем вызвал у меня еще больший интерес. Слово за слово, и подполковник Славомир Петелицкий рассказал мне про свой замысел, который вынашивал годами, писал письма "наверх", но — безрезультатно. В свое время, после нападения на польское посольство в Берне, которое завершилось успешной операцией швейцарского подразделения "Штерн", он начал изучать проблематику антитерроризма и создал проект спецотряда по образцу Специальной воздушно-десантной службы вооруженных сил Великобритании SAS и американского отряда "Дельта". Ознакомившись с этим проектом, я подумал: вот то, что надо. И обратился к командующему Надвислянскими воинскими частями с просьбой выделить средства для ГРОМа. Министр обороны предоставил в наше распоряжение выбранную нами территорию. Нашлись также деньги и на соответствующие вооружение и экипировку. Что удивительно, на вооружении у министерства безопасности полицейского государства, каким в недавнем прошлом была ПНР, не было современных снайперских винтовок и пистолетов, зато имелось огромное количество химического оружия, тяжелых пулеметов и даже пушек... Приказ о создании ГРОМа я подписал в середине июля 1990 года: полковник Петелицкий очень быстро создал подразделение, о существовании которого общество узнало, если память мне не изменяет, в 1994 году, когда бойцы ГРОМа приняли участие в гаитянской операции "Uphold Democracy".

С. П. Это верно. Но думаю, следует кое-что добавить. Для министра Козловского, по очевидным причинам, ГРОМ был делом важным, но одним из многих. А для меня — самым важным.

М. К. Как родился проект ГРОМа?

С. П. Это долгая история, и, как у каждой такой истории, у нее несколько начал и как минимум несколько разных, связанных между собой, побудительных причин. Начнем с упомянутого Козловским нападения на польское посольство в Берне. 6 сентября 1982 года в посольство ворвались четверо мужчин, вооруженных дробовиками "ремингтон-вингмастер 870" и пластиковым бутафорским автоматом. Выстрелами в потолок нападавшие запугали служащих, затем переоделись в защитную форму, нацепили противогазы — видимо, думали, это придаст им грозный вид... Их предводитель — некто, назвавшийся полковником Высоцким, — заявил, что он командир вооруженного отряда Повстанческой армии крайовой (ПАК), а цель данной акции состоит в том, чтобы заставить правительство ПНР отменить военное положение в стране. Если правительство не выполнит требований ПАК, то здание будет взорвано вместе с пятнадцатью заложниками, находящимися внутри... В то время я был офицером разведки, занимался экономикой, и бернское

дело заинтересовало меня по простой причине: после возвращения из США в 1978 году я представил начальнику Отдела разведки генералу Яну Словиковскому проект антитеррористической группы – такой, как американские "Морские котики" и "Зеленые береты". Мой начальник сказал, что это интересно, от души похвалил за инициативу и бросил проект в корзину для бумаг, подлежащих уничтожению из-за секретности. Кстати, отмечу, что в 1990 году, когда министром внутренних дел стал Кшиштоф Козловский, я ознакомился с оценкой, которую мне дал генерал Словиковский: "На руководящие должности не годится!"... Однако вернемся к бернскому делу...

В телефонном интервью агентству "Ассошиэйтед пресс" "полковник Высоцкий" заявил, что он потомок капитана Петра Высоцкого – того, что участвовал в Ноябрьском восстании[1], и как потомственный патриот имеет право вести борьбу своими средствами вплоть до "взрыва 55 фунтов динамита". Поднялась шумиха в СМИ. Западные информационные агентства передавали, что "отряд антикоммунистически настроенных революционеров захватил посольство Польши", в ответ Агентство печати Польши сообщало, что требования Повстанческой армии крайовой "удивительно похожи на требования экстремистов из 'Солидарности' и государств блока НАТО, заинтересованных в поддержке напряженности в Польше". В Варшаве был создан межведомственный штаб, который предложил направить в Берн варшавских милиционеров из отдела безопасности министерства внутренних дел. Конечно же, швейцарцы на это не согласились. И слава богу, потому что при всем воодушевлении и храбрости тогдашних польских антитеррористов, качество их вооружения совершенно не гарантировало желаемого результата. Тем временем бернская полиция взяла посольство в кольцо. Начались переговоры с нападавшими, в которых наряду с переговорщиками-полицейскими принимал участие известный логик, философ и советолог, отец Иннокентий Бохенский, доминиканец. Оказалось, что отряд ПАК изменил требования. Вместо отмены военного положения он уже хотел получить три миллиона швейцарских франков и безопасный проезд в Албанию или Китай. Это вызвало очередную шумиху в СМИ и серию комментариев, один нелепее другого... Меня же интересовало, каким способом антитеррористический отряд "Штерн" будет проводить операцию по освобождению заложников. В результате переговоров террористы освободили женщин и, кроме то-

1. Польское национально-освободительное восстание 1830 г. на территории польских земель, находившихся в то время под властью царской России; началось 29 ноября 1830 г. в Варшаве.

го, согласились принимать продуктовые передачи. Именно в одну такую передачу и был спрятан оглушающе-ослепляющий заряд. Взрыв обезвредил двух террористов, которые принимали передачу. В этот момент был предпринят двусторонний штурм посольства — со стороны вестибюля и со стороны подсобных помещений. Операция заняла считаные минуты: первого террориста вывели из здания через тридцать секунд после взрыва, а "полковник Высоцкий" был так обескуражен случившимся, что подавился наполовину съеденным бутербродом и сдался без сопротивления...

М. К.Тогда-то ты и начал думать о подразделении типа ГРОМ?

С. П. Вернемся к 1979 году. Помнишь тогдашнюю суровую зиму — "зиму столетия"?

М. К.Помню.

С. П. Как бы ты ее описал?

М. К. В январе из-за чудовищных снегопадов и жутких морозов быстро наступила катастрофа. На электростанциях и теплоэлектростанциях закончился уголь: он либо замерз в штабелях, либо его нельзя было доставить из-за замерзших железнодорожных стрелок и обездвиженных локомотивов. Остановился автомобильный транспорт. Вышли из строя тысячи трансформаторных подстанций. Появились серьезные проблемы с доставкой продуктов питания, лекарств, одежды. Случаи отключения электроэнергии привели к падению производства (в некоторых отраслях на 80 %) и значительным потерям в поголовье крупного рогатого скота, свиней и домашней птицы. Некоторые больницы пришлось эвакуировать, в других приостановили операции. В общем, природа угрожала жизни и здоровью миллионов людей и поставила человеческое существование под вопрос.

С. П. Все верно. А теперь давай подумаем, какую роль в этой катастрофе сыграла стихия, а какую — человек? Штабеля угля на электростанциях были скованы льдом, что зимой вполне может случиться, но почему не хватило средств для размораживания? Остановился автотранспорт, потому что дизельное топливо не выдержало температуры ниже 12°. При такой температуре отказывала и система электрообогрева железнодорожных стрелок. На варшавских ТЭЦ температура на выходе достигала 110—115°, но в квартирах люди дрожали от холода и простужались, потому что пар терялся из-за негерметичных труб... А кто их сваривал? Мать-природа или человек? Оказалось, что во многих больницах не работали генераторы, а ведь их время от времени должны были проверять — в конце концов, кто-то же получал за это деньги...

В основе всего этого лежала уверенность, что все как-нибудь само собой устроится, поскольку всегда устраивалось, на смену зиме придет весна, потом лето, снег и лед растают, поэтому ничего не случится, а даже если и случится, то можно будет исправить. Легкомысленное отношение к легко просчитываемой опасности! Это же просто полное отсутствие воображения пополам со спесью...

На ликвидацию последствий зимней катастрофы была брошена армия. Тысячи солдат Войска польского и частей МВД сбивали лед со стрелок и расчищали дороги. При всеобщей уверенности в бездарности государственной системы армия казалась единственной силой в государстве, способной противостоять опасности.

Пару месяцев спустя, когда с варшавских улиц уже исчезли последние сугробы грязно-серого снега, меня направили в группу, задача которой, в общих чертах, заключалась в том, чтобы вызвать как можно больше паники.

М. К. А поконкретнее?

С. П. Речь шла о "ликвидации" начальника генштаба Войска польского, а также командиров воинских частей, дислоцированных вокруг Варшавы. А кроме того, о "ликвидации" министра внутренних дел и его ближайших сотрудников, и так далее.

М. К. Верится с трудом...

С. П. Это были учения... За два года до того разведка получила информацию о существовании так называемой *польской группы* в составе 10-й группы спецназа армии США. Сейчас объясню...

10-я группа специального назначения была сформирована в 50-е годы для ведения "нетипичной войны" в тылу армий Варшавского договора. Ее первый командир, полковник Аарон Бэнк, которого называют отцом "Зеленых беретов", во время Второй мировой войны сражался во Франции, затем командовал группой немецких коммунистов и евреев, готовившей операцию "Iron Cross" — поимку и убийство Гитлера. Отголоски этого есть в фильме "Бесславные ублюдки" Квентина Тарантино. После окончания военных действий в Европе полковник Бэнк был переведен в Индокитай, где установил контакт с Хо Ши Мином, коммунистическим вождем антияпонского партизанского движения. Он рекомендовал своему начальству в Управлении стратегических служб поддержать попытки Хо Ши Мина создать коалиционное правительство, которое будет противостоять колониальным притязаниям Франции. Он верно рассчитал, что шансы на успех французской интервенции весьма малы... Бэнк ушел в отставку в 1958 году, поселился в Сан-Клементе в Калифорнии. Уже будучи на пенсии, заинтересовался безопасностью расположен-

ной неподалеку атомной электростанции в Сан-Онофре. Ее сторожил всего лишь один охранник. Бэнк забил тревогу, он сообщил властям, что электростанция легко может стать объектом диверсии. Достаточно одного хорошо обученного спецназовца и парочки небольших взрывных устройств, или же одного ловкого вора, способного украсть материал для "грязной" атомной бомбы... Его слушали неохотно, к предостережениям относились презрительно, но Бэнк был упрям и смел, поэтому в конце концов, годы спустя, добился введения антитеррористической защиты на американских ядерных объектах...

Итак, разведка получила информацию о "польской группе" в составе 10-й группы спецназа армии США. Руководство МВД решило проверить, каковы возможности этой группы и в какой мере войска МВД, гражданская милиция и служба безопасности готовы противостоять диверсии. Существовала стопроцентная уверенность в том, что все ко всему готовы... Я знаю, что для тех, кто должен был нас поймать, заранее были выписаны премии.

В состав нашей группы входило семеро мужчин — офицеров разведки, и красивая рыжеволосая радистка... Определить местопребывание министра внутренних дел не составило особого труда. На огромных окнах его кабинета висели кондиционеры, единственные во всем здании МВД на Раковецкой. Снайпер выстрелил с колокольни костела, находившегося примерно в ста метрах на северо-восток от министерства — совсем близко от Пулавской улицы.

М. К. Выстрелил?

С. П. Из телеобъектива... Одновременно под окнами кабинета министра мы поставили "фиат". Он простоял там довольно долго, не вызвав интереса у охраны... Наши предпосылки были просты: раз убили министра, наверняка на место происшествия явятся вызванные по тревоге вице-министры и директоры департаментов, а возможно, и секретарь ЦК ПОРП[1], отвечающий за безопасность... И тогда прогремит взрыв.

М. К. В машине была бомба?

С. П. В ней лежали картонные коробки с надписью "Внимание, диверсия! Сообщить в ближайшее отделение милиции". Но если бы в коробках была взрывчатка, то от управленческой части здания МВД остались бы рожки да ножки. Ровно в то же время другие члены нашей группы переоделись в офицерскую форму и вошли в генштаб Войска польского...

М. К. Погоди... Что было в вашем распоряжении?

С. П. Немного польских злотых, немного долларов, два или три автомобиля, парочка комплектов "Юный печатник",

1. Польская объединенная рабочая партия.

пишущая машинка, фотоаппарат с телеобъективом, бумага для писем, конверты, петарды различных размеров с конфетти, опознавательные значки, которые следовало показывать в случае задержания нас милицией или другими службами. Еще у нас была рация, которую должна была запеленговать пеленгующая система... Но не запеленговала, потому что мы разместили рацию в снятой за доллары квартире на территории Академии Генштаба в Рембертове, там ее никто не искал... Доллары тогда высоко ценились. Квартиру нам сдала сестра офицера, который уехал в отпуск.

М. К. А где вы взяли форму?

С. П. Купили на базаре Ружицкого[1].

М. К. А пропуски в Генштаб?

С. П. "Юный печатник"! Куча всевозможных удостоверений и пропусков с солидными печатями... Это легко подделать... Кто несет караул у ворот Генштаба? Есть два варианта: или молодой солдат, который всего боится, или старослужащий, которому на все наплевать, потому что через пару дней у него дембель. Переодетые в форму члены группы показали часовому пачку бумаг, один из них гаркнул, что у них нет времени, мол, читай побыстрее, солдат! Этакий капральский окрик — сбитый с толку часовой только щелкнул каблуками и отдал честь. Они вошли в здание, разместили петарды с конфетти и спокойно вышли... Автором самых удачных проделок был Тадеуш Хентко, выпускник Высшей государственной театральной школы. Спустя несколько лет он прошел обучение в ЦРУ и Моссаде. Был резидентом польской разведки на Балканах во время гражданской войны. Помогал бойцам ГРОМа в Восточной Славонии. После возвращения в Польшу был назначен заместителем начальника разведки по оперативным вопросам в Управлении госбезопасности. Ушел в отставку, после того как один из его начальников решил, что разведке надлежит держать под колпаком членов оппозиционной партии.

М. К. Вернемся к учениям. Что было дальше?

С. П. Поднялась страшная суматоха. МВД "взлетело на воздух". Генштаб тоже... Началась широкомасштабная охота на диверсантов. Ширкомасштабная и бездарная. Из радиоперехвата мы узнали о маршрутах патрульных машин. Милиция останавливала автомобили, но, что интересно, только с варшавскими номерами. Например, остановили автомобиль марки "сирена", в котором сидело четверо абсолютно пьяных мужи-

1. Известный базар, расположенный в районе Варшавы Прага. В 90-е гг. считался криминогенным местом.

ков. На вопрос: "Вы диверсанты?" — те радостно ответили: "Да!" — и оказались во дворце Мостовских[1], где уже сидели шестьдесят подозреваемых, в том числе несколько офицеров. Органы посчитали их переодетыми диверсантами. У Громослава Чемпинского был "безопасный" автомобиль — с познаньскими номерами. Мы приехали к штабу Войска польского в Новом Дворе Мазовецком. В здании были зарешечены все окна, за исключением туалета на втором этаже. Громек высокий, он меня подсадил. Я забрался внутрь, переписал фамилии офицеров с табличек на дверях, разместил взрывные устройства... Через какое-то время в штаб приехал командующий. Осмотрел петарды с надписью "Внимание, диверсия! Сообщить в ближайшее отделение милиции". Позвонил коменданту местной милиции и устроил ему жуткий разнос за то, что тот, вопреки правилам, организовал учения на территории воинской части. А комендант ему в ответ: "Слушай, я не знаю, что происходит... нас тут снаружи заперли на цепь, мы не можем выбраться... и еще у нас угнали две патрульные машины..."

М. К. Вы их угнали?

С. П. Да... Поначалу все шло как по маслу. Но через пару дней противник вызвал подкрепление, усилил бдительность. На территорию воинских частей нельзя было проникнуть никаким способом. Тогда мы приготовили большие конверты с печатным текстом "Министерство иностранных дел. Секретно. Срочно. Лично в руки...", адресованные командующему, а внутрь вложили петарды с конфетти. Достаточно было подъехать к части и, передавая конверт дежурному, предупредить, что это дело государственной важности, исключительно срочное... Жертвой "взрыва" пакета стал, в числе других, бригадный генерал Ежи Ярош, командующий 1-й Варшавской механизированной дивизией в Легионове. Говорят, что он просто впал в бешенство, когда конфетти вылетели из петарды... Наблюдателем на учениях был назначен полковник Бексинский из разведки. Наблюдатель, как известно, обязан соблюдать нейтралитет. Мы решили проверить, так ли это на самом деле... Сообщили ему по телефону, что наш агент появится в назначенное время в условленном месте. И потом увидели из окна дома, где жил один из наших, как в этом самом месте собралась толпа сотрудников в штатском... Затем ночью мы совершили налет на ЗОМО[2]. Там были собаки. Мы их усыпили.

1. До 1990 г. во дворце Мостовских в Варшаве размещалось Управление гражданской милиции.
2. Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej — Моторизованные резервные части гражданской милиции (*польск.*).

И разложили "бомбочки" на лбах храпящих зомовцев... а тем временем взбешенные военные пришли к выводу, что во всем виновата милиция. В качестве реванша на территорию ЗОМО с военного вертолета сбросили огромную петарду. Сбросили неподалеку от бензохранилища, и едва не произошел настоящий взрыв. Из радиоперехвата мы узнали, что обе стороны конфликта обвиняют нас в похищении вертолета...

Наша радистка стала специалистом по управлению передвижениями милиции. Нам нужно было "взорвать" эстакаду Варшава–Легионово, объект стратегического назначения, который охранялся патрульной машиной. Радистка отправила туда команду разбираться с "какими-то драчунами"... Эстакада "взлетела на воздух", то есть мы поставили на ней большую световую шашку... Милиционеры боялись к ней подойти, докладывали по рации, что она может взорваться. Шашка горела два часа... Под конец пришло время пошутить. Из нашей радиостанции в эфир полетел женский плач: "Гражданин милиционер, не бейте меня по голове, я сделаю все, что вы хотите"... Через мгновение мы услышали рев из милицейского радиоцентра: "Номер патрульной машины? Немедленно отвечайте!"... В последний день один из членов нашей группы подъехал на "фиате" к дворцу Мостовских, зажег большую петарду и уехал... Учения длились две недели. Никого из нас не поймали.

М. К. И что из этого следует?

С. П. Двадцать лет спустя, на встрече у американского военного атташе, командующий Генштабом ВП генерал Генрик Шумский принялся подшучивать: "Ну что ГРОМ... такой маленький отряд... Самое большее, что вы можете захватить – это лачугу..."

М. К. И что ты ответил?

С. П. У меня на этот счет было свое мнение, поэтому я только вежливо улыбнулся.

<...>

С.П. Можно ли всегда жить согласно кодексу? Нет, зачастую не удается избежать конфликта ценностей. Польское авиационное законодательство (ст. 122а Закона от 3.06.2002), так же как и законодательство ФРГ, допускало возможность уничтожения гражданского воздушного судна, если того требовали интересы государственной безопасности и судно участвовало в противозаконных действиях – например, в воздушной террористической атаке. В сентябре 2007 года председатель Верховного суда обратился в Конституционный суд с требованием признать этот пункт статьи закона не соответствующим Конституции, что и было сделано в постановлении КС в 2008 году. В мотивировочной части обоснования читаем:

В данном контексте необходимо получить ответ на вопрос, может ли в демократическом правовом государстве, обязанном защищать жизнь и неприкосновенность человека, действовать закон, предоставляющий государственному органу право принимать решение о преднамеренном лишении жизни невинных людей ради того, чтобы предотвратить потенциальное нанесение ущерба.

Конституционное противоречие, рассматриваемое под таким углом зрения, затрагивает один из самых сложных вопросов, какой только может встать перед правоустанавливающими и исполнительными органами: вопрос о допустимости и границах действий по принципу "око за око": жизнь за жизнь. Драматизм дилеммы усугубляется также тем, что, с одной стороны, речь идет о жизни и безопасности людей на земле в зоне предполагаемой террористической атаки, а с другой — о террористах, с жизнью которых неразрывно связаны жизни невинных людей на борту воздушного судна. Поэтому необходимо учитывать ряд других фундаментальных вопросов, включая и те, что касаются цели существования данного государства и устанавливаемых им законов; системы ценностей, лежащих в его основе; отношений между отдельным гражданином и государственным аппаратом, а также границ принадлежащей ему власти. С этим связаны и кардинальные вопросы этико-философского характера, в частности, вопрос о ценности человеческой жизни.

Однако судьи добавили:

...отдельную проблему представляет допустимость уничтожения гражданского воздушного судна, что повлечет за собой смерть находящихся на борту людей в ситуации, когда данное судно используется как террористическое средство, угрожающее жизни людей, находящихся на земле.

И в завершение:

Необходимо отметить, что изъятие обжалованного пункта из правовой системы не означает, что нет правовых инструментов, позволяющих реагировать на угрозу в ситуациях, представленных в мотивировке пункта закона, признанного неконституционным. К ним относится, например, принцип высшей необходимости, а также — в случае, если на борту воздушного судна находятся исключительно террористы, — принцип необходимой обороны. Однако их применение требует принятия соответствующим государственным органом (или лицом, исполняющим роль этого органа) единоличного решения с учетом всех обстоятельств создавшейся ситуации, а также принятия на себя ответственности за последствия принятого решения. В порядке исключения закон может отменить наказание данного лица ввиду отсутствия вины, но в то же время не может легализовать действия, заключающиеся в преднамеренном лишении жизни невинных людей...

Если я правильно понимаю, Конституционный суд признал, что в подобных случаях допустимо прибегнуть к "снайперской операции".

И еще одно — мы говорим о воинском соединении, то есть о грозном и точном инструменте демократического правового государства. Применять его можно лишь в крайних случаях, когда исчерпаны все прочие средства. Солдаты это понимают: их жизнь зависит от правильности решений, принимаемых политиками. Более того, на солдата-гражданина, человека в мундире, ложится моральная и правовая ответственность за конкретные последствия того или иного политического решения. В весьма своеобразной форме это высказал министр Александр Щигло в связи с событиями в зоне военных действий в Нангар-Хель[1]: "...и не говорите мне, что я якобы в ответе за то, что банда идиотов стреляет по гражданскому населению". Того, кто считает, что солдаты — это пушечное мясо или машины для уничтожения, нужно держать как можно дальше от армии.

И здесь следует добавить, что спецподразделение[2], проект которого, после консультации с Бартломеем Сенкевичем и Войцехом Брохвичем[3], был представлен министру Козловскому, как предполагалось, через несколько лет сможет выполнять задачи, выходящие за рамки классической антитеррористической деятельности.

М. К. И что это означает?

С. П. К примеру, то, что на профессиональном языке называется контртерроризм, то есть удар, упреждающий террористический акт. Например, "Non-combat Evacuation Operation" — эвакуация посторонних лиц, оказавшихся на территории военных действий. Или "Direct Action" — операция, заключающаяся, в числе прочего, в нанесении прямых ударов по командным пунктам противника, по его энергетическим, телекоммуникационным и транспортным центрам. Это также ведение нетрадиционной войны. И прикрытие контингента вооруженных сил, действующих в условиях войны...

М. К. Ну ты и мечтатель...

С. П. Без мечтаний не обойтись... Сегодня ГРОМ полностью способен выполнять эти задачи.

М. К. Давай вернемся к 13 июля 1990 года... Тогда была эйфория?

С. П. Хм, если бы!

1. Афганская деревня, которую 16 августа 2007 г. обстреляли польские военные, несмотря на сведения о том, что боевиков там нет. От так называемого "дружественного огня" погибло шесть мирных жителей. В связи с этим разгорелся скандал, приведший к судебному разбирательству.
2. Речь идет о формировании спецподразделения ГРОМ.
3. Бартломей Сенкевич, аналитик, специалист по восточно-европейской политике, и Войцех Радуховский-Брохвич, юрист, принимали участие в создании ГРОМа.

М. К. Но ведь не грустил же ты!

С. П. Я знал, кто меня поддерживает. И был благодарен этим людям. И до сих пор благодарен. И не забыл про это. Но я чувствовал, что наткнусь на сопротивление... Нас ждала огромная работа. Нужно было набрать людей, где-то их расквартировать, найти подходящий полигон и построить на нем тренировочные объекты, а также отыскать неподалеку от Варшавы хорошо укрытое место для базы подразделения.

14 июля нас было шестеро. Ведением дел в бюро подразделения занялась Моника Купчик, до того момента работавшая в департаменте связи МИДа, — отличная стенографистка, свободно владевшая английским, превосходно умевшая работать с документами. К майору Стефану Козловскому и капитану Мариану Совинскому присоединился капитан Войцех Верещак из разведки. Я спросил Лешека Древняка, не подумает ли он над предложением о сотрудничестве... Он не дал мне договорить: "Согласен!" Сначала нужно было подобрать людей. Естественно мы подумали об офицерах, прапорщиках и сержантах, несущих службу в воинских спецподразделениях. Но как с ними связаться? В письме с грифом "Совершенно секретно", адресованном министру обороны, содержалась просьба разрешить нам проведение бесед с демобилизующимися солдатами срочной службы. С какой целью? МВД начинает набор в отряд, занимающийся охраной дипломатических представительств. Министр дал согласие. Теперь следовало показать, на что мы способны, — чтобы это совпадало с мечтами тех, к кому мы обращаемся. Ведь они стали спецназовцами не по принуждению, а по собственной воле, чтобы утолить тоску по тайнам и приключениям. И хотели быть настоящими бойцами. Уж такими они уродились!

Мы начали с солдатских жетонов — детали, важной для каждого солдата. Я получил номер 001, Козловский — 002, Совинский — 003, Верещак — 004, Древняк — 005. Крепкая команда: Древняк в 80-е руководил Польским союзом карате, имел V дан по карате и IV дан по джиу-джитсу, воспитал несколько тысяч спортсменов; Козловский — стрелок и тяжелоатлет, в рывке брал вес более 200 килограммов; Совинский — стрелок, борец, аквалангист; Верещак — стрелок, специалист по спасательным операциям на море, в жиме лежа брал вес 180 килограммов, на перекладине мог подтягиваться бесконечно; ну и я — стрелок и дзюдоист. У полицейских-антитеррористов мы одолжили револьверы "смит-вессон" с шестидюймовым стволом — с такими можно в мишень гвозди забивать... Мы летали на стареньком вертолете "МИ-2" в Люблинец, Болеславец и Щецин. Наши посещения спецподразделений всюду проходили по одной схеме. Радушный прием со стороны командиров. Да, радушный, но

что-то в их поведении было... Нет, не зависть. Скорее желание поучаствовать... Один из них, капитан Казимеж Дзядек, сказал с грустью: "Я, к сожалению, уже не подхожу по возрасту!" По лицам младших офицеров видно было, что они очень заинтересованы. Потом следовал показ нашего мастерства, который я завершал самоуверенной фразой: "У нас все такие!" Под конец выстраивалась очередь желающих. Глаза у них горели...

М. К. Что ты им обещал?

С. П. Дарил надежду... Никаких обещаний. Да и что я мог обещать? В лучшем случае — кеды, которые мы заготовили для предстоящей проверки на беговой дистанции. Воинская часть № 2305 располагала маленькой комнатушкой в здании МВД и двумя старыми автомобилями "полонез". В одном из них мне удалось — благодаря особой уловке — установить телефон правительственной связи. Видна птица по полету! Такой телефон был у восьми человек в государстве. Технически он был не слишком надежен, но зато эффективен, когда требовалось произвести впечатление на людей, придававших большое значение атрибутам власти и престижу. Вот на что дана человеку пробивная сила! Это помогло мне решить пару вопросов для ГРОМа. Помню изумление начальника Генштаба, которому я позвонил по дороге в его офис. "Так у вас в машине есть 'вертушка'?" — "Конечно, господин генерал! Я постоянно должен быть на связи с руководством!" Через несколько дней я узнал, что у генерала в автомобиле появился телефон.

М. К. Комнатушка, два "полонеза", позаимствованные револьверы "смит-вессон"... И вертолет.

С. П. Я предпочитаю поговорить об огромном мастерстве пилота, который позднее, кстати, перешел в ГРОМ, чем об этом странном летательном аппарате. Помню опасный перелет из Вроцлава в Варшаву. В районе Ловича пилот слегка побледнел. Нетрудно было догадаться, что дело в серьезной неполадке. Утечка топлива. Мы сели в последний момент — бак пуст, а двигатель заглох. Пилот опустился на колени, поцеловал землю и сказал, указывая на винт, что на языке летчиков он называется божьим. Потому что если перестанет крутиться, останется только кричать: "Бо-о-о-о-же!"

М. К. Комнатушка, кеды... Ведь у ГРОМа была удобная база в Надвислянских воинских частях, в одном из самых красивых мест Варшавы, за парком Лазенки.

С. П. Временная база... Сейчас поясню. Часть № 2305 подчинялась напрямую министру внутренних дел. Со временем контроль над ней взял на себя начальник Управления госбезопасности Анджей Мильчановский. О реальном назначении базы (она была секретной) знали всего несколько человек. Наши офицеры

(солдаты срочной службы не принимались во внимание) фигурировали под чужими именами. Из соображений безопасности ГРОМ был размещен под прикрытием подразделения Военной жандармерии. Нам досталось несколько комнат от ликвидируемой Внутренней службы Надвислянских воинских частей.

Министр обороны уверял Козловского, что нам выделят территорию для солидной тренировочной базы. Вопрос был спущен ниже – для исполнения. Я выбрал участок в центре полигона между Рембертовом, Веселой и Зеленкой. В центре – потому что так лучше всего спрятать базу. Такой совет я получил от американских и английских экспертов. Но господа из министерства национальной обороны предложили мне заболоченный участок бездорожья, куда время от времени падали артиллерийские снаряды с соседнего полигона. Анджей Мильчановский решил обратиться к одному из вице-министров МНО. Я сопровождал его во время этого визита. Вице-министр кивал, уверял, что все понимает, а в конце беседы заявил, что у армии есть собственные нужды... Вот как откликнулась Польша с ее узковедомственными интересами! Тогда я попросил помочь своих студенческих друзей, а надо сказать, что я учился на одном курсе с выдающимися юристами: Ежи Стемпенем, Петром Крушинским и Хубертом Издебским. Они занялись проверкой того, имело ли минобороны исключительное право пользоваться полигонами.

<....>

М. К. Ты можешь что-нибудь рассказать про свою поездку в Америку?

С. П. Это был курс управления в кризисных ситуациях. Он длился около двух недель. Я еще ненадолго остался.

М. К. Зачем?

С. П. Американцы знали, что я занимаюсь организацией спецподразделения. Думаю, они хотели ко мне присмотреться.

М. К. Вспоминали ли они о твоей работе в США в 70-е годы?

С. П. Нет. Я знал, что они знают, что я знаю, что они знают... Я познакомился с несколькими выдающимися сотрудниками американских секретных служб...

М. К. С кем именно?

С. П. Фамилий называть не буду, но могу сказать, что о результатах их действий ты читаешь в передовицах ведущих газет мира... Мне показали парочку интересных мест. Например, в Александрии, в штате Луизиана, я посетил расположенную посередине огромного полигона базу одной из групп спецназначения. Это элита из элит. Оружие высочайшего качества, начиная со снайперских винтовок и заканчивая луками. Я получил большую стопку книг об организации антитеррористических операций и спецназа.

М. К. И что потом?

С. П. Я вернулся в Польшу. Меня назначили командиром ГРОМа... А тем временем мои друзья-юристы перерыли горы документов и выяснили, что у министерства обороны нет исключительного права на пользование полигоном. С соответствующим письмом я посетил министра по охране окружающей среды, природных ресурсов и лесного хозяйства. И у меня все получилось! Тогда я отправился к начальнику Генштаба Здиславу Стельмашуку — сообщить, что начинаю огораживать выбранную территорию. В самом центре полигона. Он обозлился. Я стал объяснять, что дело секретное, имеющее особое значение. "Там должны ездить танки, бронетранспортеры!" — доказывал он. "Да пускай ездят, только вокруг. Они же могут поворачивать вправо и влево..." Генерал задумался. Я понимал: то, что я говорю, противоречит складывавшейся веками традиции, нарушает схематичное представление о воинских порядках. Армия не любит новшеств. И тем не менее Стельмашук кивнул. Согласился!

М. К. А что с оружием?

С. П. Министр Козловский позволил нам провести ревизию на складах МВД. Впечатление угнетающее. Старые пушки. Большое количество бразильских подделок пистолетов "беретта 6.35", которые разваливались после тысячи выстрелов. Мы получили партию новеньких пистолетов "P-64/83"[1]. После пристрелки 70 % пошло в утиль. Снайперские винтовки "СВД" не соответствовали стандартам... Я поехал вместе с Яцеком Бартосяком — отличным стрелком из разведки, участником операции Громека в Ираке, и Войцехом Верещаком в Оберндорф, на заводы "Маузера", а также в "Хеклер и Кох". В "Маузер-Верке" нам удалось одолжить один экземпляр винтовки "SP86R". Она нам потом очень пригодилась. Господа из "Хеклер и Кох" почувствовали себя уязвленными, когда оказалось, что Бартосяк и Верещак превосходят их заводских стрелков в меткости. Мы услышали ядовитые комментарии, что, мол, неизвестно, зачем мы вообще сюда приехали, ведь и так правила КОКОМа[2] не разрешают продавать оружие Польше как члену Варшавского договора, и даже если такое разрешение будет получено, то уж наверняка не завтра и не послезавтра... Нам адресовали язвительные улыбочки. Немецкие оружейники знали, что мы очень хотим получить пистолеты-пулеметы "MP5". Оружие, которое не дает отдачи. Из него можно попасть в глаз террористу, который половину лица заслонил головой заложника. Итак, они знали, что мне это очень нужно, и их отношение стало вдвойне неприяз-

1. Польского производства.
2. Координационный комитет по экспортному контролю.

ненным. Я же, в свою очередь, знал, что "Хеклер и Кох" вскоре будет куплен "Бритиш аэроспейс"[1] и тогда доступ к их продукции упростится. После очередного ироничного замечания хозяев я решил: все, с меня хватит... И напомнил им, что изобретателем запирающего роликового механизма, которым они так гордятся, был поляк, инженер Эдвард Стек, а немцы раздобыли его проект после вторжения в Польшу в сентябре 39-го. Раздобыли — то есть украли. На этом обмен любезностями закончился, и мы вышли с завода, чувствуя спиной взгляды, исполненные настоящей вражды.

Яцек Бартосяк погиб в октябре 1995 года в Ливане. Писали, что он стал жертвой покушения.

М. К. В конце 1990 года первый отряд ГРОМа...

С. П. Первых тринадцать...

М. К. ...был готов начать тренировки.

С. П. ...уже начали тренироваться... Мы строили полосу препятствий, стрельбище. Нам помогали офицеры из Надвислянских воинских частей. Некоторые из них позднее перешли в ГРОМ. Кое-какие виды работ нужно было делать самим. У кого-то были знакомые в ФСО[2] — оттуда мы получили изношенные покрышки. Кто-то достал приводы для горнодобывающего оборудования. Майор Васяк из 6-й Поморской воздушно-десантной бригады обеспечил экскаваторами... А тем временем произошла смена правительства. Министр Козловский вернулся в Краков, в редакцию еженедельника "Тыгодник повшехны". Его место занял Хенрик Маевский, бывший заместитель воеводского коменданта полиции в Гданьске. От Сенкевича и Брохвича я узнал, что над ГРОМом нависли тучи.

<...>

С. П. У меня было еще несколько важных и неотложных дел.

М. К. Каких?

С. П. Начнем с ботинок... Легких, прочных, водонепроницаемых, устойчивых к низкой и высокой температуре, "дышащих", впитывающих пот, от которых ноги бойца не будут уставать. То есть таких, каких у нас не было. Спецназовец должен порой совершать марши-броски на двести километров. Обувь — основной элемент экипировки. Дело было так: министр Мильчановский приехал вместе с министром внутренних дел ФРГ на учения ГРОМа. Гости стояли за стенкой из плексигласа, а мы демонстрировали свою сноровку. Через какое-то время я получил приглашение посетить в Германии GSG-9 (9-ю пограничную группу), ту самую, которая в октябре 1977 года провела с помо-

1. Английская авиаракетно-космическая и автомобильная компания.
2. Завод по производству легковых автомобилей в Варшаве.

щью англичан операцию по освобождению 86 заложников в Могадише. Я поехал в Санкт-Августин. Познакомился с командиром подразделения генералом Ульрихом К. Венгером. С чувством острой зависти я осматривал учебный центр GSG-9. У нас был домик из покрышек и макет автобуса, сделанный из ящиков для боеприпасов, а у них — электронные макеты самолета и поезда. И ботинки. Специально выпущенные для GSG-9 фирмой "Адидас". Отличные! Легкие! Прочные! Не сравнить с нашими. По разнарядке солдату полагается одна пара ботинок в год. Я спросил у своих бойцов, что, если по цене двух полагающихся по разнарядке пар, я куплю им по паре таких "адидасов" на два года? Конечно! Ботинки этой фирмы сослужили ГРОМу отличную службу. И, как и предполагали американцы, вызвали ведомственную зависть у нескольких генералов.

М. К. Теперь такие "адидасы" любой может приобрести через интернет-магазин e-Bay.

С. П. Но мы говорим о давнем времени — до информационной революции... Сегодня каждый может купить навигатор GPS... А тогда? Я помню, как был изумлен, когда молодые немецкие спецназовцы пригласили меня проехаться ночью на новой модели "БМВ". На приборной доске автомобиля располагался экран GPS. Они были первыми пользователями этого устройства в Германии. Я размечтался тогда, что когда-нибудь, в далеком будущем, у ГРОМа тоже будет доступ к GPS... И мы поехали. Автомобиль развил скорость почти до 250 километров в час. Я был спокоен, потому что слышал, что при такой скорости в немецких машинах автоматически отключается подача топлива. Но нет! Это была модель, выпущенная специально для GSG-9. Водитель улыбнулся, надавил на педаль. 280 километров в час! Тогда я вспомнил шутливую поговорку, что у немца в жизни бывает всего одна автомобильная авария. Шутки шутками, но у меня тогда смерть стояла за спиной. Водитель притормозил и спросил, каковы впечатления. Я ответил, что у нас в ГРОМе бывает похоже... И еще добавил пару слов про ботинки. При следующем посещении GSG-9 от одного из спецназовцев морской части я узнал, что в Бундесвере заслуженной популярностью пользуются ботинки польской фирмы "Купчак". Со временем ГРОМ тоже начал пользоваться услугами фабрики братьев Купчак.

Итак, ботинки у ГРОМа уже были... Но не было собственной базы и квартир для спецназовцев и их семей. Я нашел подходящую территорию с железнодорожной веткой и хорошо развитой инфраструктурой. С середины 50-х эту территорию занимала советская часть сил особого назначения, которая как раз — это был 1993 год — готовилась к уходу из Польши.

Так удачно сложилось, что расположенный к нам министр Мечислав Ваховский решил показать наше подразделение президенту Леху Валенсе. Я попросил начальника БОП, чтобы он привез президента и сопровождающих лиц автобусом с высоким шасси, потому что на полигоне жуткие ямы, жалко правительственные лимузины, они могут получить повреждения.

М. К. Это была уловка?

С. П. Там действительно были ужасные выбоины. А я надеялся, что после показа смогу сесть в автобус, проехать мимо объекта спецназа и попросить президента помочь нам получить эту территорию. Первая часть показа прошла в крытом тире. Я решил, что офицеры будут в темноте стрелять рядом со мной боевыми патронами. Гости получат приборы ночного видения... Офицеры считали, что это слишком большой риск. Достаточно того, чтобы чуть-чуть сдвинулся прикрученный пластырем лазерный целеуказатель, и очередь вместо манекена попадет в меня. "Господа, сосредоточьтесь, — сказал я, — в последний раз..." На гостей это произвело огромное впечатление. Темнота, грохот, вспышки. Все прошло удачно. Потом полковник Гавор попросил показать президенту — который охотно принимал письма от случайных людей, — как маленький кусочек семтекса[1], спрятанный в конверте, отрывает манекену руку. Я вручил президенту конверт, пояснив, что, когда он его откроет, загорится лампочка, имитирующая взрыв. Лех Валенса открыл конверт и... ничего не произошло! "Господа, я ведь электрик..." — засмеялся он и скрутил два проводка. Лампочка загорелась... Мы поехали на полигон в Рембертове. Вторая часть показа прошла великолепно. И тогда — к моему удивлению и радости — президент Валенса вручил мне Офицерский крест Ордена возрождения Польши.

М. К. За показ?

С. П. За операцию, которую мы провели вместе с американцами.

М. К. Какую такую операцию?

С. П. Кое-что произошло, и нужно было навести порядок.

М. К. Скажи еще хоть словечко!

С. П. Нет! В конце концов, мы сели в автобус. Когда проезжали мимо базы спецназа, я сказал: "Пан президент, мы ведь бездомные..." В ответ на это президент Валенса обратился к министру Ваховскому: "Прошу вас проследить, чтобы этот объект был передан ГРОМу".

М. К. И вопрос был решен?

С. П. Нет. Это было только скромный пролог.

1. Вид пластичной взрывчатки (изобретена чешским химиком Станиславом Бреберой в конце 1950-х гг.).

М. К. За прологом должен последовать рассказ.

С. П. Сейчас я думаю, что борьба за базу для ГРОМа и жилье для солдат была труднее, чем учения в США. Там нужно было победить свой страх, свою слабость. Если бы я проиграл сам себе — что поделать, значит, не смог. А здесь очень уж велика была ставка...

Услышав слова президента Валенсы, я впал в эйфорию. У нас есть база! Но эта эйфория длилась недолго. Через несколько дней до меня дошли слухи о том, что министр Ваховский договорился с начальником Генштаба Тадеушем Вилецким, и они сообща решили, что объект будет передан министерству обороны. Говорили, там построят высокодоходный топливно-обогатительный цех. Не хотелось в это верить, но слухи все расползались. Тем временем министр Ваховский огорчил министра Мильчановского — сообщил ему, что на территории, которую я выбрал, будет создана школа военной разведки. Еще одна школа разведки? Зачем? Почему? Все это выглядело как-то странно. Я попросил Мильчановского предоставить мне право действовать. "А чего вы добьетесь, раз президент изменил свое мнение..." — "Я попытаюсь..." Министр строго посмотрел на меня, подумал и наконец кивнул в знак согласия.

Я отправился к Бартеку Сенкевичу и Войтеку Брохвичу с просьбой о помощи. Они проделали огромную работу, благодаря которой премьер-министр Анна Сухоцкая — не очень-то жаловавшая министра Ваховского — согласилась передать эту территорию ГРОМу. Окончательное решение должен был принять варшавский воевода Богдан Ястжембский. Я отправился к нему в Страстную пятницу 1993 года. Воевода был очень вежлив, но у него были какие-то обязательства перед Генштабом, поэтому он колебался. "Пан воевода, это решение пани премьер-министр..." Я связался по телефону с Робертом Карвовским, замминистра в канцелярии председателя Совета министров, который был в курсе дела, и передал трубку воеводе. Дело увенчалось успехом! Теперь нужно было позаботиться о том, чтобы русские не разрушили имеющуюся инфраструктуру. В обход всех правил я связался с полковником Ежи Лотковским, заместителем представителя правительства по делам войск Российской Федерации в Польше. Замечательный человек! Он выслушал меня благосклонно и с интересом. Взял телефон, связался с командиром отряда российского спецназа и осторожно завел разговор о том, что их объект будет передан Военной жандармерии, и именно в связи с этим к нему придет полковник Добровольский из жандармерии, чтобы попросить... "Что?" — заинтересовался русский. "Ну, к примеру, у вас там есть такая большая антенна... Так вот о том, чтобы вы ее не убирали..." — "Тогда пусть полковник

Добровольский сам ко мне приедет", – заявил командир отряда спецназа. Я положил в чемоданчик шесть бутылок "Абсолюта", но Лешек Древняк объяснил мне, что не годится ехать с одной только водкой. Мы скинулись и купили видеомагнитофон на Стадионе Десятилетия[1]. И я отправился в путь. Прошел на территорию отряда. Перед зданием, в котором размещалось командование, рядом со стеклянной будкой на каменном постаменте стоял часовой с автоматом Калашникова, неподвижный, словно статуя. Это выглядело странновато. Но по-настоящему мне стало не по себе, после того как мы распили вторую бутылку. Мой хозяин относился к водке с детской радостью, с симпатией, с пиететом поистине безграничным. Безграничным! – вот самое лучшее определение. Ну можно ли отстать от него? Правда, зная, что предстоит порядочная пьянка, я заблаговременно съел двух угрей, но разве при таком темпе выпивки можно сохранить трезвый рассудок? Первая часть беседы проходила в кабинете. Затем по просьбе хозяина мы перебрались в сауну. Может быть, он хотел проверить, нет ли у меня при себе микрофона? А может, просто любил выпивать при высокой температуре? Наверное, и то и другое. Итак, мы грелись и пили. Полковник подсунул мне закуску – сушеную рыбку с запашком перезрелого зеленого сыра. Я ответил ему, перефразировав Сергея Бондарчука из "Судьбы человека", что бравый польский солдат после второго литра не закусывает. И вдруг полковник говорит: "Я тебе отдам эту антенну!" – "Тогда выпьем. Твое здоровье!.." И мы выпили. "А может, хочешь и теплицу?" – "Хочу", – отвечаю. "Ну, так получишь и теплицу!.." Пьем дальше. Он смотрит на меня, улыбается и говорит: "А у меня еще жилой дом есть..."

Большинство солдат ГРОМа, собранных по всей Польше, жили в интернате Академии министерства обороны, и то благодаря доброму отношению к нам ее ректора генерала Тадеуша Емёлы. Но сколько можно жить в интернате, вдали от семьи? Это плохо влияет на психическое состояние спецназовцев. Я утешал их, говоря, что они получают деньги за то, за что другим приходится платить втридорога: прыгают с парашютом, ходят в горы, ездят на лыжах, спускаются под воду с аквалангом... Но это довольно слабое утешение. Люди с таким высоким уровнем профессионализма заслуживают очень хороших условий, а между тем какие-то чиновники выдумали, что, раз ГРОМ – небольшой отряд, то ему будут выделять по одной квартире в год. В интернате было довольно тесно, хотя обычный студент, наверное, считал бы, что все нормально. Но дело в том, что бой-

1. Стадион в Варшаве, долгое время использовавшийся в качестве вещевого рынка. Сейчас на его месте строится новый стадион.

цы ГРОМа — энтузиасты, все свободное время, предназначенное для отдыха, они тратили на отработку операции захвата помещений. И единственным местом, где они могли этим заниматься, был интернат. Случались конфликты с уборщицами... Поэтому слова русского полковника произвели на меня ошеломляющее впечатление. "У меня есть дом. Семьдесят четыре квартиры. Хочешь?.." Я кивнул. "Тогда я отдам приказ, чтобы не демонтировали инженерные системы..." — ответил мой благодетель из спецназа и поднял стакан. Мы выпили.

На следующее утро я все еще был пьян. А нужно идти решать неотложные дела моего подразделения. Ничего не поделаешь... Когда я выходил из дома, жена многозначительно покрутила пальцем у виска: "Если ты сыграешь в ящик, то будешь вместе с Дьяволом (моим заместителем Лешеком Древняком) из ада все эти важные дела решать..." Я пошел к врачу. Он сказал, что у меня в крови смертельная доза алкоголя. Смер-тель-на-я! Он не шутил. Со смертью в ГРОМе я несколько раз встречался лицом к лицу. Когда спецназовцы стреляли рядом со мной боевыми патронами и выбивали двери мощными зарядами. Шел ли я на неоправданный риск? После предварительного обучения в США мы должны были высадить — впервые в Войске польском — воздушный десант из вертолета на так называемом "быстром канате". Я должен был участвовать в этом, то есть как командир должен был спуститься первым. А накануне у меня была высокая температура — 40 градусов, — я был ослаблен тренировками в Бещадах, постоянным недосыпанием и простудой. Поэтому я вызвал нашего врача и распорядился, чтобы он привел меня в такое состояние, чтобы я мог спуститься. Моя жена сказала, что от температуры у меня поехала крыша. Но врач сделал свое дело. Я спустился. Это было не слишком разумно? Просто глупо? Видимо, у каждого возраста свои законы. Я считаю, что о спокойной жизни мужчина вправе подумать, когда ему стукнет шестьдесят.

В гмину[1], на территории которой стоял жилой дом, я отправил команду с большим количеством спиртного. Сам я, вымотанный после встречи с русским полковником, предпочел держаться в стороне. Мы получили здание в бесплатное пользование на полгода. Дом был в ужасающем состоянии, но раздумывать было нечего. Все квартиры заняли бойцы ГРОМа. Я полагал, что едва ли найдется смельчак, который захочет их оттуда выкурить. И был спокоен: подразделение получило базу и жилой дом, теперь все время следовало посвятить тренировкам.

1. Мелкая административно-территориальная единица.

Однако я недооценил упорство противника. Однажды меня срочно вызвали к министру Мильчановскому. Он был раздражен. Оказалось, что два высокопоставленных чиновника из МВД прислали на меня донос. Будто бы я беззаконно занял здание, предназначенное для министерства. Я стал объяснять, что никто в МВД даже не знал о существовании этого дома. Министр раздражился еще сильнее, на этот раз — на авторов доноса. Я попросил его, чтобы он поехал со мной на место и посмотрел, в каком состоянии квартиры. Он поехал. И удивился, что бойцы согласны жить в таких убогих условиях. Я объяснил ему, что ремонт мы сделаем позже, когда будут деньги.

М. К. Я вернусь к вопросу о боевой готовности — когда ГРОМ достиг состояния combat ready?

С. П. Нам необходимо было как можно быстрее усвоить ноу-хау, которым располагали американские инструкторы. Как можно быстрее — это значит, когда позволят повторяемые сотни раз рутинные тренировки, которые позднее должны быть дополнены отработкой конкретных операций. Самое сложное — освобождение заложников, так как необходимо одновременно уничтожить террористов и сделать все, чтобы с заложниками ничего не случилось. В нескольких странах бывали случаи, когда к зданию, в котором преступники держали своих жертв, подъезжал отряд, называющийся антитеррористическим, и, не владея ноу-хау, вместо того чтобы ликвидировать виновников и спасать заложников, открывал стрельбу вслепую, без разбору. Такой случай произошел в Египте, когда во время штурма захваченного самолета погибло 80 % пассажиров... Впрочем, даже отлично обученные спецназовцы не помогут, если антикризисный штаб не организует надлежащей сети информационного обмена, не сумеет обеспечить материальную базу, в том числе медикаменты. Вот пример: 23 октября 2002 года чеченские террористы захватили московский Театр на Дубровке, взяв в заложники более 800 зрителей. Спустя три дня к операции подключились русские спецназовцы. Газ, который они применили, привел к смерти 41 террориста и 120 заложников. Тогда много писали о непрофессионализме бойцов российского спецназа. А ведь эта чрезвычайно сложная операция была проведена просто мастерски. Террористы были уничтожены. Но подвел антикризисный штаб, который, держа в тайне информацию о примененном боевом газе, а соответственно, и о противоядии от него, допустил, чтобы освобожденных заложников развезли по нескольким десяткам разбросанных по городу больниц. Я слышал, из-за просчетов антикризисного штаба часть спецназовцев тоже не получила инъекций с противоядием.

Итак, мы отрабатывали различные тактические варианты, которые, кроме точной координации действий, кроме физической и стрелковой подготовки бойцов, требуют также специальных знаний по части взрывчатых веществ, оказания медицинской помощи и так далее.

26 марта 1993 года я принимал в ГРОМе американских специалистов, которые должны были оценить уровень нашей подготовки. Группу возглавлял адмирал Уильям О. Студеман, заместитель директора ЦРУ. Проверка прошла успешно. И даже более чем успешно. Я получил такое официальное письмо:

Уважаемый полковник Петелицкий! Прошу Вас принять благодарность за проведение для нашей делегации показательных действий по освобождению заложников. Профессионализм и преданность делу, продемонстрированные Вашим подразделением, произвели на нас глубокое впечатление. Вам есть чем гордиться! Хотим заверить Вас в том, что, со своей стороны, мы будем оказывать Вам поддержку во всем, что может способствовать совершенствованию подготовки Вашего подразделения. Я буду безмерно рад, если Вы примете приглашение и нанесете мне ответный визит в Вашингтоне. Желаю Вам успехов в Ваших последующих начинаниях.

С глубочайшим уважением

Адмирал военно-морского флота США, заместитель директора ЦРУ

Уильям О. Студеман.

Я с удовлетворением прочел это письмо. Приятно сознавать, что наши усилия были оценены по достоинству. Но потом перечел его еще раз. И почувствовал легкое беспокойство. Адмирал писал о ГРОМе исключительно как о подразделении по освобождению заложников, а ведь мы жили надеждой на то, что получим доступ к ноу-хау в таких областях, как спецразведка, акции прямого действия, нетрадиционные действия, или "Combat Search and Rescue" — проведение спасательных операций, таких, как эвакуация пилотов, сбитых на территории врага. Я подумывал также о создании морской группы — а это в высшей степени дорогостоящее предприятие. Министр Мильчановский начал переговоры с американцами. Он предложил помощь в поимке человека, который убил нескольких офицеров ЦРУ, а скрывался там, куда полякам было легче въехать и выехать, чем янки. Они поблагодарили и отказались. Поимка убийцы была для них делом чести, и спустя три года они его наконец поймали; он был приговорен к смертной казни. После разнообразных совещаний и тестов выяснилось, что при создании морского отряда нам не следует рассчитывать на такую же щедрую поддержку США, как раньше. О дополнительных вложениях МВД нечего было и мечтать, но появилась возможность получить ноу-хау из других источников.

М. К. У англичан?

С. П. Они были первыми. Девиз SAS: "Смелый побеждает" можно увидеть на знаменах израильского спецназа "Сайерет Маткаль", греческих отрядов сил специального назначения и французского 1-er Régiment Parachutiste d'Infanterie de Marine, а французских оперативников называют "les SAS français". Методами, разработанными в SAS, как и помощью английских инструкторов, пользовались подразделения спецназа Бельгии, Дании, Италии, Израиля, Греции, Японии, Германии, США, Нидерландов, Норвегии, Швеции и, конечно же, всех государств Содружества, начиная с Канады и заканчивая Австралией. В Великобритании был создан первый польский отряд специального назначения. В почетном списке погибших во время Второй мировой войны бойцов SAS можно найти страницу, посвященную 1-й Добровольческой парашютной бригаде и "тихо-темным"[1].

М. К. Значит, англичане предложили помощь...

С. П. Не то чтобы мы стояли с протянутой рукой и ждали помощи. После операции в Ираке, той, которую провел Громослав Чемпинский (в то время заместитель начальника Управления госбезопасности), секретные службы МВД стали более тесно сотрудничать с Западом. В ГРОМе работали американские инструкторы. Некоторые наши тренировки проводились на территории посольства США. Высокая оценка, данная нам генералом Студеманом и сопровождавшей его аттестационной комиссией, была не просто данью вежливости. То был итог многолетнего процесса, в ходе которого исполнялось распоряжение президента Буша: предоставить Польше доступ к знаниям, важным для безопасности США. Не будучи членами НАТО, мы получили шанс, которого не имела ни одна страна, ни одно воинское подразделение в Центральной и Восточной Европе.

<...>

М. К. 11 января 1994 года главы государств и правительств стран, входящих в НАТО, приняли программу "Партнерство во имя мира"; 2 февраля премьер-министр Польши Вальдемар Павляк подписал в Штаб-квартире НАТО рамочный документ "Партнерство во имя мира"; 14 февраля вице-председатель Военного комитета НАТО, фельдмаршал Ричард Винсент, нанес визит в Польшу.

25 мая министры обороны стран, участвующих в программе "Партнерство во имя мира", обсудили вопросы сотрудничества и обороны, в том числе проведения миротворческих операций.

1. Так называли солдат польских вооруженных сил за рубежом, которых сбрасывали на парашютах в оккупированную Польшу для борьбы с оккупантами и помощи польскому движению сопротивления.

5 июля была принята Польская индивидуальная программа партнерства с НАТО (первый документ такого рода среди государств-участников программы ПВИМ).

12–16 сентября в Бедруске под Познанью прошли первые совместные военные учения в рамках "Партнерства во имя мира"; в маневрах с кодовым названием "Cooperative Bridge"[1] участвовали воинские части тринадцати государств-членов НАТО и государств-партнеров.

13 сентября президент Билл Клинтон позвонил президенту Леху Валенсе с предложением, чтобы группа из 50 польских спецназовцев приняла участие в операции "Uphold Democracy" на Гаити.

С. П. Я знаю от надежного свидетеля, как Совет министров принимал это решение. Сначала премьер-министр Павляк спросил адмирала Петра Колодзейчика, сколько времени необходимо для подготовки такой группы. "Два, возможно, три месяца, а также очень много денег". Тогда премьер обратился к министру Мильчановскому, который с каменным лицом ответил: "Один час!.." Эффект был потрясающий.

Вскоре я прибыл к Павляку. Он расспрашивал о наших нуждах. Я ответил, что, в принципе, у нас все есть. Но предупредил, что в первые дни операции обычно царит страшная неразбериха, поэтому могут возникнуть проблемы с транспортом и питанием. Если американцы дадут нам письменную гарантию и обеспечат нас питанием и внедорожниками, то мы полетим на Гаити обычным рейсовым самолетом. Если же такой гарантии не будет, придется попросить союзников предоставить нам "Galaxy C-5", на борт которого мы погрузим десять автомобилей. "А как со связью? Ведь это самая большая проблема в нашей армии" – сказал премьер; как выпускник Варшавского политехнического института он хорошо разбирался в телекоммуникации и информатике. Я объяснил, что благодаря американской помощи мы располагаем спутниковой связью, коды в ноутбуках меняются раз в неделю, а чтобы раскодировать их, нужен мощный компьютер и довольно много времени – примерно с месяц.

На время миссии группа ГРОМ, в соответствии с законом, должна была перейти под начало министерства национальной обороны. В этом ведомстве нашлись люди, которых сильно задело то обстоятельство, что нам на сборы потребовалось несколько часов, тогда как министерство смогло лишь посулить нечто неопределенное, да и то в отдаленном будущем. У людей из ГРОМа за плечами было три года непрерывного обучения под наблюде-

1. Букв. общий мост (*англ.*).

нием американских инструкторов, а в МНО лишь начали искать *стреляных воробьев*, из которых надеялись — а вернее, не слишком надеялись — за несколько месяцев сколотить какое-никакое подразделение. Возник конфликт. В министерстве решили, что мне нельзя доверить командование группой, поскольку, в отличие от его офицеров, у меня нет опыта службы в заграничных миссиях. Удар был метким. Прямо в сердце. Не подумай, что я нежен, как мимоза, но это меня задело. Видимо, меня следовало наказать за годы напряженного труда. На Гаити людей отправляли на добровольной основе, поэтому я сказал Мильчановскому, что, если мне придется подчиняться кому-то из МНО, я ехать отказываюсь. Мои заместители заявили, что если не поеду я, то не поедут и они, да и все громовцы тоже. Наш шеф рассердился, обещал, что наведет у нас порядок, как только мы вернемся с Гаити, но добавил, что МВД будет искать пути, чтобы договориться с МНО. Для проведения переговоров были назначены вице-министр Хенрик Ясик и начальник Управления государственной охраны Громослав Чемпинский. Я пошел к Громеку, который заявил, что он сторонник компромисса. И посоветовал подчиниться требованиям МНО. Я был разочарован. Наверное, вид у меня был неважный, потому что, когда я встретил его заместителя, полковника Здислава Скоржу, тот спросил, что со мной. Я рассказал. Скоржа позвонил премьеру и попросил посодействовать мне. В конце концов, было решено, что контингент возглавит полковник Казимеж Гилей, который в 1989—1990-х командовал батальоном логистики в Группе временной помощи Намибии ООН, а меня назначат командиром взвода жандармерии, то есть командиром группы, состоящей из спецназовцев ГРОМа. Полковник выехал на Гаити раньше нас. Вместе с несколькими офицерами разведки, находящимися в его подчинении, он остановился в гостинице для наблюдателей. У него не было оружия, поэтому, как только представился случай, я подарил ему "кольт 1911" 45 калибра.

В середине сентября я получил приказ выехать на рекогносцировку в Вашингтон. Лететь туда я должен был с подполковником Франтишеком Гонгором, директором Отдела контроля над вооружениями и международными миссиями министерства национальной обороны. Это мудрый человек, отличный товарищ и опытный офицер. В 1989—1990 годах он занимал должность заместителя начальника подразделений логистики объединенных сил ООН на Голанах. В 1991-м стал заместителем командира польского контингента во время операции "Буря в пустыне", а в 1992-м — заместителем командира сектора Наблюдательной миссии ООН в Ираке и Кувейте. Тогда он как раз работал над кандидатской диссертацией в Академии МНО. Путешествие проходило в комфортабельных условиях и в прекрасной компании.

Приказ из ведомства гласил, что мы должны как можно быстрее добраться до США, но, поскольку у министерских чиновников возникли сложности с билетами, то логисты ГРОМа обеспечили нам места в "конкорде", который вылетал из Лондона. Итак, мы расселись по местам, пристегнули ремни. Франек прошептал мне на ухо, что рядом с нами сидит Изабелла Росселлини. Делая вид, что не знаем, кто она такая, мы представились: "Польские военные". Она сказала, что она актриса. Мы завели разговор о кино. Я с восхищением отозвался об Ингрид Бергман. "Это моя мама!" – рассмеялась госпожа Росселлини и оставила нам автографы в блокнотах, которые мы получили на память от "конкорда".

В бункере в Норфолке, в командном центре операции, нас пригласили на видеоконференцию с командирами частей, расположенных в сотнях километров друг от друга. Я впервые в жизни столкнулся с чем-то подобным. Франек был изумлен: "Нас посвящают в величайшие тайны!" Вскоре и меня охватило чувство изумления, когда генерал Уэйн А. Даунинг, руководитель Объединенного командования специальных операций армии США, сказал: "На Гаити я дам тебе в помощь команду из "польского отряда" 10-й группы спецсил... – он еще немного подумал, посмотрел на меня с каким-то странным блеском в глазах и добавил: – ...может быть, ты про нее слышал?" – "Много лет назад я играл такого спецназовца..." – ответил я. Генерал Даунинг покивал головой и улыбнулся с пониманием.

М. К. Он знал про учения 1979 года?

С. П. Знал... Группой, которая присоединилась к нам в Пуэрто-Рико, командовал капитан Оттис Макгрегор, в ее состав входили: штабной сержант Джон Донован, сержанты Панек и Джиро, отлично говорившие по-польски, а также родившийся на Гаити сержант Жан-Пьер, который знал территорию и местные обычаи.

После нескольких дней переговоров, касавшихся деталей миссии ГРОМа, мы вернулись в Польшу. В последующие годы я поддерживал с Франеком Гонгором самые близкие отношения. Мне импонировала его образованность, стремление непрерывно пополнять свои знания. Он защитил диссертацию, в 2001 году окончил стратегические курсы в Академии обороны НАТО в Риме, в 2002 году – постдипломные стратегически-оперативные курсы в Национальном университете обороны США в Вашингтоне. Здравый смысл подсказывал, что ему следует вернуться на родину, чтобы ускорить реформу вооруженных сил и внедрение процедур НАТО. Но его послали в Наблюдательную миссию ООН в Ираке и Кувейте, затем – на Голаны, а под конец – в Брюссель. Очень эффективный способ избавиться от новатора. Только бы подальше от принятия решений! Началь-

ником Генштаба он стал в 2006 году, по настоянию министра иностранных дел Радослава Сикорского, который с первой же встречи был восхищен его знаниями и трезвым умом. Франек умел выслушивать солдат. Он понимал их. После Нангар-Хеля к афганским ветеранам начали относиться возмутительно, и он тогда заявил, что будет стоять за них стеной.

Он не выносил лести. Это важная черта для командира. Важная и довольно редкая. Требующая силы характера. Армия — иерархическая структура, она держится на дисциплине и подчинении и потому создает благоприятные условия для подхалимов, которые рассчитывают на то, что подобострастным поддакиванием обеспечат себе спокойную жизнь и продвижение по службе. В армии США таких соглашателей называют brown nose — коричневый нос. Это потому, что они держат его вблизи ягодиц начальника. Такие люди встречаются. Известно, что каждый ищет свой способ достижения успеха. Одного отличает храбрость, другого — мудрость, третьего — умение лизать задницу. Но горе командиру, который окружит себя подхалимами, вместо того чтобы ценить независимо мыслящих: уверовав в свою правоту и непогрешимость, он неизбежно вступит на ложный путь и будет совершать ошибки, угрожающие жизни солдат и безопасности государства. Сколько же мне приходилось видеть командиров, которые каждое утро начинали с вопроса волшебному зеркальцу: "Кто прекрасней всех на свете?" А зеркало чирикало: "Вы, господин генерал! Вы, господин министр!.." Я говорю это спустя несколько дней после похорон Франека, который погиб в авиакатастрофе под Смоленском. Я не могу смириться с этой смертью. Меня обуревают стыд и ярость, что такое произошло.

М. К. Итак, отряд ГРОМ вылетел из Варшавы 17 октября 1994 года.

С. П. За несколько дней до отъезда к нам присоединился ксендз Анджей Якубяк, теперь он почетный капеллан ГРОМа. Военный епископ ВП, дивизионный генерал Лешек Славой Глудзь, несколько раз советовал мне взять в ГРОМ капеллана. Я был настроен скептически. У "тихо-темных" не было духовника, а мы шутили, что в нашей части служит офицер по прозвищу Шаман, так что место занято... Однако нужно было считаться с тем, что кого-нибудь из спецназовцев могут тяжело ранить и потребуется духовное попечение. Из представленных мне ксендзов двое были слишком грузными, выглядели, как чиновники, а третий, высокий, жилистый, крепко пожал мне руку и пристально посмотрел в глаза — я не люблю таких взглядов, но у него за плечами было десять лет миссии на Филиппинах. И он поехал с нами. Прошел жесткую тренировку — такую, какую устраивают новичкам с пронзительным взглядом. В Пуэрто-Ри-

ко я демонстрировал ему приемы, кидая на траву. Это бывает больно. Думаю, так оно и было. Он выдержал. Более того — продемонстрировал хладнокровие и смелость во время беспорядков на Гаити, когда последователи культа вуду начали вырезать своих противников. Представь себе толпу людей, вооруженных ножами и мачете, опьяненных ромом и наркотиками, разгоряченных от соседства с себе подобными. Видя, что кто-то упал под ударами нападавших, сержант Донован поспешил на помощь. А за ним наш капеллан. Ксендз Якубяк подошел к упавшему человеку — из живота у того фонтаном била кровь, а в руке он держал отрубленный палец, — взял этот палец, заткнул им рану, а потом спокойно наложил повязку и вывел раненого из толпы. За спасение жизни более десяти гаитян он, как и капитан Макгрегор, как и сержант Донован, был награжден орденом.

В связи с нашим отъездом произошел очередной эксцесс с оборонным ведомством, которое требовало, чтобы мы придали этому событию официальный характер, настаивая на торжестве с речами высоких чиновников, телекамерами и журналистами. Во славу МНО, посылающего своих лучших солдат. А мы хотели скрыть лица спецназовцев. Ведь речь шла о бойцах подразделения, имеющего особый статус. Мы купили для всех большие горнолыжные очки и разместили группу ГРОМ в мундирах жандармерии на значительном расстоянии от журналистов, спиной к солнцу. Вроде бы мелочь, но существенная для нашей безопасности. Это вызвало протест одного из вице-министров. Министр Мильчановский попытался объяснить ему специфику ситуации, но если человек любит церемониал, то с удовольствием оглушит себя барабанной дробью гарнизонного оркестра. Я подошел к журналистам и сказал, что лица бойцов засекречены. Они нас поняли. Во всяком случае, некоторые из них.

М. К. На снимке в газете "Жиче Варшавы" я узнал тебя без особого труда.

С. П. Речь шла о спецназовцах, а не обо мне. Я знал, что вернусь в Польшу в середине декабря, приму участие в запланированных на январь 1995 года совместных учениях SAS и ГРОМа, а потом, кто знает, может быть, придется уйти? До меня дошла информация, что в высших политических кругах родился план включить ГРОМ в состав Надвислянских воинских частей. Я считал, что план появился из-за непонимания того, что такое силы специального назначения, и внедрение его в жизнь приведет к ослаблению потенциала подразделения. Теперь, годы спустя, я думаю, что в таких случаях все зависит от здравомыслия политика, который осуществляет контроль над вооруженными силами в соответствии с принципами демократического

государства. В какой мере он может, а в какой должен входить в детали деятельности военных? Эта проблема старше самой демократии. Об этом писал еще Сунь-Цзы.

В аэропорту в Вашингтоне мы пересели в самолет, летящий в Пуэрто-Рико, где нас ждали спецназовцы из 10-й группы сил специального назначения. После недели тренировок и проверок мы отправились на Гаити...

М. К. ...поддерживать демократию.

С. П. Американцы говорили, что мы едем в Хелл-Хоул — Адскую дыру. Страшноватое название. В нем слышится молчаливое согласие с трагической судьбой сотен тысяч людей. Такая страна, ничего не поделаешь... Увиденная туристом, который вскоре вернется домой, в комфорт, и, попивая хорошее вино, будет просматривать снимки, привезенные из ада.

Гаити расположен в районе, где с июня по ноябрь бушуют западно-индийские ураганы. Ветер дует со скоростью, превышающей шестьдесят пять узлов[1]. К этому следует прибавить штормы, наводнения и грязевые сели. Нас настиг ураган "Гордон". Жуткий ветер, поднимающий в воздух большие валуны. Стена воды. Трескающаяся земля. Один гаитянин упал в расщелину. Помогать или убегать? К счастью, его спасение отняло у нас немного времени — вскоре дорога, по которой мы ехали, провалилась. За несколько дней ураган "Гордон" унес жизни тысячи человек. Если бы на Гаити была исправно действующая государственная структура и какая-никакая экономика, то наверняка потери были бы меньше, хотя бы благодаря системе метеорологического предупреждения. Но ее не было. А была страшная нищета. И гражданская война. С 1957 года страной с помощью тонтон-макутов (эскадронов смерти) управлял Папа Док — Франсуа Дювалье. После его смерти пожизненным президентом Гаити стал его девятнадцатилетний сын, Жан-Клод Дювалье, который по примеру отца подавлял в зародыше любой намек на оппозицию. Он сбежал из страны в 1986 году. Первые демократические выборы на Гаити прошли в 1987 году. Тогда эскадроны смерти нападали на избирательные участки. Лилась кровь. Во время мессы, которую служил лидер левой оппозиционной партии, священник Жан-Бертран Аристид, боевая группировка применила напалм. Сгорели более десяти человек. Аристид выиграл президентские выборы в 1990 году, набрав 67 % голосов. Но был свергнут хунтой, опиравшейся на боевые подразделения. Все это привело к массовому бегству гаитян в Доминиканскую республику и США. Когда Клинтон, получив согласие ООН, отдал приказ о начале опе-

1. То есть 120,38 км/ч.

рации, обе конфликтующие стороны очертя голову кинулись в бой, используя самые жестокие методы уничтожения противника. Террор, господствовавший в стране почти полвека, приучил людей к тому, что кровопролитие и насилие — единственный способ выжить.

В центре Порт-о-Пренса, на громадной свалке, называемой Солнечным городом, который считается одним из самых опасных мест в мире, в жутких условиях пребывало около трехсот тысяч человек. Там царила поистине ужасающая нищета. Территория была разделена на сферы влияния между тремя сотнями банд. Там шла гражданская война в своей самой чудовищной форме, война всех со всеми — за глоток чистой воды, кусок хлеба, лекарства. А прибавь к этому еще и традиции вуду... Невозможно было не испытывать сострадания. Но невозможно было и не ожидать нападения с любой стороны.

М. К. Какие задачи стояли перед ГРОМом?

С. П. Охрана ВИП-персон. Нам предложили дислоцироваться на хорошо охраняемой базе армии США. Это прозвучало как злая насмешка. Нет, мы сами будем защищаться! Мы остановились в старом заброшенном мотеле в Мариани, в тридцати километрах от Порт-о-Пренса. Удобное место на берегу океана. Чтобы доехать до аэропорта, нужно было пересечь город, проехать сквозь толпу, всегда готовую к нападению. В отличие от американских солдат, которые в полной экипировке выглядели, как черепашки ниндзя, мы не носили шлемов и бронежилетов. Купить бронежилеты *забыло* Министерство национальной обороны, а мы этот недостаток обратили в преимущество. У них нет ни шлемов, ни бронежилетов? Как так? Это озадачивало потенциальных нападавших. После того как мы отбили пару атак, они почувствовали к нам уважение. Проще говоря, стали нас бояться. Сержант Жан-Пьер утверждал, что нам приписали черты демонов-зомби. В беретах с белым орлом[1], вооруженные пистолетами-пулеметами MP5, мы вырвали из рук бандитов какого-то мальчишку. Спасли от участи быть растерзанным: он въехал на автомобиле в толпу прохожих. Каждое дежурство заканчивалось какой-нибудь заварушкой, которая с легкостью могла перейти в резню, но довольно было всего лишь одной команды: Кампала! Ложись! — и ниц падала вся улица.

Раймонд Келли, теперь комиссар полиции Нью-Йорка, а в то время глава миссии международных полицейских наблюдателей в составе многонациональных сил на Гаити, попросил меня помочь навести порядок в аэропорту. Проблема заключалась в

1. Белый орел — официальный герб Польши.

том, что через несколько недель после начала операции "Uphold Democracy" армия передала аэропорт под контроль гаитянцев, связанных, как оказалось впоследствии, с наркомафией. А те вовсе не собирались выполнять указания не вооруженных полицейских наблюдателей. Они не впускали их на свою территорию. Келли не хотел снова вводить туда войска. Это было бы невыгодно в политическом отношении. И еще одна важная деталь: наблюдатели из многонациональных сил носили ярко-желтые береты... Группа ГРОМ направилась в аэропорт. Спецназовцы вошли в здание, а через несколько минут привели ко мне гаитянина в пластиковых наручниках, главу всего этого бизнеса. Мы провели короткую беседу, которую переводил Жан-Пьер. Гаитянец обещал, что с этого момента господам в желтых беретах будет оказываться надлежащее уважение. Я заверил его, что, если он не сдержит слова, мы приедем опять, но уже не будем столь вежливы, а потом достал нож и разрезал наручники. С той поры в аэропорту царило спокойствие.

О помощи, оказанной польскими солдатами, Келли рассказывал в своих интервью главным американским телеканалам. Его слова, а также похвала в адрес ГРОМа высокопоставленных американских военачальников, имели большое значение — ведь в США шли дебаты о расширении НАТО, причем интересы Польши учитывались не всегда. Поэтому я был доволен, когда в репортаже Яцека Калабинского для "Газеты выборчей" от 7 ноября 1994 года прочел:

> Согласно информации, появившейся в воскресном номере газеты "Вашингтон пост", американские дипломаты проводят интенсивные консультации в столицах государств НАТО, чтобы разработать формулу, которая устроит всех. Советник президента Клинтона по вопросам национальной безопасности, Энтони Лейк, высказался в пользу скорейшего определения критериев членства таким образом, чтобы государства, заинтересованные во вступлении в НАТО, могли начать подготовку своих вооруженных сил... Американские источники сообщили "Газете", что после учений в Бедруске и опыта совместных действий с польскими спецназовцами на Гаити, оперативные круги вооруженных сил США горят желанием установить тесное военное сотрудничество с Польшей.

М. К. Назови хоть ВИП-персон, которых вы охраняли.

С. П. Энтони Лейк, советник президента США по вопросам национальной безопасности; Уильям Дж. Перри, государственный секретарь по обороне США; Того Д. Уэст, секретарь армии; Лахдар Брахими — специальный представитель генерального секретаря ООН. С господином Брахими у нас были особые трудности, потому что боевики, связанные со свергнутой хунтой, оценили его голову сначала в сто, а затем в сто пять-

десят тысяч долларов. ВНП на душу населения на Гаити, если не ошибаюсь, составлял около шестисот долларов в год, в девять раз меньше, чем в соседней Доминиканской республике, поэтому желающих заработать легкие деньги было предостаточно. В то время, когда мы охраняли Брахими, местный охранник застрелил возле банка двух сотрудников посольства США и украл тридцать пять тысяч долларов. Через неделю его поймали в глубине острова американские спецназовцы и оставили у него в голове две маленькие дырочки.

Нас попросил предоставить ему охрану генерал Дэвид С. Мид, который командовал всеми войсками на Гаити. Настоящий военный. Непреклонный. Совершенно непреклонный. Спартанец. Не давал себе спуску — жил в маленькой комнатке без кондиционера, за матерчатой занавеской, отделявшей его от помещения командного центра. Он не давал спуску и своим подчиненным, которых время от времени заставлял участвовать в полумарафоне. Хороший способ проверить форму. Надо сказать, что он бегал вместе с ними. Я восхищался этим, так как бег в таком климате — очень утомительное занятие. Толстяк такого не выдержит. Недисциплинированным солдатам генерал приказывал очищать от ржавчины колючую проволоку. Они стояли под окнами его офиса и чистили, а поскольку там страшная влажность, через пару часов проволока снова покрывалась ржавчиной. Ничего удивительного, что генерал Мид выбрал для охраны именно нас, а не своих. Разумный человек.

Служба была тяжелой — постоянная боеготовность, мало времени для сна — мы спали по три-четыре часа в сутки, — сплошная нервотрепка. На рассвете Дьявол заставлял меня делать упражнения тай-чи на берегу океана. Это помогало. На своих спецназовцев я смотрел со все возрастающей гордостью. Мое мнение подкреплялось мнением людей из "Дельты". Тем более что я мог сравнить нас с нашими навыками и умением с тем, что видел вокруг. В первые же недели операции восемь солдат из 10-й Горной дивизии армии США покончили жизнь самоубийством....

Весьма специфическим образом "поддержала" нас газета "Польска збройна"[1]. 4 ноября 1994 года она опубликовала фельетон под названием "Что-то тут не так... Сверхсекретный ГРОМ и злоупотребления":

С большим интересом наблюдал я за перепалками, связанными с командировкой наших военных жандармов на Гаити. Меня не особо волновали исторические ассоциации. Нет, меня интересовало только то, как наша Военная жандармерия (обычно занятая ловлей разного

1. "Вооруженная Польша" (*польск.*).

рода пройдох, пьянчуг, воришек и скандалистов) исхитрится составить профессиональный отряд для такой, как говорят, ответственной миссии. Но я волновался зря. Ибо с самого дна военных тайн всплыл совершенно секретный отряд, о существовании которого даже хорошо осведомленные лица не имели ни малейшего представления – ГРОМ! Может быть, такая группа действительно нужна. Может быть, нет ничего зазорного в том, что спецназовцы из МВД будут притворяться жандармами из МНО. Когда камеры показали строй мужчин в одинаковых темных очках, я не знал, что делать – плакать или смеяться? Опереточная гвардия какой-то "банановой республики" или отряд слабовидящих?..

Я не обратил бы на это внимания, потому что знаю: писака напишет все, что велят, а бумага все стерпит. Но в то время, когда спецназовцы ГРОМа рисковали жизнью во имя Польши, орган МНО назвал их "солдатами опереточной гвардии какой-то 'банановой республики'"! Надо сказать, что это была часть широкомасштабной кампании, у истоков которой лежали доносы, посланные в МИД и МНО военным атташе польского посольства в Вашингтоне генералом Изидорчиком, в которых он сообщал, что американцы нами недовольны, что мы не выполняем приказов и так далее. Для того чтобы удостовериться, как реально обстоят дела, министр Мильчановский отправил на Гаити советника посольства – резидента разведки Рышарда Универсаля. Тот посетил высокопоставленных американских военных и услышал похвалы в наш адрес. Точку в этом деле поставил генерал Уэйн А. Даунинг. Он пригласил нас в свой штаб и поблагодарил за образцовое выполнение задач. Под конец он добавил, что хотел бы видеть меня на ежегодном балу Объединенного командования спецопераций в Форт-Брэгге.

М. К. Мне тогда один человек из МВД под большим секретом шепнул, что ты авантюрист. Он утверждал, что ты хотел втянуть Польшу в конфликт с одним из африканских государств.

С. П. Речь шла о Кабинде, провинции Анголы, отделенной от основной части государства территорией, принадлежащей Демократической республике Конго. 30 ноября 1994 года партизаны из Фронта освобождения анклава Кабинды похитили трех поляков, служащих итало-ангольской компании по рубке леса. Контр-адмирал Томас Р. Ричардс из "Морских котиков" сказал, что если мы хотим их освободить, то он одолжит нам "Геркулес". Нет, никакой стрельбы! Достаточно будет того, что по Кабинде поползет слух о посадке самолета с киллерами...

Я позвонил представителю МИДа, который должен был вести переговоры с похитителями. Спросил, что он думает о помощи с нашей стороны. Он обрадовался. Я представил примерный план операции министру Мильчановскому. Он заин-

тересовался, во всяком случае так мне показалось. Но потом в Варшаве разразился ужасный скандал. Крики, протесты МИДа. В очередной раз я наделал хлопот своему шефу.

Поляков освободили через месяц после начала переговоров, которые вел епископ Кабинды Дон Паулино Мадека. По моим сведениям, итальянская фирма заплатила за них громадный выкуп, тем самым поощряя похитителей к дальнейшим шагам такого рода.

М. К. Когда завершилась миссия ГРОМа на Гаити?

С. П. 13 декабря. За несколько дней до этого нас посетил генерал Мид. Поздравляя ГРОМ с успехом, он вручил мне медаль "За военные заслуги". Спецназовцы вылетели в Польшу. Им предстоял десятидневный карантин. А я приземлился на военном аэродроме неподалеку от Вашингтона. Там меня встретил полковник Бернард Дж. Маккейб, командир Управления специальных операций "Дельта". На небольшом самолете мы вылетели в Форт-Брэгг.

<...>

М. К. 12 июня 1996 года премьер Влодзимеж Чимошевич назначил тебя полномочным представителем председателя Совета министров РП по борьбе с организованной преступностью. Это тоже политика.

С. П. Нет, я так не считал. И сейчас не считаю.

М. К. Тогда почему же?

С. П. В то время "подвиги" польской мафии были известны всем. Вымогательства, похищения, поджоги, взрывы. Причем взрывные устройства подкладывали не любители, а профессионалы. В общем — труп на трупе. Гангстеры возглавляли охранные агентства. Процветала контрабанда спиртного, сигарет, наркотиков. Только в 1993 году таможенники конфисковали более двух тонн гашиша и более полутонны марихуаны. Главное таможенное управление сообщало, что стоимость контрабандных товаров достигает трех миллиардов долларов в год. Производство амфетамина развернулось с невиданным в Европе размахом. Крепли связи с мафиозными группировками из Латинской Америки и Азии, в Польше действовал представитель кокаинового картеля "Кали"! Органы безопасности были беспомощны. По двум причинам. Первая: отсутствие надлежащих законов и решений — к примеру, понятие "свидетель инкогнито" было включено в Уголовно-процессуальный кодекс только летом 1995 года, — а также плохая организация работы и недостаточное оснащение полиции. Вторая: связь некоторых сотрудников таможни и чиновников с преступным миром. Я сказал бы даже, что существование ор-

ганизованной преступности было фактом политическим. Как и очевидная слабость государственного аппарата.

Премьер-министры Совета государств Балтийского моря приняли решение учредить новую должность: полномочного представителя премьер-министра, чьей задачей была бы разработка принципов межгосударственного сотрудничества по борьбе с организованной преступностью и терроризмом. У меня были основания, совершенно неполитические, верить в благие намерения премьера Чимошевича. В качестве министра юстиции и генерального прокурора он был известен как сторонник борьбы с коррупцией.

За три недели мы вместе с юристами подготовили проект действий бюро, которым я должен был руководить.

М. К. Ты представил перечень необходимых сил и средств?

С. П. Да. Проект был одобрен премьером. Я провел предварительные переговоры с офицерами Управления госбезопасности и воинских служб, рассчитывая впоследствии привлечь их к работе.

Дел было много, я спешил, потому что на 13 июня была назначена встреча представителей премьер-министров государств Балтийского моря в Стокгольме, и мне не хотелось, чтобы представитель Польши отправился туда с пустыми руками.

Через несколько дней я заметил, что нахожусь в среде, настроенной враждебно и беспечно относящейся к вопросам государственной важности. Я не верил своим глазам, когда видел, что тот или иной секретный документ, касающийся следствия по делам мафиозных структур, просто-напросто лежит себе на стеллаже у одного из госсекретарей.

Я работал на общественных началах. Мои просьбы о предоставлении комнаты, двух с половиной ставок, письменного стола, телефона и факса оставались без ответа. Чиновник, решающий эти вопросы, сообщил, что у него нет ни одного свободного помещения, и будет лучше, если я подыщу его себе сам. Я прошелся по территории Управления Совета министров. Обнаружил, что часть здания арендована японской фирмой и каким-то банком. И это в главном правительственном учреждении!

Приближался срок конференции в Стокгольме. Попытки связаться с премьер-министром не принесли успеха. Я словно увяз в трясине. 12 июня 1996 года я решил подать в отставку. Организовал пресс-конференцию в небольшом дворце недалеко от парка Лазенки. Дрожа от негодования, прочел журналистам письмо, адресованное премьер-министру, в котором обвинял его подчиненных в наглости и лени. И все.

М. К. Я был на этой пресс-конференции. И вышел оттуда со смешанными чувствами. Я понимал твое состояние и сочувствовал тебе. Столкновение с медлительной бюрократической машиной может довести до исступления. Я это знаю. Но, с другой стороны, я не понимал, почему ты принял назначение, зная, что тебе придется иметь дело с этой машиной. Излишняя самоуверенность? Наивность?

С. П. Возможно, и то и другое.

М. К. Ты проиграл!

С. П. Проиграл... В качестве утешения кто-то привел мне мудрую русскую пословицу: за одного битого двух небитых дают.

М. К. И ты вернулся к ежедневным прогулкам в Лазенках.

С. П. В обществе полковника Мечислава Кураса и подполковника Ярослава Васяка, которые вместе со мной ушли из ГРОМа[1]. Мы обсуждали проект фонда, который предоставлял бы помощь бывшим бойцам нашего подразделения и их семьям, а также оказывал поддержку бывшим разведчикам-антифашистам. Спустя какое-то время к нам присоединился Громослав Чемпинский. Нам очень помог бригадный генерал доктор Казимеж Наласковский, директор юридического департамента МНО. Так, 13 августа 1997 года был учрежден Фонд бывших бойцов сил специального назначения ГРОМ. Председателем правления Фонда стал подполковник Кшиштоф Пшепюрко. Позднее эту должность занял полковник Лешек Древняк. После его смерти председателем вновь стал Пшепюрко. Деятельность Фонда с момента его учреждения основывалась на следующем принципе: средства будут поступать на его счет не из государственного бюджета, а благодаря уставной деятельности Фонда, то есть благодаря работе бывших спецназовцев.

О Фонде стоит поговорить подробнее. Начнем с того, кто такой боец ГРОМа? Это мужчина средних лет...

М. К. Говорят, что в ГРОМе служат и женщины.

С. П. Ну, не знаю...

М. К. Так утверждает Самуэль М. Катц, один из самых крупных в мире знатоков спецслужб. Я процитирую отрывок из его "Иллюстрированного справочника по крупнейшим контртеррористическим подразделениям мира" (1995):

1. В 1995 г. генерал Петелицкий подал в отставку и 19 декабря 1995 г. ушел в запас; 3 декабря 1997 г. был вновь назначен командиром антитеррористического подразделения № 2305. 15 августа 1998 г. президент Александр Квасьневский присвоил ему звание бригадного генерала. С 16 сентября 1999 г. по 31 марта 2001 г. Петелицкий находился в распоряжении министра внутренних дел и управления этого министерства.

В группе ГРОМ есть женщины, но, по причинам безопасности, их функции неизвестны (хотя считается, что они заняты сбором разведывательных данных и наблюдением за объектами).

С.П. Не знаю. Могу только сказать, что создать женскую группу мне порекомендовал высокопоставленный чиновник из английской разведки. Он сказал: "Допустим, ты получил задание уничтожить террориста, который является владельцем или работником магазина, стоит за прилавком. У тебя есть две возможности. Первая: направить туда группу штурмовиков, но это сопряжено с ненужным шумом. Вторая: по улице идет молодая красивая женщина с детской коляской. В коляске под одеяльцем лежит ручной пулемет 'Миними' калибра 5,56 мм. Женщина входит в магазин. Просит показать какой-нибудь товар на полке. Идея состоит в том, чтобы террорист протянул руку — отвел ее от спрятанного оружия. Тут женщина вынимает из сумки пистолет калибра 0,22 с глушителем. Выполняет задачу. Выходит из магазина. Бесшумно, дешево, эффективно".

М. К. А зачем ей пулемет?

С. П. На случай, если ее будут преследовать или захотят задержать. Из того, что мне известно, в Великобритании женщины стали служить в отрядах специального назначения, когда премьер-министром была Маргарет Тэтчер. Это держалось в строжайшей тайне, даже последующие премьеры ничего не знали. Тайное стало явным годы спустя, когда в Северной Ирландии трое патрульных полицейских решили задержать какую-то женщину. Она была из спецназа. Полицейские, сочтя ее подозрительной, достали оружие. Ни один из них не выжил.

М. К. Так как же в ГРОМе обстоит дело с женщинами?

С. П. Не будем отвлекаться. Подходящий кандидат для ГРОМа — мужчина в возрасте около тридцати. Рост не выше 175 см. Образование — как минимум среднее. Два иностранных языка. Устойчив психически и физически. Хорошо, если занимался плаванием, альпинизмом, боевыми искусствами. С развитым интеллектом. Настроенный на сотрудничество с коллегами. Такого кандидата ожидает пятилетнее обучение, во время которого за ним будут внимательно наблюдать и испытывать при помощи различных сложных тестов. Ему не пройти отбора, если он слишком высок, имеет слишком развитую мускулатуру, если проявляет такие черты, как эгоизм и пессимизм, если у него есть садистские наклонности и если он не любит драться. Кого следует продвигать? Смелых, волевых, оптимистов, искренних, женатых, имеющих детей, готовых поступаться своими интересами ради других, легко обучаемых, инициативных. Добавлю несколько слов про контроль. В ГРОМе контролю подлежат

все. В первые недели существования подразделения я попросил некого полковника из Надвислянских частей заняться постоянным аудиторским контролем подразделения. Он спросил про границы такого контроля. Я ответил, что нужно проверять всё и всех. Он был удивлен. "Начните с меня", – сказал я. Он еще больше удивился. Я объяснил, что руководствуюсь эгоистическими соображениями: люблю спать спокойно.

М. К. Ты говорил, что спецназовцев учат устранять террориста.

С. П. Да. И спасать его жертву.

М. К. Давай остановимся на первом...

С. П. Убить можно чем угодно. Карандашом. Кредитной карточкой. Зубочисткой. Пальцем. Самое важное – спасение! Это хорошо описал автор, которого ты только что упомянул:

> Поскольку при штурме могут быть пострадавшие, не менее 75 % бойцов группы ГРОМ – дипломированные фельдшеры или санитары. Помимо того, к подразделению прикреплено несколько врачей. Эти врачи – действующие бойцы и, кроме аптечки, имеют при себе штурмовое оружие... В ГРОМ входят также полноценные группы поддержки, начиная с техников и аналитиков и заканчивая командами по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов и взрывчатых веществ. Многие из членов групп поддержки сами в прошлом были бойцами, но получили серьезные травмы и вследствие этого утратили статус действующих штурмовиков, или же достигли возраста, не позволяющего более участвовать в штурмах, однако желание служить сохранили. Эти бывшие бойцы обладают опытом и поддерживают имеющиеся навыки. Все учения проводятся с использованием настоящих боеприпасов. Бойцы ГРОМа известны как отличные стрелки... В Польше очень разнообразный и изменчивый рельеф, поэтому у бойцов есть возможность проходить подготовку в разных условиях. Для тренировок используется как городская, так и горная местность. Помимо этого, поскольку в Польше много портов, бойцы подразделения ГРОМ получают подготовку по проведению морских операций и являются квалифицированными водолазами.

В этом тексте описано все основное, а детали пусть останутся за скобками. Добавлю еще несколько слов насчет антитеррористических функций ГРОМа. Наш противник богат. У него есть деньги. Он может покупать талантливых людей, техников, ученых. И покупает. При атаке на башни-близнецы была применена смесь дизельного топлива и искусственного удобрения, материалов общедоступных, но у кого-то ведь появилась идея их использовать. Работающие на Хезболлах надомники с дипломами хороших университетов наладили производство тетраперекиси ацетона. Из разных публикаций мы узнаем, что люди из Аль-Каиды хотят создать, а возможно, уже создали такие взрывчатые вещества, которые будут похожи на ткань для одежды.

Известны попытки использовать аэрозоль для распыления токсических веществ. Растет количество террористических актов с применением синильной кислоты. Благодаря миниатюризации электронных устройств, а также новаторским открытиям в области пластических взрывчатых веществ, террористка-смертница может нести на себе взрывной заряд в форме женских грудей. Мобильные телефоны применяются в качестве передающих и принимающих устройств для запуска детонаторов во взрывных устройствах. С конца 60-х годов в США, Италии и Франции происходили террористические атаки на компьютерные системы в крупных торговых центрах, банках и телекоммуникационных компаниях, а в XXI веке мишенями для нападений стали целые компьютерные сети. Такие атаки могут угрожать, среди прочего, автоматическим системам, управляющим шлюзами, электростанциями, железнодорожными узлами и воздушно-диспетчерскими службами. На протяжении последних лет террористы применяли в США и Австралии лазерные лучи для ослепления пилотов во время посадки пассажирских самолетов. Мы знаем о существовании черного рынка радиационных материалов. И наконец – казалось бы, такие устройства, как беспилотные самолеты, не подвержены террористической угрозе, но тем не менее в 2008 году иракские моджахеды, торжествуя, объявили о том, что им удалось сломать защиту американских боевых роботов. Наряду с техническим прогрессом, расширением и концентрацией технической инфраструктуры растет, во-первых, их уязвимость, а во-вторых, привлекательность для террористов. А это многократно расширяет область подготовки спецназовцев к операциям. Все происходит в соответствии с древним принципом, описанным полководцем Сунь-Цзы: "...не полагайся на то, что враг не придет, полагайся на свою готовность отразить его нападение".

Процесс обучения бойца антитеррористического подразделения обходится примерно в миллион долларов. Расходы на дальнейшую службу и обучение растут вместе с умножением потенциальных опасностей. Понятно, что при планировании и проведении каждой операции необходимо большое внимание уделять заботе о безопасности спецназовцев. В общем, это азбучные истины: если операция проводится в горах, следует приготовить беспилотные самолеты и вертолеты, способные летать на нужной высоте; если же она проводится на воде, то нельзя обойтись без исправных плавучих средств. Вроде бы это очевидно, но, как иногда случается, не для всех. В августе 2009 года в гористом Аджаристане в ловушку, расставленную талибами, попал патруль, которым командовал капитан Даниэль Амброзинский; патруль состоял из 12 польских солдат, 25 афганских полицей-

ских и 25 афганских солдат. Погибли Амброзинский и большая группа афганцев, четверо поляков получили ранения. Боевые вертолеты МИ-24 не могли прилететь к месту происшествия – у них были слишком слабые двигатели. После четырехчасового обстрела прилетел вертолет МИ-17, но на нем не было шестиствольного пулемета М-134D. Я стрелял из него во время учений у "Морских котиков". Он делает 3000 выстрелов в минуту – от талибов остались бы только кровавые ошметки. К слову, получить такое вооружение для отправленных в Афганистан вертолетов МИ-17 долгое время старался генерал Вальдемар Скшипчак. Но не нашел поддержки у руководства МНО.

Служба в спецназе проходит в особых условиях. Там, где граница между миром и войной размыта, почти незаметна, люди часто получают тяжелые ранения. Они должны быть окружены постоянной, качественной заботой. Люди погибают. Их семьям нужно постоянно оказывать помощь и поддержку. Именно такой была основная причина создания Фонда.

<...>

М. К. Спецназовцев из ГРОМа видели весной 1999 года в Косово.

С. П. Они охраняли посла Уильяма Грэма Уокера, который с июля 1997 года в качестве особого представителя Генерального секретаря ООН руководил Временным управлением ООН для Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема, а в октябре 1998 года возглавил действовавшую в Косове Контрольную миссию.

Охраняли они его очень успешно. Была совершена попытка нападения на Уокера. Какой-то террорист сорвал предохранитель с гранаты и уже собирался ее бросить, когда спецназовец ГРОМа перехватил его руку, вставил чеку обратно и треснул террориста этой самой гранатой по голове....

М. К. А что происходило на границе Косова и Македонии?

С. П. Вроде это было так недавно, а уже мало кто помнит о тех событиях.

С 1992 года на территории Косова действовала АОК – Армия освобождения Косова[1]: партизанские группы, воюющие против сербских сил по поддержанию порядка. Об этих группах, или скорее кланах, стало широко известно в 1996-м, когда они организовали серию взрывов в лагерях сербских переселенцев из Краины[2]. Конфликт между сербами и албанцами в следующем

1. Албанская террористическая организация, боровшаяся за независимость и моноэтническую составляющую Косова.
2. Республика Сербская Краина – бывшее непризнанное сербское государство на территории Республики Хорватия.

году обострился, произошли кровавые стычки, сотни тысяч человек были вынуждены покинуть свои жилища. В октябре 1998 года президент Милошевич согласился заключить перемирие. Сербские войска должны были уйти с занимаемых позиций под угрозой воздушных атак со стороны НАТО.

Я не политик, но мне кажется, что люди из АОК не были заинтересованы в установлении мира. У них были другие цели. Одни мечтали о Великой Албании, к которой они хотели присоединить часть Македонии. Другие были албанскими маоистами[1], третьи — исламскими фундаменталистами. Четвертые просто-напросто хотели нажиться за счет грабежа.

В результате отказа сербов от плана, подготовленного Контактной группой на конференции в Рамбуйе, в марте 1999 года силы НАТО начали операцию под кодовым названием "Союзная сила". 9 июня было заключено соглашение о выводе сербских войск и входе в Косово сил КФОР[2]. Наши СМИ описывали этот конфликт в двух вариантах: черном и белом. АОК была представлена как подлинная национально-освободительная армия. Я тогда несколько раз был в Косове и Албании и разглядел больше оттенков. Видел мафиозные кланы-группировки, терроризировавшие гражданское население и связанные с торговлей наркотиками, — для них патриотические лозунги были только удобным прикрытием.

Спецназовцы ГРОМа выполняли там серьезные задачи. Понятно, что им требовалась поддержка. Мы должны были как можно быстрее отправить им автоматическое оружие. Я узнал, что в Косово должен вылететь самолет с гуманитарной помощью для гражданского населения. Это был удобный случай, но для перевозки оружия необходимо иметь разрешение министра иностранных дел и министра обороны. Услышав, что речь идет об оружии для ГРОМа, тогдашний министр иностранных дел Бронислав Геремек тут же согласился. Министра обороны Януша Онышкевича не было в Варшаве, он должен был вернуться через два дня. А вопрос не терпел отлагательств, поэтому я обратился за разрешением к командующему Военно-воздушных сил, генералу Казимежу Дзёку. Он ответил отказом.

М. К. Почему?

С. П. Он объяснил, что в самолете нет места, поскольку там, кроме гуманитарной помощи, якобы летит группа журна-

1. Маоистами в Албании называли коммунистически настроенных сторонников Энвера Ходжи.
2. Международные силы под руководством НАТО, ответственные за обеспечение стабильности в Косово.

листов... Я подозреваю, что он сделал это просто из вредности. Мне так кажется. Возможно, я не прав. И представь себе, вскоре в аэропорт позвонил неизвестный и сообщил о бомбе в этом самом самолете. Пришлось все разгружать, проверять. На это ушло полтора дня. А тем временем вернулся Онышкевич, выдал разрешение, и оружие было доставлено.

М. К. Хитрый ход?

С. П. Удачное стечение обстоятельств... Несколько недель спустя я был на приеме по случаю дня Войска польского. Присутствовали президент РП, министры, генералы, военные атташе... и генерал Дзёк, который бегал по Бельведерскому саду, показывал на меня пальцем и кричал: "Не пейте с этим сумасшедшим!"

М. К. А месяц спустя ты лишился своей должности, а ГРОМ передали Министерству национальной обороны.

С. П. Раздели два эти события. Я не был противником включения ГРОМа в структуры МНО. Наоборот, я считал, что такой шаг откроет перед подразделением более широкие перспективы развития, а кроме того, это будет логичным следствием 149-й статьи Конституции и Закона о структуре государственного управления, который начал действовать с 1 апреля 1999 года, а также факта вступления Польши в НАТО.

<...>

С. П. 29 февраля 2004 года в газете "Санди таймс" я прочел статью Роберта Уиннета и Джастина Спаркса, озаглавленную "Польские герои в центре сил в Ираке":

Джеф Хун[1] и некоторые высшие должностные лица министерства обороны Великобритании собрались в лондонском командном пункте – в подземном укрытии министерства обороны – для наблюдения за первой операцией войск спецназначения, проводившейся во время прошлогоднего вступления в Ирак. Эта ночная операция – одна из самых дерзких и опасных за всю войну – транслировалась в командный пункт в режиме реального времени кинокамерами, снимавшими рейд.

Польские войска специального назначения получили задание захватить буровую вышку у побережья Ирака. Благодаря успеху их операции путь в Ирак был открыт.

Из данных разведки было известно, что иракцы получили приказ взорвать две буровые вышки возле порта Умм-Каср, как только начнутся военные действия. Если бы им это удалось, разлив нефти мог привести к возгоранию залива, что серьезно затруднило бы всю военную операцию.

Одну вышку предполагалось захватить путем синхронизированной атаки лучших войск американского спецподразделения "Дельта". Дру-

1. Джеффри Уильям Хун – министр обороны Великобритании в 1999–2005 гг.

гую, расположенную в 50 милях к востоку, должна была захватить группа ГРОМ – польское спецподразделение, подготовленное и обученное британской Особой воздушной службой (SAS).

"В этой операции у нас не было права на ошибку, – сказал Дарек, один из польских спецназовцев, принимавших участие в рейде. – Все было рассчитано до секунды. Мы должны были нанести удар и завершить операцию до того, как иракцы успеют хотя бы подумать о детонации взрывчатки".

19 марта под покровом ночи Дарек и более 20 польских спецназовцев тронулись в путь на скоростных катерах, оснащенных крупнокалиберными пулеметами. Третью ночь подряд подразделение пребывало в состоянии боевой готовности. Два предыдущих вечера операцию останавливали в последнюю минуту.

Наконец, на глазах Хуна и прочих, ГРОМ получил приказ действовать. План был прост: находящаяся на катере команда должна была обезвредить всю взрывчатку, установленную у подводной части вышки до того, как вертолет со снайпером на борту устремится вниз, чтобы уничтожить или захватить более 40 иракских служащих.

Бойцы ГРОМа располагали широким набором огневого оружия: у каждого имелся пистолет "браунинг" или "глок", а также пистолеты-пулеметы "узи", штурмовые винтовки "тантал" и гранатометы "M203".

Каждый снайпер мог выбрать винтовку по своему предпочтению: в их распоряжении были "M86", "PSG-1" и "геката-2".

По мере приближения к вышке водолазная команда переместилась в надувные лодки с бесшумным двигателем, чтобы не насторожить противника.

У вышки водолазы-разведчики проверили подводную часть нефтепровода на наличие взрывчатки, а штурмовики взобрались на гигантскую металлическую конструкцию. Они быстро удостоверились, что донесения разведки верны, и осторожно удалили всю взрывчатку.

Затем прибыл вертолет ВМС "блэк хоук", со стрелка́ми на борту. Им понадобилось три минуты, чтобы убить находящихся на платформе охранников.

Вот как оценили польских спецназовцев в SAS: "У подразделения ГРОМ чрезвычайно хорошая репутация, его часто посылают на самые опасные и трудные задания. Мы очень тесно с ними сотрудничаем, на них всегда и во всем можно положиться".

После захвата вышки бойцы ГРОМа проникли вглубь иракской территории внутренними водными путями и нанесли врагу огромные потери в тылу.

Уже после падения Багдада подразделение сыграло важную роль в обнаружении пособников Саддама Хусейна. Бойцы ГРОМа взяли в плен около 30 человек из числа срочно разыскиваемых.

Я прочел это и подумал, что мой ГРОМ выиграл.

И теперь, спустя годы, после семидесяти девяти успешно проведенных операций, после уничтожения нескольких сотен террористов, добавлю: ГРОМ по-прежнему выигрывает.

Марек Радзивон
Ивашкевич. Писатель на фоне катастроф

Глава из книги

Перевод и вступление В. Хорева

Ярослав Ивашкевич (1894—1980) — один из самых выдающихся творцов польской культуры, мало кто может сравниться с ним по писательской активности, по богатству и многосторонности творческих свершений. Поэт, прозаик, драматург, искусствовед, эссеист, критик, музыковед, мемуарист, переводчик шедевров мировой литературы — личность поистине ренессансная.

Трудно подступиться к описанию такого феномена. Возможно, поэтому в Польше до сих пор нет добротного монографического исследования творчества Ивашкевича. Существующий пробел во многом восполняет книга Марека Радзивона, заключительная глава которой предлагается вниманию читателя.

Ярослав Ивашкевич родился в деревне Кальник Киевской губернии, где его отец, изгнанный из университета за участие в национально-освободительном восстании 1863 года, служил бухгалтером на сахарном заводе. Будущий писатель учился в елисаветградской и киевской гимназиях, на юридическом факультете Киевского университета и в Киевской консерватории. Константин Паустовский, его соученик по киевской гимназии, писал: "Я могу утверждать, не боясь ошибиться, что Ивашкевич испытывал те же влияния трех культур, какие испытывали и мы все, киевляне, — культуры русской, украинской и польской. Это сказалось на его формировании человека и писателя". Ивашкевич не стал ни юристом, ни композитором, ни актером (он увлекался также и театром). Верх одержало писательское призвание, хотя любовь к музыке осталась на всю жизнь — у него есть книги, посвященные музыке и музыкантам, творчеству Шопена, Баха, Шимановского.

Поэтический дебют Ивашкевича состоялся на страницах польского киевского журнала "Pióro" в 1915 году. А осенью 1918-го он переехал в Варшаву, где вместе с молодыми талантливыми поэтами Ю. Тувимом, А. Слоним-

© Marek Radziwon, 2010
© В. Хорев. Перевод, вступление, 2011

ским, Я. Лехонем и К. Вежинским принял участие в создании очень влиятельной в 20—30-е годы поэтической группы "Скамандр". В межвоенные годы Ивашкевич издал несколько сборников стихов, романов и повестей, которые выдвинули его на авансцену литературной жизни. Им были созданы шедевры польской новеллистики — рассказы "Барышни из Вилько", "Березняк" (по этим рассказам Анджеем Вайдой поставлены известные фильмы) и другие, исторический роман "Красные щиты". В них проявились отличительные черты его прозы — лирико-философское со скептическим оттенком видение мира, тончайший психологизм в изображении внутреннего мира героев. Его "максималистское", по собственному определению, кредо — это "познать, понять и выразить мир", "показать читателю прекрасное в жизни и прекрасное в человеке".

В годы Второй мировой войны усадьба Ивашкевича Стависко под Варшавой стала прибежищем для многих литераторов, музыкантов, артистов. Тогда же были созданы прекрасные рассказы "Битва на Сейджмурской равнине" и "Мать Иоанна от Ангелов" (по нему Ежи Кавалерович в 1961 году снял фильм) и другие. В них, как и в довоенных новеллах, жизненная философия писателя — необходимость стремления каждого человека, бессильного повлиять на ход истории, к внутренней свободе как неотъемлемому условию существования — проявляется не впрямую, а в поступках, высказываниях и размышлениях героев. При этом Ивашкевич, видя антиномичную сущность жизни, избегает однозначных суждений.

И в послевоенной прозе Ивашкевич достигает такой глубины психологического изображения, которая позволяет отнести многие его произведения к числу выдающихся творений мировой литературы. Жизнь, любовь, смерть — коренные проблемы человеческого бытия — воплощаются им в красочном, "проницательном и поэтическом", по отзыву Паустовского, изображении мира, в воссоздании трудноуловимых состояний и движений души. В последних его новеллах, как и в стихах, преобладают мотивы умудренной старости, памяти о прошлом, которая уходит в небытие вместе с ее носителем, апологии жизни, которая вступила в фазу умирания и с которой надо достойно проститься.

К самым значительным произведениям писателя и всей польской литературы XX века относится роман-трилогия "Хвала и слава" (1956—1963) о судьбах польской интеллигенции в XX веке. Этот роман, широкий по охвату событий (от начала Первой мировой войны до конца Второй), насыщен раздумьями героев о патриотизме, судьбах Польши и ее повстанческих традициях, об искусстве, жизни и смерти.

Сердцевиной обширного творчества Ивашкевича является поэзия. Ее вершина — последние книги стихов: "Итальянский песенник" (1974), "Карта погоды" (1977), "Вечерняя музыка" (1981, издан посмертно). В них поэт достиг, по словам польского исследователя Я. Рогозинского (с которым нельзя не согласиться), "такой степени совершенной простоты, которую можно сравнить только с простотой самых ярких лириков — Гёте или Мицкевича".

В послевоенные годы напряженный литературный труд Ивашкевич сочетает с ответственными общественными и литературно-организационными обязанностями. В 1946—1950 годах и с 1959 года до конца жизни он возглавлял Союз польских писателей, был главным редактором ведущего литературного ежемесячника "Твурчость". Был депутатом польского сейма и председателем Всепольского комитета защиты мира, членом Всемирного совета мира. В 1970 году получил Ленинскую премию "За укрепление мира между народами" (к чему скептически отнеслись многие польские литераторы и что лишило писателя шансов на получение Нобелевской премии).

В 80—90-е годы Ивашкевич подвергся ожесточенной критике наиболее радикальных антикоммунистических критиков и публицистов за "сервилизм" по отношению к властям ПНР. Но свою миссию посредника между писательской средой и властными структурами он выполнял сознательно, потому что ему не были безразличны судьбы Польши и ее культуры. Он упорно отстаивал интересы писателей в бесконечных тяжбах с чиновниками от культуры, хотя ему и приходилось идти на уступки и компромиссы, навлекая на себя упреки коллег по писательскому цеху. Об этом свидетельствуют факты и документы, приводимые М. Радзивоном, попытавшимся дать взвешенную оценку публичной деятельности писателя. Трудно, правда, согласиться с его мнением о том, что в 70-е годы Ивашкевич "не сориентировался во времени", не выступив более резко против ограничения свободы творчества в ПНР. Но кто тогда мог предвидеть стремительное развитие событий в 80-е годы и крах "развитого социализма" в Восточной Европе?

Много десятилетий Ивашкевич был в центре литературной и культурной жизни страны. Как никто другой, он олицетворял преемственность современной ему польской культуры и по отношению к периоду двадцатилетнего существования независимой Польши между двумя мировыми войнами, и по отношению к предшествующим эпохам. Нельзя представить себе полноценную литературу, которая возникла бы вне традиций национальной культуры и ее языка. "Человеческая личность, — считал Ивашкевич, — может обрести подлинную значительность, развить свои склонности только в сфере своей культуры, своего языка". О языке — "величайшем богатстве" любого народа, значение которого "не определить никакими мерками, никакими масштабами", — он писал: "Язык помогает нам созидать будущее, постигать настоящее и хранить прошлое. Он помогает нам жить".

Ивашкевич был крупнейшим знатоком русской литературы, много писал о ней, переводил, пропагандировал ее в Польше. "Больше всего, — писал он, — я люблю двух русских писателей: Льва Толстого и Антона Чехова. Но если к Толстому я отношусь как к недостижимому образцу писательского искусства, как к патриарху всемирной литературы, то мое отношение к Чехову более интимно. Оно проникнуто глубокой любовью, я его люблю как брата. Конечно, он тоже является недостижимым образцом..." Книгой, подводящей своего рода итог многообразным творческим связям Ивашкевича с Россией, является "Петербург" (1975). Сквозь приз-

му легендарного города на Неве он рассмотрел в ней многие ключевые вопросы русской истории и культуры, их связь с судьбами Польши и поляков.

"Подлинное, великое искусство, — по словам Ивашкевича, — спаивает воедино народ, оно — оплот и опора. Такая опора для поляков — поэзия Мицкевича, музыка Шопена". Не будет преувеличением сказать, что опорой для будущего польской культуры является и его творчество.

Художник, деятель, барин

> Вчера говорили с Юреком Лисовским[1] <...> о моей биографии, о ее незначительности, о том, что моя жизнь неинтересна...
>
> Ярослав Ивашкевич
> *Дневник. 7 октября 1955*

В зрелом возрасте Ярослав Ивашкевич написал: "Однажды (почти полвека назад) Кнабе нагадал мне по руке, что я всю жизнь проведу дома, в деревне, и к этому сведется моя биография. Я не хотел ему верить — неужели такое возможно? Впереди были две войны и революция, я думал, что жизнь будет играть мною, как щепкой, либо жизни не будет вовсе, а тут эта монотонность, которая не могла не сказаться на моем творчестве. Теперь обо мне пишут все больше — и это меня немного озадачивает, ибо, собственно говоря, они не знают о чем писать, ведь в лесу созданных мною книг нет стоящих вещей".

Ярослав Ивашкевич прожил 86 лет. Его жизнь была насыщенной и бурной, она охватила несколько эпох. Ивашкевич наблюдал расцвет и крушение империй, корни его семейной исторической памяти уходят в первую половину XIX века. Подданный Российской империи, он пережил стремительное падение великой державы, был свидетелем большевистской революции, видел возрождение Польши, ее краткое двадцатилетнее существование, а затем трагический конец. Он был свидетелем военной гекатомбы, вплоть до конца 1980-х участвовал в послевоенной жизни не суверенной, зависимой от СССР, страны.

Что значила политика для Ярослава Ивашкевича? Как он определял и как пытался реализовать свои политические цели? И как мы, через тридцать лет после его смерти, можем их

1. Ежи Лисовский (1928–2004) — критик, переводчик, постоянный сотрудник возглавлявшегося Ивашкевичем журнала "Твурчость", главный редактор после его смерти. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

интерпретировать и оценивать? Ивашкевич — несомненно благодарный объект для размышлений о стратегии поведения в мире политической несвободы. В польской историографии XX века это одна из фундаментальных тем.

Годы, предшествующие Второй мировой войне, были для Ивашкевича периодом становления. Именно тогда, под влиянием семейных традиций и собственного горького опыта, формируются его взгляды на историю, политику, судьбу, приходит осознание ключевых для выработки гражданской позиции понятий — таких, как патриотизм, отечество, свобода. Позднее, уже в Варшаве, он попал под влияние среды, в которой нашел свое место. Это, с одной стороны — после женитьбы на Анне Лильпоп, — зажиточное варшавское мещанство; с другой — модный художественный авангард, объединенный вокруг журналов "Скамандр" и "Вядомости литерацке". Кроме того, по меньшей мере до середины 30-х годов, это был непростой период художественного созревания, поисков собственного писательского стиля. Для Ивашкевича имели исключительное значение его рост как художника, богатство духовной жизни: "ни один биограф не напишет хорошо моей биографии, поскольку в обыденной, будничной — без значительных событий — жизни он не увидит интенсивности моих переживаний, которая придает окраску даже самым заурядным вещам", — писал он в дневнике (16. 10. 1952).

Так оно и есть. Кто бы ни писал о Ярославе Ивашкевиче, должен чувствовать, что, несмотря на все свои усилия, не сумеет полностью понять эту необыкновенную личность. Я знаю, что о жизни писателя можно писать без конца, что всегда остаются неиспользованными документы, свидетельства, письма, которые могли бы дополнить картину. И все же мне кажется, что, хотя к нарисованному мною портрету можно добавить много новых черт и оттенков, основные выводы, которые я попытался сформулировать, останутся неизменными.

В послевоенной официальной жизни Ярослав Ивашкевич — писатель, интеллектуал, зрелый художник — реализовал себя разными способами и прежде всего как многолетний председатель Союза польских писателей, председатель Всепольского комитета защиты мира, депутат сейма многих созывов. Он понимал, что все эти общества и союзы имеют показушный характер, что не там принимаются решения, важные для тех, ради кого они созданы. Ивашкевич знал, что его присутствие в этих организациях носит в большой степени декоративный характер, но считал, что нет иного способа участвовать в общественной жизни, влиять, хотя бы отчасти, на ход политических событий. В то же время он охотно поддавался иллюзиям — ему нравились международные съезды, он любил

встречаться с европейскими интеллектуалами и творцами, ощущал себя, и не без оснований, равноправным членом европейской интеллектуальной и художественной элиты.

Пожалуй, следует признать, что вся активная публичная деятельность Ярослава Ивашкевича — а в Польше конца 40-х он обладал относительной свободой — была, с одной стороны, повинностью, данью довоенного интеллектуала послевоенному авторитарному режиму, а с другой — проистекала от искренней убежденности в том, что никто лучше его не может представлять Польшу, вне зависимости от того, кто в данный момент находится у власти. Активность Ивашкевича давала ему возможность время от времени выезжать на Запад, подышать свежим воздухом, окунуться в культуру, из которой он неустанно черпал в межвоенные годы. Это был, конечно, не главный, но весьма существенный резон. В стране за железным занавесом, где для поездки за рубеж требовался загранпаспорт и скупо выдавалась валюта, официальные делегации были единственным шансом контактов со свободным Западом. Ивашкевич не только ощущал связь с западным миром — он считал, что его творчество принадлежит этому миру.

Можно нарисовать много разнообразных и даже взаимоисключающих портретов Ярослава Ивашкевича. Автор "Барышень из Вилько" — не только официальный писатель, который из-за трусости, наивности либо простого конформизма поддерживал режим ПНР и широко пользовался привилегиями как один из немногих избранных. Конечно, он всегда любил почести, ему импонировали те, в чьих руках была власть, даже если, а так случалось часто, они были ниже его уровня. Вспомним нелестное для мужа наблюдение Анны Ивашкевич еще в феврале 1923 года. Молодая чета была приглашена на юбилейный спектакль в честь режиссера и директора Польского театра Арнольда Шифмана, который почтили своим присутствием президент Станислав Войцеховский, маршал сейма Мачей Ратай, премьер-министр Владислав Сикорский. "Какой цирк! — комментировала Анна. — Эти 'возвышенные' речи, этот пафос. Нет ничего смешнее, чем такого рода празднества, которые никто не воспринимает всерьез". Однако она заметила, что Ивашкевич воспринимает их всерьез: "с каким восторгом Ярослав <...> глядел в сторону президентской ложи, когда при появлении в ней президента все повставали с мест и зааплодировали. Ярослава привлекают мельчайшие детали жизни 'сильных мира сего'. Я постоянно вижу это и еще не решила, то ли это некий оттенок патриотизма, то ли попросту влечение ко 'двору', своего рода снобизм". Примерно то же отмечали коллеги-писатели, современники Ивашкевича. Анджей Киёвский говорил о "менталитете просителя"; Мечислав Яструн

видел "высокомерие в союзе с угодливостью"; Ян Юзеф Щепанский писал о его амбивалентном отношении к властям имущим: "он глубоко презирал представителей 'ведомства', но неустанно добивался их расположения".

Ивашкевич — это также целый институт, представитель Польши в мире, ее выдающийся посол. Именно так воспринимала его власть. Литературная среда, критиковавшая многие действия писателя, видела в нем своего посланца во властных структурах. На Яструна произвела впечатление речь Ивашкевича на похоронах поэта Яна Спевака; 28 декабря 1967 года он записал в своем дневнике: "Величав, конечно же барин, а не эконом. Превосходный писатель".

Менее детальным до сих пор представляется облик Ивашкевича как художника, который, не сомневаваясь в своей писательской значимости, в то же время вынужден был считаться с целым рядом ограничений, не только политических. Он знал, что не мог бы жить и творить вне стихии польского языка, хотя с болью осознавал провинциализм и захолустность родной Польши. Польская шляхетская и интеллигентская традиция, восходящая к первой половине XIX века, питала его творчество, но и тяготила его. В "Путешествии в Патагонию" Ивашкевич несколько выспренно писал: "Польша! Колючий шип терновый / застрявший навсегда во лбу, в груди, в ладони"[1]. Не менее выразительно говорит он о своей "польской" занозе (запись в дневнике 9 января 1974 года): "Польша здесь, и от этого никуда не деться". Столкновение честолюбивых стремлений с обреченностью на местную второсортную действительность отчетливо передано в описании одной из его встреч за границей с Жаном Полем Сартром и Дёрдем Лукачем. Ивашкевич взял немецкий экземпляр своих "Красных щитов" и "Тошноту" Сартра, подошел в ресторане к столику, за которым сидели мэтры, вручил свой роман с автографом Лукачу, а Сартра попросил надписать его книгу. Позднее он записал в дневнике: "я пережил унижение по собственной инициативе". Ведь Ивашкевич считал себя писателем и интеллектуалом — хотя и происходил из "худшей" Европы — ничуть не меньшим, чем те двое, но все же одному из них он навязался без спроса, другого попросил об одолжении.

В одном из римских кафе Ивашкевич якобы сказал о начинающих итальянских писателях, которых увидел за соседним столом: "Вот два молодых итальянских поэта. Я должен их знать. — А потом добавил: — А вот старый польский поэт. Им знать меня необязательно".

1. Перевод В. Британишского.

Символична в этом смысле запись в дневнике в ноябре 1951 года. Несколько осенних недель Ивашкевич провел тогда в Италии и, как всегда, любовался фресками Рафаэля в церкви Санта-Мария делла Паче на площади Навона, созерцал любимый им портал Ватиканской пинакотеки, восхищался куполом собора Св. Петра. В дневнике он записывал впечатления, описывал картины, которые ходил смотреть каждый раз, когда бывал в Риме. "Я могу стоять перед ним часами", — писал он об одном из полотен. Потом, "как всегда с бьющимся сердцем" отправился в Сикстинскую капеллу:

"Как всегда, решаю внимательно рассмотреть настенную живопись Боттичелли, Перуджино и так далее, и едва мой взгляд коснулся потолка, я уже не мог оторваться. <...> Сегодня свет слабее и часть потолка тонет в тени. Но глаз перемещается от одной росписи к другой, и каждая восхищает. <...> И мне уже не хочется смотреть ни на что иное, только на этот потолок. Со стиснутым горлом я, наконец, прощаюсь с ним, думая, что, скорее всего, видел его в последний раз".

Он возвращался туда, когда только мог, ибо хотел общаться с великим европейским искусством. Он нуждался в нем, ощущал себя полноправным участником культуры, которая породила великих художников. Но при этом чувствовал, что приходит со стороны, что пользуется классическим наследием, войдя через черный ход. И изменить это был не в силах.

Римский ритуал имел продолжение: "Возвращаясь, в одном из боковых залов прохожу мимо 'Собеского под Веной' Матейко. <...> Как чужды цивилизации и убоги этот наивный 'король', крылья гусар и глуповатые шляхтичи, которые только что побили 'нехристей'. И все же наш несчастный Матейко, даже в сопоставлении с Рафаэлем и Микеланджело, немалого стоит. Взять хотя бы глубину чувств, значительность, печаль, нищету и отвагу — в этом вся наша отчизна, 'скорбь, мыши, дождь и Польша', как говорит Константы Ильдефонс[1]". Ярослав Ивашкевич понимал, откуда он. Он стремился в мир Рафаэля, но принадлежал к миру иному.

Зато у него не было никаких иллюзий по поводу роли и значения эмиграции и возможности заочно, из-за границы, участвовать в польской интеллектуальной жизни. О парижской "Культуре"[2], которая внимательнее, чем лондонская эмигрантская

1. Строка из стихотворения Константы Ильдефонса Галчинского (1905—1953) "Письмо с реки Лимпопо" (1934); перевод В. Корнилова.
2. Польский эмигрантский ежемесячник (1947-2000); основатель и главный редактор Ежи Гедройц (1906—2000).

среда, следила за пульсом событий в Польше, он писал Чеславу Милошу: "Какая безграничная наивность, скорее даже глупость. Им кажется, что можно спрятать в шкафу отрез, достать его через двадцать лет и сшить себе такое же, как прежде, пальто". О Лехоне же и Вежинском, которые оказались в Соединенных Штатах, он писал так: "Они отправились туда, как тот паук, в собственном коконе".

Как он понимал эмиграцию? Только как утрату, как поражение. Перед писателями его поколения открывались два пути. Для одних бегство было спасением писательской судьбы. Чтобы быть писателем, нужно жить в свободном мире, свободно дышать и говорить языком свободы — соцреализм убивает писательское призвание. Другие считали, что нужно любой ценой оставаться в своей стране, со своим языком, какие бы трудности ни чинила власть. Погружение в иную традицию, иной язык, иную историю для писателя равносильно смерти. Ивашкевич, который в свое время расстался с Украиной, с традициями и культурой кресов[1], с украинским и русским языком, выбрал второй путь.

В том, что его место в Польше, что и Польша, и он нуждаются друг в друге, Ивашкевич был убежден с самого начала и до самой смерти. Незадолго до своего восьмидесятилетия он писал: "Вчера пришел юбилейный номер "Вядомости"[2], как всегда полный глупостей и яда. <...> Он малость разозлил меня — там совершенно не осознают, что здесь живет тридцать три миллиона поляков, что здесь мы загрязняем Вислу и Пилицу, что здесь мы говорим по-польски — не в Абердине и не на Трафальгарской площади. А еще меня раздражает, что их программа только все отвергает — ничего позитивного. <...> Из мелочей складывается большое. Мы — здесь, мы вносим свой вклад в польскую культуру, которая не только сохраняется, но и развивается, здесь трансформируется, обновляется, расцветает язык. <...> Впрочем, это очевидно, Польша здесь, и от этого никуда не деться".

Поэтому надо помнить о соседях. "Наш союз с Советским Союзом — тут все просто и ясно: он должен быть нашей опорой, и мы этого хотим, от этого зависит существование наших западных земель", — говорил Ивашкевич на съезде писателей в 1965 году. Это не было лишь пропагандой. Ивашкевич действительно считал, что Польша, расположенная между

1. Кресы (в переводе с *польск.* — окраина) — польское название территорий нынешних Западной Украины, Белоруссии и Литвы, некогда входивших в состав Польши.
2. Польский эмигрантский общественно-литературный еженедельник (1946-1981), издававшийся в Лондоне.

большими народами, русским и немецким, может существовать только в союзе с СССР. Ибо этот союз, по его оценке, обеспечивал мир. Да, пришлось заплатить частью суверенитета, зато жизнь продолжается. Лучше подчиниться великому соседу, чем быть им раздавленным.

А вот еще одна знаменательная запись (14 ноября 1951 года). Ивашкевич описывает встречу с Константы Еленским. Их беседа, положившая начало многолетней дружбе живущего в Польше писателя с молодым эмигрантским литературным критиком, позволила Ивашкевичу найти ответ на один из важнейших жизненных вопросов — о призвании художника и его идентичности: "Я сказал, что считаю счастьем жить в родной стране. Он удивляется и спрашивает: 'Значит для тебя важнее быть поляком, чем писателем?' Никто еще не ставил передо мной такого вопроса, и сам себе я его не задавал, но отвечаю без колебаний: 'Разумеется, важнее!' Таким образом я прихожу к определению своей позиции, что мне крайне нужно".

Было у Ивашкевича еще одно, мало кому известное лицо. Он скрывал его от окружающих, иногда даже от близких и, пожалуй, от самого себя. Это лицо человека, переживающего разнообразные сомнения и колебания, разочаровавшегося в себе и мире, в котором ему довелось жить, тщетно стремящегося к совершенству, человека с неудовлетворенными амбициями, не осуществившимися художественными и общественными ожиданиями. "У меня нет ни дна, ни покрышки" — можно ли более жестко выразить разочарование в самом себе? Так же строго оценивал Ивашкевич и свои творческие достижения. Ощущение, что он почти ничего не создал, что не реализовался как большой писатель, под конец жизни было очень сильным: "Обидно, что на всяких симпозиумах, в книгах о польской литературе XX века мое имя даже не упоминается. Печально дожить до такого, тем более, что конкуренция не ахти какая. Да и откуда она возьмется? Но перспектива так изменчива! Насколько же иначе выглядит сейчас эпоха моей молодости. А потом будет еще иначе!" (22. 07. 1973) Впрочем, и в молодости Ивашкевича одолевали страхи, что его художественные надежды не сбудутся. Вспомним хотя бы одну фразу из письма к жене в 1927 году. Это забавный каламбур, но он выдает серьезную обеспокоенность автора: "Гомером я никогда не буду, даже омаром никогда, в лучшем случае — Хемаром[1], и это все". Такие же опасения, но выраженные всерьез, мы находим в стихотворении из сборника "Завтра жатва":

1. Мариан Хемар (1901—1972) — польский поэт-сатирик, автор песен и текстов для кабаре.

Я знал поэта Икс
поэта Игрек
поэта Зет
любимые
как быстро стареют ваши стихи
мои устарели прежде чем я их написал[1]

Ярослав Ивашкевич был обыкновенный человек, подверженный частым эмоциональным колебаниям и депрессиям. У него были великие цели и великолепные планы, но его не покидало мучительное чувство, что он загубил свою жизнь. Горькое сожаление по поводу писательской и просто житейской нереализованности рефреном звучит на страницах его дневника. Ивашкевич сомневался во всем — в нужности литературного творчества, в семье, в себе. "Подумать только, что уже ничего мне в жизни не встретится — так и буду торчать в Стависко, в Народной Польше. <...> Больше всего меня поражает то, что случиться уже ничего не может" — такого рода записи в дневнике не следует интерпретировать как естественное старческое сетование. Ивашкевич не жаловался на обделенность постами и званиями, речь шла о призвании художника, в котором он был уверен, но был также уверен и в том, что не сумеет реализовать его так, как хотелось бы. В то же время осознание несбыточности надежд постоянно переплетается у него с жаждой самоутверждения. "Быть может, когда-то я и верил, что найду спасение в искусстве, теперь я эту веру утратил", — писал он в 1965 году.

С горькой иронией и юмором Ивашкевич относился не только к так называемым преходящим трудностям, но и к самому себе, и к своей роли в этом мире. Характерен в этом смысле рассказ многолетнего секретаря Союза писателей Яна Марии Гизгеса: "Шофер привез ксендза, которого Ярослав не приглашал и которого никто не знал. Пани Анна, увидев незваного гостя, спросила мужа: — Кто это? Не моргнув глазом, Ивашкевич ответил: — Стукач в сутане".

За четверть века, прошедшие после смерти Ивашкевича, сложился его стереотип как официального писателя, угодливого по отношению к властям, сервилиста, не способного открыто выступить в защиту гражданских прав и свободы творчества. "Мне всегда казалось, что они умны и сознательно стремятся к каким-то своим целям, а я при этом смогу посодействовать польской культуре. К сожалению, все они болваны", — так отзывался Ярослав Ивашкевич о правителях ПНР.

1. Перевод Н. Астафьевой.

"То, что позднее назвали 'моделью Ивашкевича', было системой тактических компромиссов и уступок во имя сохранения некоторых установлений, не подлежащих торгу. Остается спорным вопрос, во всех ли случаях ощущение границы этих уступок было верным, но по большей части политика Ивашкевича приносила выгодные для Союза писателей результаты, амортизируя наиболее опасные угрозы, порождаемые абсурдной культурной политикой", — считал Ян Юзеф Щепанский (в 1980—1983 и 1989—1990 годах руководитель объединений польских писателей). Но не приводило ли искусство компромисса к проигрышу? Быть может, прав был Анджей Киёвский, который в декабре 1969 года писал в своем дневнике: "Система, в которой мы живем, одержала над нами победу. Она убедила нас в том, что противостояние ей — занятие несерьезное. Это очевидно. Система во многом права. Ее сила в том, что она нам навязана. Любой коммунистический функционер, прижатый оппозицией к стене, в конце концов заявит, что в существующем порядке вещей ничего нельзя изменить и что во всякой политической акции <...> нужно считаться — как это у них принято говорить — с реалиями".

Стратегия Ивашкевича, основанная на переговорах и уступках, была полностью скомпрометирована в августе 1980 года. Сам Ивашкевич замешкался, не сориентировался во времени, не понял, что в 70-е годы он мог бы протестовать значительно более резко и достичь гораздо большего, нежели в небезопасные 50-е. Он многого опасался, его сдерживали воспоминания о прежних поражениях. Подобный груз не отягощал более молодых людей, представителей следующих поколений. Они уже не помнили ни поражения январского восстания 1863 года, ни сентябрьской катастрофы 1939-го, ни даже катастрофы августа 1944 года. Мотивация, действия и нежелание действовать Ярослава Ивашкевича не могли быть и не были им понятны. Писатель умер в марте 1980 года, твердо уверенный в незыблемости строя, при котором ему довелось прожить всю свою взрослую жизнь. А тем временем, всего лишь через несколько месяцев после его кончины, возникла "Солидарность" и стала очевидна (чего никто не предвидел) неизбежность краха системы или, уж во всяком случае, ее внезапная и полная идеологическая компрометация, хотя по инерции еще десять лет предпринимались неудачные попытки ее реанимации. Понятно, что в 80-е годы прозвучало много голосов, негативно оценивающих роль Ивашкевича в польской общественной жизни.

Наиболее громкие критические высказывания в адрес автора "Барышень из Вилько" раздались уже через несколько недель после его смерти. Это была, пожалуй, первая попытка посмертного подведения итогов. О наследии и позиции Ивашкевича на

страницах мартовского номера парижской "Культуры" дискутировали Константы Еленский и Густав Херлинг-Грудзинский. Оба они признали роль Стависко в годы оккупации, но во всем остальном разошлись. Еленский защищал Ивашкевича, Херлинг же нападал на него, вспоминая, например, как Ивашкевич "на одном из конгрессов ПЕН-клуба, еще в годы сталинизма, заявил в присутствии других членов польской делегации, что общение со мной недопустимо". Прозвучавшие из уст Херлинга характеристики: "сервилизм", "естественный инстинкт придворного", "философия чиновника" — надолго прилипли к Ивашкевичу. Херлинг объяснял, в чем суть "естественного инстинкта придворного": "он постепенно полюбил свои титулы, чины и должности, <...> с гордостью носил свои ордена, <...> хвастался, что Герек взял его с собой к Брежневу". По его оценке, роль Ивашкевича в итоге свелась к "приданию новому строю некоего культурного лоска".

Еленский же указывал на "Твурчость" как на один из лучших литературных европейских журналов. И возражал: "Кто-то в Польше должен был взять на себя официальную роль 'партнера' партии и правительства в литературных делах; если бы этого не сделал Ивашкевич, судьба литературы наверняка оказалась бы гораздо более плачевной. Я убежден, что в итоге деятельность Ярослава Ивашкевича в этой области была позитивной". А Херлинг риторически вопрошал о цене уступок: "Не слишком ли дорого пришлось заплатить за то, что удалось сохранить?"

В этом споре были затронуты принципиальные вопросы, касающиеся культуры в ПНР, роли художника, границ, которых художник не должен переступать, если хочет жить в согласии с ценностями, которые провозглашает в своих произведениях. И сделаны выводы: Ивашкевич не воспринял наивно новую веру, он не был циничным карьеристом и не исполнял зловещую роль полицейского и цензора в литературе. Он играл с властью, и результаты бывали разными. Еленский был склонен видеть положительный баланс этой игры, Херлинг утверждал, что Ивашкевич легко и охотно капитулировал, обычно говорил "пас", хотя мог бы еще торговаться и выигрывать. Главный вопрос в формулировке Херлинга звучал так: "Насколько так называемый игрок контролировал свою игру, не завладела ли так называемая игра игроком, не слишком ли он вошел во вкус?"

У Ярослава Ивашкевича нашлись и защитники, главным образом, среди писателей, которые часто придерживались иных, чем он, взглядов на политику, но хорошо знали своего мэтра и председателя: "Чему тут удивляться — ведь людям казалось, что они снова под русской властью, — говорил прозаик и критик Збигнев Кубиковский. — <...> Casus Ивашкевича... Говорят, он

старый оппортунист, но почему, откуда? Ведь когда началась Первая мировая война, ему было двадцать лет, а потом в Киеве до 1916 года была нормальная царская Россия. Ему было двадцать два года, и он нормально жил среди русских".

Повторим еще раз: в опасные годы сталинизма стратегия лавирования и переговоров, стратегия защиты культуры любой ценой была оправданной и результативной. Но Ивашкевич остался ей верен и позднее, как бы не заметив, что режим постепенно теряет зубы и что поле свободы после 1956 года и особенно в 70-е годы неуклонно расширялось.

Биография Ивашкевича прозрачна. Юноша из глубокой украинской провинции, для которого польский язык поначалу значил не больше, чем русский, бедный репетитор, который быстро освоил варшавские салоны, многолетний председатель Союза польских писателей, у которого не было иллюзий по поводу зависимости Польши от Советского Союза на многие десятилетия, а может, и столетия вперед, режимный писатель, который не написал, за исключением одного стихотворения в честь Берута, ни единого слова в соответствии с доктриной соцреализма, художник, богатого наследия которого хватило бы на багаж нескольких состоявшихся писателей. Один из самых выдающихся польских поэтов и прозаиков, почти не присутствующий в читательском сознании последние четверть века. Как изучать эту биографию, к каким обращаться источникам? Как охватить эту жизнь, в которой просматривается почти весь XX век?

Ярослав Ивашкевич выбрал для себя в польской общественной жизни роль опекуна и парламентера. Ему были присущи опасения юных героев романа "Хвала и слава": "Всегда ли надо плыть по течению? — спросил Юзек. — Если нет сил ему противостоять..." Ивашкевич не мог рассчитывать, что у него хватит сил на противостояние: слишком велики были угрозы, нависшие над его средой — творцов, интеллигентов. К тому же он не верил в эффективность действия, был фаталистом. Он видел себя беззащитной скорлупкой, гонимой вихрями истории: "Человеческое бессилие и выкрутасы истории, которая всегда оставляет нас в дураках, наполняют меня ужасающим пессимизмом", — в 1966 году записал он в дневнике.

В 1971 году Ярослав Ивашкевич спрашивал самого себя с ощущением, что жизнь проиграна: "От Елисаветграда до Стависко далекий путь, я прошел его с упорством, стиснув зубы. А зачем?"

Адам Поморский
Мандельштам в Польше

Перевод и вступление Натальи Горбаневской

В нынешнем году вышел в Варшаве и в июне был представлен в Москве том польского Мандельштама "И не ограблен я, и не надломлен" (640 страниц большого формата). Составил его, перевел, снабдил обширными комментариями и послесловием Адам Поморский. Подробнее об этой книге см. мою рецензию в "Новой Польше" (2011, № 9). Здесь я хотела бы сказать несколько слов о самом переводчике-составителе и о предлагаемом вниманию читателей "ИЛ" тексте.

Представительное избранное Мандельштама следует за двумя столь же фундаментальными изданиями великих русских поэтов XX века — Ахматовой (см. мою рецензию "Ахматова Поморского" // Новая Польша, 2008, № 2) и двухтомного Хлебникова. Каков Поморский как переводчик — блестящий! — я знаю и на своем собственном примере, и на примере его переводов из белорусских поэтов: двуязычное издание стихов Андрея Хадановича, двуязычная же антология современной белорусской поэзии и его переводы в большой антологии белорусской поэзии (обе антологии он и составлял).

Предлагаемая публикация — отрывки из послесловия к книге, озаглавленного "Посмертная жизнь Осипа Мандельштама". Это история издания и восприятия творчества Мандельштама в СССР и в Польше. Публикуемые отрывки взяты из второй, польской, части послесловия. Завершается оно главой "Милош", где Поморский вступает в спор с нобелевским лауреатом — о так называемой "Оде Сталину". Эту главу можно будет прочитать в моем сборнике переводов и статей "Мой Милош" (М.: Новое издательство, 2011, в печати). А первая глава этой польской части, напечатанная тоже в № 9 "Новой Польши" за нынешний год, посвящена переводам Мандельштама с 1925 года до второй половины 1950-х.

1925-й? Поразительная дата! Первый известный перевод Мандельштама на иностранный язык! Это открытие, как подчеркивает Поморский, сделал польский поэт и литературовед (и мой коллега по "Новой Польше") Петр Мицнер (см. его публикацию "Польский полицейский переводит Мандельштама" // Новая Польша. 2007, № 1). Да, польскому полицейскому-мемуаристу понадобились две строфы из стихотворения "Polacy!", и он их перевел как умел. Настоящая же история переводов Мандельштама в Польше начинается с 1935 года, связана с кружком, образовавшемся в

© Adam Pomorski
© Наталья Горбаневская. Перевод, вступление, 2011

Варшаве вокруг Дмитрия Философова, и обрывается лишь... в 1947 году, чтобы возобновиться десять лет спустя — антологией "Сто тридцать поэтов" под редакцией Северина Полляка, где было уже не пять стихотворений Мандельштама, как в антологии 1947 года, а шестнадцать.

Переводчики и литературоведы: между этикой и политикой

В 60-е годы были созданы две антологии под редакцией Виктора Ворошильского, Витольда Домбровского и Анджея Мандальяна — дебютантов послевоенного десятилетия, начиная с октября 56-го связанных с кругами польских ревизионистов; это: "Антология новейшей русской поэзии. 1880—1967" (1971) и "Русские символисты и акмеисты" (1971). Наряду с переводами Герца и Полляка среди полутора десятков стихов Мандельштама были напечатаны и переводы составителей антологии (среди них, по крайней мере, два непревзойденных: "Нашедший подкову" Мандальяна и прославленный в дальнейшем певицей Эвой Демарчик "Жил Александр Герцович..." Ворошильского), а также великолепные, поэтически проникновенные переводы Ярослава Марека Рымкевича.

В том же году вышла переводческая summa поэзии Мандельштама в Польше — внушительная, если помнить, что поэт большинству читателей был неизвестен, — а также сборник "Стихи" под редакцией Рышарда Пшибыльского в так называемой целлофановой серии издательства ПИВ (второе издание, исправленное и дополненное, вышло в 1997 году). Здесь ко всем вышеназванным переводчикам присоединились Артур Мендзыжецкий и Богдан Задура и появились первые, чарующие виртуозностью и глубиной лирического тона, переводческие свершения Станислава Баранчака. Пшибыльский, которому в ходе следующих десятилетий предстояло вложить самый весомый вклад в дело популяризации Мандельштама в Польше, был предназначен для этой роли: многообещающий русист, который находясь в СССР на стипендии, приобрел доверие Анны Ахматовой и Надежды Мандельштам, автор замечательного труда "Достоевский и 'проклятые вопросы'. От 'Бедных людей' к 'Преступлению и наказанию'" (1964). После вмешательства советского посольства в связи с публикацией его статьи "Смерть Ставрогина" в журнале "Тексты" (1972) Пшибыльскому запретили публиковать собственные работы по русской литературе. Исключение было сделано для пере-

водов и работы составителя: после "Стихов" Мандельштама Пшибыльский издал его избранные статьи о литературе "Слово и культура" (1972) и сборник исследований творчества Анны Ахматовой "Мой Пушкин" (1976) — оба в переводах составителя. Труды эти Пшибыльский продолжал после 1989 года, составив и переведя два сборника прозы Мандельштама и сборник Надежды Мандельштам "'Моцарт и Сальери' и другие статьи".

В своих эссе, критических статьях и историко-литературных исследованиях Пшибыльский излагал эффективную концепцию современного неоклассицизма, представителями которого на польской почве он считал, например, Збигнева Херберта, Юлию Гартвиг и Мендзыжецкого, а покровителями — в частности, Мандельштама и Элиота. Неоклассическое истолкование творчества Мандельштама Пшибыльский представил в эссе-предисловии к сборнику "Стихи" (1971). Прозрачным эвфемизмом объясняя продиктованную цензурными соображениями неполноту выбора, в заключение предисловия он с благородным пафосом надолго определил место Мандельштама в польском сознании:

> В том мире, где правят четыре праприципа: музыка, центр, любовь и "логос", человек сражается с временем, преодолевает историю и смерть, преобразует свой преходящий опыт в бессмертные духовные ценности. Лирика Мандельштама показывает человека хозяином мира — дома, устроенного со смыслом и любовью. <...> Этот гуманистический порядок космоса совершенно исчезнет из трех следующих сборников стихотворений (двадцатых-тридцатых годов). Мир стал чудовищным и жестоким. В доме человека разрушена космическая ось. Человек отказался от обрядовых действий и начал войну с жестоким злом, которое овладело также и словом. Где-то в тумане растаял белый Акрополь. Мандельштам видит, что повсюду ему только копают могилу. Ничего нет более патетического, нежели мысль, которая анализирует собственные страдания. Ничего более торжествующего, нежели мудрость, которая знает, на чем основана победа. Это было нечто большее, чем вариант судьбы Иова: создатель мира стал страдающим нервом. Был Дант. Стал рядовым мучеником. Мандельштам может научить нас тому, что значит человек, что значит мать-земля, когда философия уже ничего не значит. Драма Мандельштама — это фигура нашей судьбы. Это, может быть, самый поразительный поэтический опыт XX века. У Мандельштама, как у Моцарта, нет могилы. Его могила — память человечества.

Труднее сложилась в Польше судьба прозы Мандельштама. Готовый перевод "Шума времени" и "Египетской марки", подготовленный в 1967 году для издательства "Чительник" Игнацием Шенфельдом (этот бывший лагерник родом из Львова только в 1956 году вырвался из СССР в Польшу), не вышел в свет, так как

после мартовских событий 1968 года переводчик эмигрировал и стал работать в Мюнхене на радио "Свобода". Новый перевод сделал Пшибыльский – до того автор послесловия к переводу Шенфельда. На этот раз публикации помешал скандал, связанный с выходом "Воспоминаний" Надежды Мандельштам. Умышленно бесстрастная записка Ирены Шиманской, главного редактора издательства, сохранила для истории два главных аргумента, которые были решающими в вынужденном отказе от издания в 1972 году: поэт погиб в советских лагерях, а его вдова в опубликованных на Западе воспоминаниях стоит на "антисоветских позициях". С тех пор вплоть до 1984 года Осип Мандельштам исчез из официального издательского оборота. Сборник прозы в переводе Пшибыльского увидел свет только десять лет спустя, в 1994-м.

В 1979 году лондонское Издательство поэтов и художников Кристины и Чеслава Беднарчиков выпустило "Поздние стихи" Мандельштама в переводах Станислава Баранчака. Этот сборник, немыслимый в ПНР, где тогда в печать не пропускали даже упоминаний о сталинском терроре, не раз перепечатывался в подпольных издательствах. В большом блоке произведений наряду с новыми, классицизированными редакциями старых переводов Баранчака из "целлофанового" сборника оказалось и стихотворение, которое запало в память польских читателей: антисталинская эпиграмма ноября 1933 года "Мы живем, под собою не чуя страны...". Это стихотворение в бесчисленных публикациях, как подпольных, так и времен "Солидарности" 1980–1981 годов, обрело огромную популярность, а в демократической Польше после 1989-го попало в школьные учебники.

Подпольно переиздавались в Польше (1981 и 1982) и вышедшие в 1976 году в лондонском издательстве "Полония букс" сокращенные воспоминания Надежды Мандельштам в переводе Анджея Дравича, озаглавленные (так, как это было в английском издании) "Надежда в безнадежности". Официально книга вышла с большим опозданием, только в 1997 году, а полного издания воспоминаний Надежды Мандельштам по-польски – удивительно! – так и не было.

К важным польским достижениям 70-х годов относятся и исследования, посвященные великому поэту. Наряду с пионерскими трудами Рышарда Пшибыльского (его эссе о Мандельштаме "Благодарный гость Бога", выпущенное в 1980 году парижским издательством "Либелла", стало одним из самых важных в литературе о поэте) здесь следует указать работы Ежи Фарино по структурному анализу, начиная с блестящего исследования "Четыре храма Осипа Мандельштама", напечатанного в варшавских "Текстах", а также историко-литератур-

ный синтез Евлалии Папли, чья диссертация "Акмеизм. Генезис и программа", выпущенная издательством "Оссолинеум" в 1980 году на ротаторе, за несколько десятков лет не утратила ценности и может почитаться гордостью польской русистики.

Время утраты критериев

Под конец 1984 года, после двух с лишним лет борьбы с цензурой, в краковском издательстве "Выдавництво литерацке" огромным даже по тем временам тиражом 30 тысяч экземпляров вышел двуязычный, по сей день самый большой в Польше, сборник лирики Мандельштама под редакцией Марии Лесневской. Значительную часть из 240 стихотворений перевела сама Лесневская, чей переводческий талант, к сожалению, не дотягивал до уровня этой поэзии. Сборник готовился в 1980—1981 годах, в атмосфере свобод эпохи первой "Солидарности", однако его издание пришлось на самый мрачный период военного положения. В атмосфере репрессий, полицейского террора и потоков политической лжи пассаж из предисловия составителя утопил всю книгу (Лесневская ссылалась на очерк В. Орлова, а повторяла, собственно, тезисы Дымшица[1]):

Мандельштам был великим поэтом, но одновременно — что нередко этому сопутствует — вечным ребенком. Что не мешало ему, а может, даже помогло слышать голоса ангельских хоров. Как и Цветаева, он не умел смириться с определенными историческими необходимостями, а свой нонконформизм выражал столь же непосредственно, сколь и инфантильно. Ничего удивительного, что ему пришлось нести последствия этого. В период жизненного упадка он написал много потрясающих стихов, где прежний оптимизм — ну, может, не совсем оптимизм, а позиция "благодарного гостя Бога", — уступает место невероятным приступам отчаяния. Но даже в этот период нередко получает слово свойственное ему восхищение миром и появляются — до того редкие у этого городского жителя — лирические вспышки, возбужденные более тесным теперь общением с природой. Гимны в честь чернозема, ветра, деревьев, облаков, птиц, пробуждения весны. Упоение ему приносит даже мрачное дыхание зимы; вид мальчика, съезжающего с горки на санках, пробуждая в памяти собственные детские переживания,

1. Александр Львович Дымшиц (1910—1975) — литературовед, критик, сталинист, автор конъюнктурной вступительной статьи к книге О. Мандельштама "Стихотворения". (*Здесь и далее – прим. ред.*)

вызывает у поэта почти экстаз. Он ощущает глубокую радость просто от факта, что живет, дышит.

Это курьезное истолкование написанных в ссылке "Воронежских тетрадей" (именно ссылку поэта составительница назвала "жизненным упадком") завершается строфой трагического стихотворения от 15–16 января 1937 года с прочитывающимся в политическом контексте образом затравленного несчастливца, которого "как тень его, / Пугает лай и ветер косит", с дантовским мотивом полуживого существа, которое в аду молит тень умершего о поддержке, и с реальным, а вместе с тем отсылающим к традициям Достоевского и Владимира Соловьева мотивом нищенки – падшей в земном мире гностической Софии. Это заведомо не природоведческая идиллия: "Еще не умер ты, еще ты не один, / Покуда с нищенкой-подругой / Ты наслаждаешься величием равнин / И мглой, и холодом, и вьюгой". Уже в следующей строфе гордость наделяет поэта-изгнанника дантовской "прекрасной бедностью" и "роскошной нищетой".

Воздадим должное составителю краковского избранного: в нем впервые на родине были официально напечатаны почти все вышедшие ранее за границей переводы Станислава Баранчака, активного деятеля оппозиции; несколькими годами позже та же Лесневская вдохновила готовившуюся еще полулегально Данутой Бромович выставку "Осипу Мандельштаму in memoriam (к пятидесятилетию со дня смерти)" в Ягеллонской библиотеке (Краков, 19 января – 9 февраля 1989). На оголодавшем издательском рынке сборник, составленный Марией Лесневской, все-таки свидетельствовал, что интерес к творчеству и биографии Мандельштама вышел за рамки оппозиционных кругов с их кодексом нравственной и политической порядочности. Некоторые связанные с этими кругами переводчики не дали согласия на перепечатку своих – иногда уже ставших классическими – переводов. И в этом сборнике нет переводов Павла Герца, Витольда Домбровского, Анджея Мандальяна, Артура Мендзыжецкого, Ярослава Марека Рымкевича. Зато появился Леопольд Левин, в ПНР пользовавшийся славой прислужника властей, не заботившийся ни о выборе авторов и текстов, ни об уровне своих переводов с русского. (Сознавая политическую двусмысленность и желая поправить дело, "Выдавництво литерацке" в 90-е годы выпустило на рынок новое избранное Мандельштама в двуязычной серии, подготовленное вроцлавским русистом Тадеушем Климовичем. На этот раз здесь не было переводов ни Лесневской, ни Левина.)

Следующим подтверждением опасного процесса потери критериев был сборник "Акме значит вершина. Гумилев, Ах-

матова, Мандельштам в переводах Леопольда Левина". Книга вышла в "Чительнике" тиражом 20 тысяч экземпляров в конце 1986 года, но в набор была сдана еще до выхода сборника, составленного Лесневской. По мнению знатоков, вынесенная в заглавие "вершина" знаменовала "верх" бездарности. Рецензия Евлалии Папли на страницах еженедельника "Тыгодник повшехны" (1987, № 22) была сокрушительной. В № 30 ее подкрепил язвительным письмом Анджей Дравич, деятель демократической оппозиции, самиздатский автор, окруженный нимбом законодателя независимой польской русистики:

Я взялся за сборник переводов "Акме значит вершина", чтобы убедиться, так ли плохо дело, как пишет рецензент. Нет, не так – намного хуже. Мы имеем дело с настоящим памятником переводческой небрежности и наплевательству, <...> заманивающим читателей именами великих русских поэтов. Пани Папля права во всем: количество глупостей, которые Леопольд Левин ухитрился сказать об акмеизме в коротеньком, но глубоко невежественном введении, <...> бьет все рекорды. Правда и то, что переводчик <...> нагружает свои переводы дешевкой и лексикой, совершенно чуждой словарю авторов стихов. Хочется взывать к отмщению, когда мандельштамовско-расиновская Федра говорит "Как эти занавесы мне надоели" (у Мандельштама: "Как эти покрывала мне постылы...") или когда одно из самых прекрасных стихотворений всей русской поэзии XX века – "Декабрист" – переводчик начинает словами: "Его языческий сенат – свидетельство высокое" (чей сенат??? в оригинале же ясно сказано: "Тому свидетельство языческий сенат"). Рецензентка милосердно уже и не напоминает, что и ритм Леопольду Левину не мешает, хотя у всех троих великих это важный компонент их искусства; если цезура у переводчика выпадет на середину слова – чепуха!

Письмо Дравич заканчивал обращением к покровителю переводчиков: "Поставлю ему свечку, чтобы он явился Леопольду Левину и велел в покаяние переперевести все обратно на русский". Левин, сознававший, каков ранг трех переводимых поэтов, воспринял критику болезненно. Однако его старания переиздать книгу в исправленном виде – до распродажи первого гигантского тиража! – ни к чему не привели, да и десятки лет привычки к халтуре не обещали, что исправления будут удачными. Кстати, это все еще были те годы, когда ни один переводчик или критик, связанный с оппозицией, не мог и мечтать об официальном издании хоть самого скромного избранного Мандельштама.

Следует добавить, что Леопольд Левин не был однозначной фигурой. Родственник Тувима, поддерживавший знакомство с Лесьмяном, до войны он стал известен прежде всего как переводчик Рильке. Тогдашняя служба в МВД, где в его обязанности входили обзоры еврейской печати, была истолкована НКВД в 1940 году как цензорская деятельность и стала основанием для ареста и приговора. Почти два месяца он провел в камере смертников львовской Замарстыновской тюрьмы. Позднее своим поведением в казахстанской ссылке Левин завоевал хорошую репутацию. Александр Ват сохранил к нему с тех времен уважение, в котором отказывал "друзьям-оттепельщикам", — в январе 1958-го свой только что изданный сборник "Стихотворения", свидетельство возвращения по прошествии многих лет к поэзии, он надписал: "Дорогому Леопольду Левину — камню и опоре дружбы — с низким поклоном за буханку хлеба и крепкое плечо, подставленное ниже подписавшемуся в Джамбуле в декабре 1941 года". После долгих лет политического конформизма Левин в 1983 году нашел в себе силы публично протестовать против роспуска властями Союза польских писателей во время военного положения.

Мандельштам польских поэтов

В обстоятельствах, сложившихся в 80-е годы, стражами чести Мандельштама остались польские поэты. Выход первого тома "Воспоминаний" Надежды Мандельштам, работы Пшибыльского, стихи Мандельштама в антологиях — все это еще в 1971 году приветствовал Артур Мендзыжецкий незабываемым восьмистишием, свидетельствующим о знании творчества Мандельштама:

На полуночь полуголый полубосый
И шепча себе терцины из "Инферно"
Обезумевший и святый едет Осип
Нескончаемость пред ним немилосердна

Лед и лед и ничего другого кроме
Над кровинкой громко каркает ворона
По-пермяцки по-зырянски кривит брови
Сада волчьего хозяйка Персефона[1]

Десятью годами позже написано стихотворение Ярослава Марека Рымкевича, одного из самых лучших польских переводчиков автора "Соломинки" (в 2009 году он выпустил со своими комментариями сборник: "Осип Мандельштам. 44 стихотворе-

1. Здесь и далее стихи в переводе Н. Горбаневской.

ния и несколько отрывков"). Стихотворение "Улица Мандельштама", давшее название подпольно выпущенному сборнику стихов Рымкевича (1983), не только породило символ, но и заранее разоблачило идиллические истолкования типа вышеприведенных рассуждений Лесневской:

Где она эта улица Улицы этой нету
Топчут тропу рабочие валенками по снегу

Где она эта улица Знаем только мы трое
Там где как кольца ствольные кости под мерзлотою

Где по стволу подымается кровь А чья — что за дело
Как у Шуберта птичье горло белое пело

Там где кости зелеными прорастают ростками
Отделены от вечности шаткими мы мостками

<...>

Там где он с Богом под руку выведен на прогулку
В полуистлевшем ватнике под щеголью погудку

Следом охранник тащится спотыкается пьяно
И разыгрался с Шубертом Бог на двух фортепьяно

Известие об официальной "реабилитации" поэта и обещание издать его произведения в СССР издевательски комментировал в 1987 году в Мюнхене Яцек Качмарский:

По Архипелагу слух, как телеграмма,
Что, мол, выпускают Оську Мандельштама.

Страшно удивился опер краснорожий:
"Как так выпускают? Мы ж его того же..."

Но генсек новейший отвечает: — Лапоть!
"Выпустить" сегодня значит "напечатать"!

<...>

Ужасом у вохры налилися взоры:
По швам затрещали от поэтов зоны.

Ищет вохра дело, приговор, решенье,
Открывают папку — там стихотворенье.

И людей в нем столько, как на соснах шишек,
Одного-единственного никак не разыщешь[1].

1. Полные переводы стихотворений Ярослава Марека Рымкевича "Улица Мандельштама" и Яцека Качмарского "Воскресение Мандельштама" см.: Наталья Горбаневская "И тогда я влюбилась в чужие стихи. Избранные переводы из польской поэзии". Варшава: Национальная библиотека, 2006. Двуязычное издание.

Валентин Курбатов
Свой среди своих

...и тропа расширялась.

И. Бродский

Зачем оно вспомнилось — это северное сияние: как оно впервые вспыхнуло надо мной на Севере под Кильдином на ночной крейсерской вахте? С беззвучным, но как будто отчетливо слышным шорохом раскрылось над головой призрачным зонтом, словно кто-то настойчиво дышал на темное стекло неба с той стороны, и небо запотевало и торопилось вернуть себе темноту, но тот, кто дышал, не уставал. До этого я видел северное сияние только на картинках. Там оно было "ширмой по горизонту", колеблемой ветром "шторой". А тут именно распахивалось прямо над головой тонким дыханием света и было таинственно живо и одушевленно, словно силилось что-то сказать или спросить.

И я не тороплюсь отпускать воспоминание, надеясь, что оно объяснится, зачем настигло меня, когда я оборачиваюсь на книги Мариуша Вилька о русском Севере и не знаю, как подступиться к разговору о них[1]. И кажется, понимаю, почему этот счастливый и тревожный свет вспыхнул через полстолетия над чужим текстом и чужой жизнью. Похоже, сияние таилось в воздухе этих трех книг, которые были одним целым, одной настойчивой "тропой", которой польский литератор, оставив нахоженные дороги цивилизации, год за годом шел и шел по русскому Северу, натаптывая одинокую тропу к нашему и своему сердцу, к человеку перед Богом и Родиной. Как до него это сияние таинственно озаряло прозу Б. Шергина, С. Писахова, С. Максимова и М. Пришвина, пронизывая и освещая саму мысль и жизнь этой прозы.

Началось все для польского писателя как будто случайно (нам часто кажется, что мы живем по подсказке случая — захотелось, поехал! — а потом оказывается, что во всем был властный закон, словно тебя вели за руку). Писатель уже повидал мир, высокие центры цивилизации — нью-йорки и парижи, — попробовал себя в "горячих точках" (молодая душа, как и молодое тело, ищет проверить себя, "поиграть мускулатурой"). И в России уже бывал не раз. И вроде знал ее на всех уровнях — от руководителей правительст-

© Валентин Курбатов, 2011

1. Мариуш Вильк. Волчий блокнот. — М.: Новое литературное обозрение, 2006; Волок. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2008; Тропами северного оленя. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2010.

ва до местной "мафии" и русских пьяниц во всем их пышном разнообразии. И, наверно, был смущен, прочитав однажды тютчевское "Умом Россию не понять, аршином общим не измерить". Не смущен даже, а раздосадован: что за гордыня такая, чего уж там такого таинственного, что нельзя знать, а "можно только верить". Что, ее Вильк не видел? Слава Богу — поездил.

Но заноза почему-то осталась. И как было не проверить себя. И вот он поселился на Соловках, где "Россию видно, словно в капле воды море". И стал год за годом жить как все — вода, дрова, "шило" (спирт), выборы, проклятая политика, реформы ("приватизация, капитализм — пусть гайдары в него завернутся"), лагерная память на каждом шагу и в каждом соседе. И повседневно живая в камне и воздухе монастырская и имперская история. И эта-то обыкновенная жизнь и стала его "тропой", на которой он понял однажды правду ценимого и часто цитируемого Варлама Шаламова, что "дорогами ходят и ездят читатели, а не писатели". А писатели торят свою тропу, где ждут их встречи и расставания, тоска и усталость. И люди, люди, люди... На "тропе" Вилька соберется целое человечество музейщиков и ученых, архивистов и этнографов, которых он не устанет выспрашивать о теперь уже дорогой ему земле. Он процитирует сотни источников, вглядываясь в живые судьбы тех, кто исследовал и осваивал эту землю до него, и скоро увидит по этим судьбам, что всякая русская жизнь — житие, потому что рядом с ней ходит смерть обиходная, как еда и работа.

Кажется, он написал за годы своей северной жизни каждое дерево и каждого человека, оленя и птицу, болото и тундру, ручей и море, потому что долго закрытое цивилизацией и нашим "общественным договором" зрение (а этот "договор", как закрытые глаза, позволяет нам более или менее удобно жить на этом свете, не теряя рассудка) внезапно омылось чужой жизнью и ее бедным здоровым бытом, не видящим своей бедности, и все разом исполнилось смысла. Словно бинокль до этого был обращен к миру "дальней стороной", а когда его перевернули, все страшно приблизилось. И оказалось, что это повседневно близкое, то, что перед глазами и что за привычностью почти не видишь, дороже хотя бы и очень умного общего. И мы, оказывается, так соскучились по человеку (не герою, типу, персонажу, хотя бы и самому незаурядному), а просто по человеку, который живет рядом или через дорогу, что невольно ловим себя на мысли, что читаем о родной жизни впервые.

Свои-то, положим, это тоже пишут, как год за годом пишет туруханский поселок Бахта Михаил Тарковский, как писал остров Колгуев Василий Голованов. Но это будто само собой разумеется — свои о своих. Хотя и тут, коли вдуматься, пишут немного "чужие" — Тарковский оставляет Москву и бремя высокого родового имени, чтобы начать с чистого листа, войти в мир *са-*

мому. Василий Голованов за тем же едет из Москвы на Колгуев. Они сразу внутри и снаружи, и оттого самая обыкновенная жизнь оказывается сначала для них, а там и для читателя необыкновенно интересна и полна счастья даже посреди беды и страдания, потому что открывает дорогую правду, что каждый человек — Господне чудо.

А тут и вовсе иностранец, то есть сразу иначе устроенное зрение, калька другого миропонимания, накладывающаяся на нашу реальность. Тем более когда автор выходит в дорогу с желанием "опровергнуть" тютчевский тезис о непостижимости России. И мы сразу делаемся ревнивы — так ли он нас увидит, будто заранее торопимся защитить *своих*. Читали мы и Герберштейна, и Дюма, и де Кюстина. Знаем, какими нас можно увидеть. Тем более, Мариуш с порога берет в эпиграфы первой книги извлечения из Жозефа де Местра. Этот добрый француз времен Александра Благословенного много наговорил России укоров, но делал это не со зла, а напротив, желая добра и добра, потому что это было уже и его Отечество, и он был советником Государя, а сына отдал в кавалергарды русской армии. Горький опыт французской революции научил его, что помалкивать — грех и потакание чужим слабостям есть только умножение своих поражений. Вильк его так и прочитал. И потому и избрал в товарищеский камертон. И сам читал Соловки, Карелию, Беломорканал, саамские земли, как вообще читают жизнь: глядел вокруг, говорил с соседями, листал газеты и книги, выслушивал одиноких людей, на кого нападал "говорун" — болезнь молчаливых, которых не остановить. Плавал и ездил, встречался с начальниками, сам исповедовался, проверял, что написали другие.

В общем, учился быть частью соловецкого и карельского пейзажа, быть "своим среди своих". Но при этом не забывать "тропы" и делать записи, как "затеси", чтобы не сбиться, чтобы видеть, как привычное и вытертое уже слово возвращается в жизнь и растворяется в ней, чтобы однажды "родиться заново", обрести плоть, открыться в первоначальной глубине и потрясти новизной. И, наконец, догадаться о том, что было давно известно, но известно уму, а не сердцу, — что каждый мир непереводим. А уж особенно русский, потому что язык — это каждый человек, и пространство, и небо, и история, а у нас как-то "чересчур" и пространства, и неба, и истории, что острее всего чувствуется именно на Севере, где жизнь еще "анонимна", растворена в обнимающей силе природы. Так что на минуту, где-нибудь в саамском крае ты перестаешь понимать: человек ли приручил оленя или олень — человека и легко понимаешь китайского императора, которому снится бабочка, которой снится, что она — император.

Писатель смотрит на эту такую простую и непостижимую жизнь и пишет ее с детской жадностью, с изумлением, видя, что в каждом встречном проступает сам — в сааме, монахе, Брате, оставившем Ки-

шинев и архитектуру, чтобы резать поклонные кресты, в местных библиотекарях и художниках, рыбаках, пьяницах, бывших охранниках. Но и в морошке, осиновой коре, олене и волке, в долгих ночах и незаходящем солнце. Особенно нового в этой прозе как будто и нет ничего, но любовь каждому слову возвращает полноту перворождения, так что мы и насквозь известное видим как молодое и новое. Цивилизация постепенно опустошает слова, выветривает их до пустой оболочки. И если у нас не получается жизнь и перестают быть слышны даже самые дорогие слова "любовь", "милосердие", "добро", "истина", "человек", то как раз поэтому. Цивилизация при внешнем удобстве постепенно населяет мир обступающей человека цветной пустотой. Слово — это не знак, это — образ жизни. В больших городах такого не почувствуешь. От этого же разрыва сло́ва и жизни мы лишаемся некогда великой литературы, теряющей плоть ради той же многословной интеллектуальной пустоты.

Мир давно чувствует это и высылает своих эмиссаров в древние крепкие земли, чтобы не потерять себя окончательно. Я люблю старого португальца Эсу де Кейроша, который бы тотчас обнялся с Мариушем Вильком. Эса в "Письмах Фрадике Мендеса" тоже предпочитал отправлять своих героев не в центры цивилизации для изучения "чудес парламентаризма и газового освещения", а "к развалинам храмов, где некогда приносили кровь жертвенных животных и пчелиный мед", чтобы посмотреть, что останется от цивилизованного европейца после пары лет "дикарского житья среди готтентотов". Не пойдут ли ему эти новые края на пользу: "Не имея к своим услугам книг и журналов, чтобы возобновить *запас готовых идей*, европеец <...> вскоре обретет умственную оригинальность. Когда он вернется в Европу, перед нами предстанет могучий и беспорочный Адам... Череп его будет очищен от всех понятий и сведений, нагромоздившихся там со времен Аристотеля, и он сможет бесстрашно приступить к *самостоятельному* рассмотрению дел человеческих"[1]. Как тут на полях не выписать из Вилька "Вне всяких сомнений, я уеду отсюда другим человеком... Раньше круг моего зрения освещало слово написанное ("запас готовых идей". — *В. К.*), а теперь я обращаю внимание и на то, что сокрыто в молчании".

Разве что Вильк не торопится расстаться с умным грузом, "накопившимся со времен Аристотеля", а берет его с собою в помощники как раз для более полного "рассмотрения дел человеческих", потому что для него, как и для героя Кейроша, важно "ощутить неразрывное единение того клочка земли, на котором стоят мои ноги, со всей остальной землей, загибающейся за линию горизонта". А это "единение"

1. Э. де Кейрош. Преступление падре Амаро. Переписка Фрадике Мендеса / Перевод Г. Лозинского и Е. Лавровой. — М.: Худож. лит., 1970, с. 488.

без Аристотеля не почувствуешь, потому что и он со всей интеллектуальной жизнью веков — тоже "земля, загибающаяся за линию горизонта".

Так что самое дорогое в книгах М. Вилька вовсе не открытие нынешних Соловков, Белого моря, доживающих лагерей и диких углов Карелии, хотя и это хороший способ заставить нас пережить позабытое чувство удивления неисчерпаемостью нашей земли, где простодушно соседствуют житейское и метафизическое, историческое и бытовое. Где и верят сегодня "одни в священные деревья, к ветвям которых привязывают красные лоскутки, другие почитают православных святых, третьи бьют поклоны всем остальным — неважно Сталину, Брежневу или Путину, была бы водка". Когда бы и впрямь и у третьих было только это: "была бы водка", — то можно было бы дальше и не читать, вспоминая родного Пушкина, который сам мог не жаловать своего Отечества, но не любил, чтобы это его чувство разделял иностранец. Но в том-то и дело, что весь контекст книг как раз славит именно простую сердечную жизнь с ее пестрой верой и сам автор не может наглядеться на всякого человека на его "тропе" — соседа, прохожего, местного чиновника. Всех, кто каждый день пересекает нашу жизнь неслышно и незаметно, как шум листвы, голос в хоре, лицо в толпе.

Он давно и навсегда понял, что "в России бывает черно, но черный цвет в России не доминирующий". Каждой страницей он возвращает нам личность не в нынешнем ее самолюбивом понимании, не в поощряемой сегодня отдельности и индивидуальности, а в отвычной бытовой простоте, в живой плоти жизни, которой была сильна наша лучшая литература.

Книги могли показаться однообразны приемом: приехал, поселился, пожил, написал. Если бы он и правда приезжал журналистом именно с целью написать, это была бы только этнография. А он подлинно *жил*, как живет человек, зная невозвратность каждого дня всем порядком человеческой жизни. И радовался каждому человеку, как спутнику по чуду этой жизни. Сколько их прошло перед нами — всяк со своим именем и судьбой, живо смешиваясь в веках: патриархи, еретики, философы, государи, писатели, пастухи, проститутки, бомжи, монахи, философы и зэки, зэки, зэки, такие повсеместные, словно это одна из распространенных "профессий". Пока вдруг не поймешь, что Вильк имеет в виду, говоря, что "в большой тени не видно твоей тени — ты ею не уничтожен, а защищен, укрыт, вы — одно!" Так начинают чувствовать в себе народ и историю как живое единство, которое учит естественности и братству, такому же естественному языку, потому что нормально живущий человек не молится с Толстым "Господи, пошли мне простоты стиля", а говорит о насущном: как едят, пьют, ходят, смеются, любят, дерутся, работают. А за этим простым порядком жизни вдруг догадываются о тайне молчания и веры, о том, почему "в Россию можно только верить".

И ты с радостью видишь, как польский писатель на этой тропе нечаянно открывает и себя, свое, оказывается, такое вместительное сердце, в котором и чужая история исподволь делается своим кровообращением и напоминанием, что все мы — дети Адамовы с одним сердцем. А там уж, естественно, открывается ему во всей непостижимой полноте и наш язык, его здоровая глубина и благословенная единственность, позволяющая миру при одном "адамовом" сердце не смешиваться, а радоваться золотому разнообразию Господнего сада. Можно скитаться по языкам вавилонской библиотеки, как скитались Борхес и Павич, волнуемые ветрами рождений и смертей мировых культур, их пряным диким смешением, их объятиями и разрывами. А можно вслушаться в такие близкие славянские языки — польский и русский — и увидеть, что и тут все трепещет непереводимыми оттенками, и русский читатель улыбнется умению нашего человека "помудитировать" по разному поводу и только вздохнет вместе с Вильком, что польскому читателю этой игрушки одной буквы в слове "помедитировать" в иронической полноте нашего смысла не передать.

Хотя по контексту книг почти невозможно поверить, что они написаны по-польски — так естественно именно русское их дыхание, которое узнаешь не по словарю даже, а по воздуху фразы, ее сердцебиению. Так оно верно угадано, сердечно услышано постоянным переводчиком Вилька Ириной Адельгейм, словно книги и рождены прямо на русском северном языке, где еще живет и крепкое языческое слово, и слово христианское, и лагерное, и слово саамов, чуди, лопарей и муромы́ (подлинно "песнь о Гайавате"!), и повседневно бедное, рожденное бытом, газетой, политикой. И писатель сам за своим предшественником, монахом, возделывающим "семантическое поле этой земли", совершенствует свой язык обиходом бедного и при этом странно неисчерапемого дня, не стыдясь ни "говорухи" ни "мяреченья", рожденных безумием северных сияний и белых ночей.

Это особенно отрадно и вместе с тем горько читать, оттого что мы теряем полноту языка, его старинную роскошь и тайну, которые и давали возможность понять Россию только в ее языковой стихии. Россия стремительно исчезает с языковой карты мира, и по-настоящему мы свое прежнее богатство уже можем увидеть только вот в таком чужом зеркале или забираясь вглубь "карты", как В. Голованов или М. Тарковский. Невольно с благодарностью думаешь об этих беспокойных людях, которые нам, обломовым, дают возможность, не вставая с постели, пережить трудности переходов, безумие штормов, близость смерти с совершенной убедительностью, не смущаясь своим покоем, потому что, оказывается, "ген кочевничества" живет во всех нас, и мы легко снимаемся с места с первой же строчкой, прощаясь со своим диванным отражением, чтобы мужественно и строго взглянуть на вошедшую во

время чтения жену или ребенка: как они смеют снижать серьезность нашего "подвига".

Как из своей "вавилонской библиотеки" улыбался за таким же чтением Борхес: "Осенью 1066 года я сражался на Стэмфордском мосту, не помню, на чьей стороне — не то Гарольда, который там и нашел свой конец, не то Харальда Хардрада, в этой битве завоевавшего себе шесть или чуть более футов английской земли". А тут к тому же не интеллектуальная даль Борхеса, А. Франса или М. Павича, тоже любивших книжные приключения, а нечто более близкое, родное, что еще можно назавтра застать в точности таким же, каким написал его Вильк. Да и послезавтра — тоже, как можно было застать вчера. И поневоле улыбнешься, увидев, что "Волчий блокнот" М. Вилька вышел в "Новом литературном обозрении" в серии "Новое европейское письмо". Улыбнешься, приняв за иронию, — так мало в этом счастливом тексте и быте именно европейского и современного. А держится все как раз бегством от этого "современного и европейского". Ну и остатками живой, разбуженной писателем памяти даже еще погордишься, что изводи не изводи язык, а он все-таки на донышке твоего сердца все жив. Так что, прочитав у Вилька:

"— Баба Клава, что значит 'махомалка'?

— Махомалкой может быть и капуста, а может — человек.

Полцарства и коня в придачу тому, кто мне объяснит, о чем речь", — я горжусь, что любой русский человек, хотя бы моего пожилого поколения, смело потребует у пана Мариуша и коня, и полцарства, потому что мы еще помним, что любое словосочетание может быть по-русски и капустой, и человеком (как у того же Борхеса всякое произвольное сочетание букв на чьем-то языке означает имя Бога). Я пишу этот текст, а рядом на столе лежит навязанный добрым человеком умный ироничный детектив о молодом Ульянове "Четвертая ветка сирени" В. Данилкина. От усталости я раскрываю его, чтобы просто "сполоснуть" усталое зрение, и прямо с нечаянно открытой страницы натыкаюсь: "...я тем временем торпыхнулся не помню с чего, так что мы едва не столкнулись, как два поезда на всех парах. Однако же кукуевки не произошло..." Тоже хоть полцарства и коня проси. Это говорит о все еще молодом народе, который живет не одним словом, а контекстом, жестом и интонацией.

Может, поэтому не раз за северную жизнь споткнувшись о разные "махомалки" и однажды поняв и легко приняв их, Вильк напишет: "в русском языке польский может узнать себя, как в зеркале. Английские же слова, в лучшем случае, воспринимаются, как макаронизмы". И у нас, и у нас как "макаронизмы"! Это ведь не общепонятные "махомалки" какие-нибудь. И слава Богу, что наши языки узнают себя как в зеркале. Разве мы не славяне?

Простите, что я, вместо того чтобы с писателем еще раз пройти Беломорканалом, потолкаться на Соловках, послу-

шать старожилов, окунуться в жесткую жизнь минувшего и не более снисходительную к человеку сегодняшнюю и все это пересказать читателю, все больше о языке и о языке. Да тут у кого что болит. Жизнь-то эту, которую пишет Вильк, мы по всей России, может, и с другими оттенками по себе знаем, а вот язык при всей внешне гуманитарной отвлеченности — на самом деле, самое болезненное и важное и есть, потому что тут весь человек и все его грядущее. Поэтому мне и показалось важнее всего поговорить как раз об этой стороне книг Вилька. Настоящая "тропа" (если еще раз вспомнить мысль Шаламова о том, что по дорогам ходят не писатели, а читатели), если она протоптана с любовью, становится для читателя дорогой, не теряя при этом красоты, поэзии и единичности тропы. И сколько бы человек ни прошло по ней, она, и без конца расширяясь, таинственно хранит свою уединенность, не нарушая житейского одиночества, с которым настоящий читатель выходит в дорогу.

Такие тропы не кончаются, потому что они и есть собственно жизнь. С этим счастливым чувством я и остаюсь ждать следующей книги Мариуша Вилька, чтобы снова удивиться и обрадоваться неисчерпаемости родной жизни.

Псков

Дмитрий Веденяпин
Далекая близость

Среди печальных бурь... Из польской поэзии XIX–XX веков / Составитель Наталья Малиновская, переводы с польского, предисловие и вступительные заметки Анатолия Гелескула; примечания Н. Малиновской. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2010. – 608 с.

Помните, в Евангелии от Матфея рассказывается о том, как Иисуса отводят на допрос к первосвященнику, а к сидящему "на дворе" – и уже дважды отрекшемуся – Петру подходят некие "стоявшие там" и говорят, что он (Петр) точно из учеников Иисуса, потому что его речь "обличает" его.

Уверен, что у всех учившихся в советских (и постсоветских) институтах и университетах был такой грустный опыт: приходишь на лекцию какого-нибудь профессора, профессор открывает рот – и сразу становится ясно (по интонации, по тому, какие отбираются и как ставятся слова, по всему), что никакой это не профессор, а так... Нередко подобное разочарование настигает тебя и на литературных вечерах. И когда ты открываешь книгу стихов. Не говоря уже о сборнике переводов стихов.

Речь *обличает*...

Так вот, с первых же строчек вступления ("От переводчика") к сборнику "Среди печальных бурь..." понимаешь, что попал в такую *речь*, которую хочется слушать. Даже если ничего не знаешь об Анатолии Гелескуле, не читал ни одного его перевода, понятия не имеешь ни о восхищенном отзыве Ахматовой, ни о премии "Мастер"...

А хочется эту речь слушать, потому что она точна, лишена "литераторской" вычурности, уважительна по отношению к читателю и к польской поэзии (а как же может быть иначе, удивится тот, кто не слишком часто читает современные предисловия, как же она может быть неуважительна? Я сам удивляюсь, но писать свысока о том, к чему "по идее" ты должен относиться с почтением, стало, увы, обычным делом), автор переводов явно превосходно ориентируется в поэзии (и в польской, и в русской), знает историю, совершенно очевидно, что у него ко всему есть свое отношение, которым он, впрочем, не собирается никого гипнотизировать. В общем, это речь *благородного* человека.

В книге представлены шестнадцать поэтов: от Адама Мицкевича до Тадеуша Новака. Каждой подборке предпослано краткое, но содержательное вступление: портрет поэта на фоне эпохи, ряд биографиче-

© Дмитрий Веденяпин, 2011

ских и литературных деталей, создающих контекст, важный для адекватного восприятия. Не хочется впадать в чрезмерную восторженность, но, по-моему, это идеальные вступления: нескучные, информативные, вызывающие доверие.

Вообще-то, публикация под одной обложкой шестнадцати поэтов в переводе одного автора, даже самого что ни на есть одаренного, — довольно рискованная затея. Слишком велика вероятность повторов и подозрительного сходства поэтических голосов. Гелескулу удается не повторяться.

Подозреваю, что одной из составляющих успеха стал отказ от антологического принципа, иначе говоря, от заданности: необходимости переводить то, что, может быть, переводить совсем не хочется. Автор переводов не объясняет, почему выбраны "именно эти стихи именно этих поэтов". Позволю себе предположить, что, несмотря на многолетний опыт (а, может быть, благодаря ему), Гелескул отнюдь не считает, что может перевести все. Как пишет он сам: "Перевод — дело любовное и потому сугубо избирательное". По-видимому, он выбирает лишь то, что не просто *хочется* перевести, а именно и только то, что *переводится*.

Упоминаю об этом потому, что к переводу слишком часто относятся как к ремеслу. Слишком часто считается, что умелому талантливому человеку по силам перевести любое стихотворение. Помню, как в юности я сам удивился, когда А. А. Штейнберг, имевший ко времени нашего с ним разговора примерно полувековой опыт перевода поэзии ("Потерянный рай" и многое другое), сказал мне, что берется за каждый новый перевод с неподдельным чувством ужаса, мол, вот сейчас люди наконец увидят, что все эти пятьдесят лет он просто водил их за нос, а на самом деле абсолютно ничего не умеет. Не знаю, испытывает ли подобный страх Гелескул, но, похоже, он из тех переводчиков, для кого сама возможность перевода стихов неочевидна. Может быть, именно поэтому-то он и переводит (помимо испанцев, конечно) поляков.

Дело в том, что польская поэзия, по-моему, — абсолютно уникальное явление. Именно в смысле открытости ее для перевода на русский. Разумеется, чтобы вышло действительно хорошо, надо быть Гелескулом, но то, что в России польской поэзии повезло (вернее, русской поэзии с ней повезло) больше многих и многих других, — совершенно точно. И Норвид, и Лесьмян, и Стафф, и Тувим, и Галчинский, и Милош, и Шимборская, не говоря уже о Мицкевиче, читаемы и почитаемы. Конечно, никто из них (за исключением Мицкевича) не столь известен и популярен как Рильке, Верлен или Лорка (кстати, русская слава последнего неотделима от переводческих стараний все того же Гелескула), но они *есть*, а это, согласитесь, уже не мало.

Вообще, польская и русская литературы представляют собой редкий пример безусловного обогащающего взаимовлияния. Не хочется выстраивать сомнительные обобще-

ния, но, и вправду, кажется, что русской поэзии (во всяком случае, какой-то чрезвычайно существенной ее части) не просто понятны, а именно родственны и особый трагизм (об этом пишет и Гелескул), и специфический романтизм (возможно, не самый удачный термин, но удачнее не могу сейчас подобрать) польских поэтов. И при этом польская поэзия абсолютно оригинальна. Получается — в русской перспективе — близкое к идеальному соотношение притягивания-отталкивания, сходства-несходства. Польские стихи — отчетливо иные, непохожие на русские и вместе с тем почти родные.

Кандинский когда-то заметил, что в любом подлинном произведении искусства присутствуют три компонента: личность художника, время и то, что больше и того, и другого (условно говоря — вечность). В переводе, по крайней мере, в переводе не сегодня написанных стихов, время, конечно, тоже чувствуется, но его роль, как мне кажется, не так существенна. В какой-то степени место времени занимает личность переводчика, но — как правило — переводное стихотворение, если можно так сказать, *неизбежно* смещается в сторону чего-то большего, чем авторское и переводческое "я" и взаимоотношения с современностью. Любое подлинное стихотворение есть победа над уходящим временем. В получившемся поэтическом переводе это чувствуется особенно ясно.

Читая "Среди печальных бурь...", я невольно задавался вопросом, почему такой несомненно одаренный русский поэт как Гелескул не пишет (не печатает?) собственных стихов. Может быть, дело именно в этом выборе свободы от времени с его многочисленными ловушками, в том числе ловушкой если не популярности, то хотя бы некоторой известности за пределами литературного сообщества, на которую, пусть иллюзорно, может надеяться поэт и, похоже, не может рассчитывать никакой переводчик... Во всяком случае, в переводческом служении Гелескула есть что-то глубоко поучительное.

Говоря о стихах, принято (и приятно) приводить примеры. Однако этот сборник получился таким разнообразным (по темам, ритмам, языку и музыкальному строю и прочему и прочему), что словно бы не позволяет себя цитировать. Не говоря уже о том, что в книге есть полнота, которую тоже не хочется нарушать вырванными цитатами. Можно было бы привести примеры *лучшего*, но, на мой взгляд, тут практически все — *лучшее*.

Спасибо составителю Наталье Малиновской и переводчику Анатолию Гелескулу. Я давно не читал таких метафизически обнадеживающих книг.

Лех Молинский

dokument.pl

Перевод Дениса Вирена

Сегодня, когда мир не проявляет интереса к польским игровым фильмам, документальное кино с берегов Вислы пользуется неизменным успехом на международных фестивалях. Призы собирают как классики (Марцель Лозинский и Мачей Дрыгас — лауреаты премии Европейской киноакадемии), так и представители следующих поколений: Мартин Кошалка (награда в Карловых Варах), Петр Стасик или Томаш Вольский (приз кинофестиваля в Лос-Анджелесе). Среди "молодых" есть не только продолжатели традиций "польской школы документалистики", но и кинематографисты, которые открыто порывают с концепцией "терпеливого глаза" и обращаются к общемировым современным тенденциям. Присмотримся к явлению "польский документальный фильм".

Старейшая документальная картина в Польше датируется 1934 годом и представляет собой хронику, демонстрирующую исторические памятники Познани. Послевоенная польская кинохроника пошла по этому же пути, показывая жителям страны происходящие в ней динамичные перемены. Лишь октябрьская "оттепель" 1956 года дала толчок формированию документалистики как художественного явления. Создатели течения, вошедшего в историю под названием "черная серия", преодолевали пропагандистскую функцию снимавшихся ранее документальных лент. Благодаря суровой операторской работе и горькому комментарию рассеивался программный оптимизм соцреалистического документального кино. Казимеж Карабаш в фильме "У черта на куличках" показывал стройку так никогда и не законченного дома культуры на окраине Варшавы, Ежи Боссак в "Варшаве-1956" противопоставлял административные здания столичным развалинам, в которых жили обыкновенные люди. Документальный фильм обращался к героям, до той поры не замечаемым.

Именно Карабаш и Боссак, воспитавшие армию молодых документалистов, считаются отцами "польской школы", поднявшей документальный фильм на уровень художественного высказывания, описывающего конкретный фраг-

© Lech Moliński, 2011
© Денис Вирен. Перевод, 2011
Редакция благодарит автора за любезно предоставленную возможность безвозмездной публикации статьи на страницах журнала.

мент действительности. Прижился также термин "школа Карабаша", поскольку Карабаш – режиссер, педагог, а также теоретик документального кино – создал целостный образ того, чем является и какими методами должен быть реализован документальный фильм. Автор "Музыкантов" ("Золотой Лев" МКФ в Венеции) отвергал инсценизацию, требовал сводить вмешательство в действительность до необходимого минимума и призывал искать героев среди обычных людей. Карабаш делал ставку на терпеливое наблюдение за действительностью; в контексте его фильмов уместно понятие "нравственность камеры". Документалист несет ответственность за то, каким образом показывает героев, и не должен своим высказыванием причинить им вред. Следы такого подхода можно найти у многих польских кинематографистов, работавших позже, в том числе у Кеслёвского, Лозинского, а также Вольского.

1960–1970-е годы – период невероятного взлета документального кино в Польше. Под крылом Карабаша и Боссака формировались упомянутые выше Кеслёвский и Лозинский, а также Марек Пивовский и Войцех Вишневский. Все они задавали тон польской документалистике, заботясь об эстетической стороне своих фильмов, но и – что наиболее существенно – без ретуши показывая Польшу с ее серыми буднями, падением уровня жизни и нарастающей апатией граждан. Документалистика являла собой хронику тех времен. Документальные фильмы постоянно шли тогда в кинотеатрах, предваряя показы полнометражных игровых картин. И в столкновении с последними часто выигрывали битву за симпатии зрителя.

Слом наступил после введения военного положения в 1981 году, когда кинопроизводство в Польше приостановилось. После смены строя в 1989-м кинематографической промышленности понадобилось несколько лет, чтобы окрепнуть в новых реалиях. Государственное производство было демонополизировано, а ареной документального кино перестали быть кинозалы, которые в 90-е годы заменило телевидение с рейтинговой передачей "Время для документа" во главе. Каждую неделю перед экранами телевизоров собиралось несколько миллионов поляков, ждавших новую порцию историй, почерпнутых из жизни. "Виновником" этой небывалой ситуации в значительной степени был Анджей Фидык, руководитель редакции документальных фильмов на телеканале TVP1. Во второй половине десятилетия – вслед за киноведом Тадеушем Любельским – начали говорить о "школе Лозинского" и "школе Фидыка" как двух доминирующих на берегах Вислы стратегиях съемки документальных фильмов.

Чуть раньше, еще в начале 90-х, польское документальное кино добилось нескольких серьезных успехов. В 1991 году удачно дебютировал М. Дрыгас, выпускник ВГИКа, открывший миру историю

Рышарда Сивеца, который в 1968-м в знак протеста совершил акт самосожжения на Стадионе Десятилетия в Варшаве. Этот жест остался незамеченным, и лишь режиссер прославил поступок Сивеца, а фильм получил "Феликса" (ныне – премия Европейской киноакадемии). Лозинский, в свою очередь, был номинирован на премию "Оскар" за "89 мм от Европы" – 12-минутную ленту, где показана символически обозначенная в названии граница цивилизации: 89 мм – разница в ширине железнодорожных путей в Западной Европе и бывшем Советском Союзе. Польская документалистика по-прежнему успешно занималась описанием окружающей действительности, что высоко ценилось во всем мире. В то же время кинематографисты рассматривали документальное кино в категориях искусства, не ограничивая его рамками публицистического или просветительского высказывания.

Говоря о "школе Лозинского", мы имеем в виду внешне скромные картины, показывающие жизнь обыкновенных людей, а не ищущие сенсаций. Документалист берет ответственность на себя, что сближает "учеников" этой школы с Карабашем – с той только разницей, что Лозинский не избегает инсценизации и даже ввел в активный обиход термин "сгущение действительности": режиссер провоцирует события, которые, если запастись терпением и не прекращать наблюдений, наверняка произойдут. Представителями направления следует назвать Яцека Блавута ("Ненормальные") и Павла Лозинского ("Такая история").

"Школе Фидыка" дал имя А. Фидык, автор памятного "Парада" (1989) – лишенной авторского комментария ленты о Северной Корее, которая вызвала полярные реакции: поляки воспринимали фильм как издевку над коммунизмом, корейцы – как восхваление режима. Любельский причислял к этому направлению фильмы, трактующие документалистику как увлекательное зрелище, которое должно эмоционально захватывать зрителя и показывать ему спектакль, сравнимый с игровой лентой. В ряды представителей этой школы автор термина включил среди прочих Эву Боженцкую ("Аризона", "Они") – портретистку провинции, направляющую камеру на тех, кому трансформация государственной системы ничего не дала, и М. Кошалку ("Существование"). Дебют Кошалки – фильм "Какого прекрасного сына я родила", вызвал, в свою очередь, дискуссию общенационального масштаба. Режиссер показал в нем свою мать нездоровым человеком, отравляющим сыну жизнь. М. Лозинский возмущался, что Кошалка поступил безнравственно. После демонстрации фильма по телевидению поляки засыпáли редакцию письмами, часто вставая на сторону матери. Режиссеру, несомненно, удалось нарушить табу, связанное в польской культуре с институтом семьи.

В эпоху популярности реалити-шоу споры вокруг дебюта Кошалки утратили актуаль-

ность. Даже критический запал Лозинского ослабел: как гласит профессиональная легенда, в 2010 году во время фестиваля документального кино в Хельсинки между режиссерами произошло символическое примирение. "Какого прекрасного сына я родила" больше не будоражит умы, однако интересен путь, пройденный автором фильма – на сегодня, наверное, самым популярным польским документалистом. По образованию Кошалка – оператор (он снимал "Реверс" Бориса Лянкоша и "Царапину" Михала Росы). "Какого прекрасного сына..." был снят на маленькую цифровую камеру и своей эстетикой напоминает home-video. Сегодня Кошалка в каждом своем фильме борется за форму, придавая качеству операторской работы огромное значение. Кажется, дальше всего он пошел в "Декларации бессмертия" – далекой от апологетики биографии альпиниста Петра Корчака, где постановочные кадры снимал Богдан Дзиворский, учитель Кошалки.

Все больше внимания эстетическому измерению стал уделять и Вольский, которого польская кинокритика называет продолжателем Карабаша и Кеслёвского. Его документальные фильмы – это вдумчивые коллективные портреты, выполненные терпеливым наблюдателем. Вольский описывает современную ему Польшу, но – в отличие от большинства коллег – использует для этого не индивидуального героя, а собирательного. Так было в "Счастливчиках", где режиссер отправился с камерой в ЗАГС, так было в его новейшем фильме "Врачи", где он создал портрет хирургов одной краковской больницы. Каждую новую работу Вольского публика встречает с интересом, а режиссер регулярно собирает награды разнообразных жюри.

Особняком стоит в современной польской документалистике уже не существующее кинообъединение "Паладино", которое создали четыре выпускника Школы кинорежиссуры Анджея Вайды: Мартин Саутер, Петр Стасик, Мачей Цуске и Тьерри Паладино. Молодые режиссеры-единомышленники вступали в профессию в неблагоприятный момент, когда телевидение начало отворачиваться от документального кино, предпочитая искусству репортажи и актуальную публицистику. По мнению членов группы, документальный фильм должен всматриваться в человека, наблюдать за его чувствами, реакциями, поведением в повседневных ситуациях. Очередные наследники Карабаша? Не совсем. Кинообъединение "Паладино" с самого начала делало ставку на разрушение иллюзий. Например, в последнем на сегодня фильме Цуске "Вдалеке от города" герои-подростки, завершив проход перед камерой, подбегают к режиссеру и кричат: "Пан Мачек, о чем нам надо было говорить?" Цуске не скрывает от зрителя, что творит действительность, что у него наблюдение не исключает вмешательства. Паладино в польско-французской ленте "La Machina" и Саутер в "На север от Калаб-

рии" идут еще дальше, размывая границу между документом и вымыслом, сея сомнение в аутентичности документального "месседжа". В значительной степени придуман чутко отзывающийся на мировые тенденции документальный фильм "Кролик по-берлински" Бартоша Конопки[1] – рассказ о кроликах, живущих на пустой полосе земли рядом с Берлинской стеной. Заглавные герои позволяют создать метафору судьбы берлинцев. Оригинальность "Кролика..." принесла ему номинацию на премию "Оскар", а позже фильм удалось продать многим телеканалам по всей Европе.

Карабашу роль документального фильма виделась иначе. Кеслёвский также ставил на первое место описание действительности и никогда не забывал о гражданской ответственности документалиста. То же можно сказать и о М. Лозинском, хотя он без колебаний обращается к инсценизации и словно "подправляет" реальность. В документальных фильмах представителей младших поколений видно как уважение к традиции, так и собственный подход к кино. По-прежнему сильна убежденность в том, что документальный фильм – самостоятельное художественное высказывание, в котором следует избегать публицистики. Хотя общественное телевидение перестало производить и представлять документальное кино, у него появился новый плацдарм – пользующиеся все большей популярностью кинофестивали. Польские документалисты умеют заинтересовать рассказом о своей стране международную публику (этого умения говорить универсальным киноязыком попрежнему не хватает современным игровикам). Радостно, что документальное кино в течение многих лет неизменно является яркой визитной карточкой польской кинематографии, а с такими режиссерами, как Томаш Вольский или Мартин Кошалка, Польша может не беспокоиться о будущем искусства документалистики.

1. См. "ИЛ", 2009, № 10.

Полина Козеренко
Литература в свете лампы

Если в России речь заходит о литературных журналах, сразу вспоминаются толстые книжки "Нового мира", "Знамени", "Звезды", почти полные подборки которых украшают полки в квартирах большинства интеллигентных семей. В Польше, конечно, тоже есть подобные издания, например, "Твурчость", "Одра" или "Зешиты литерацке" – журнал, печатающий на своих страницах как новейшую польскую литературу, так и переводы; специальное место в нем занимают произведения, написанные за пределами Польши – в основном послевоенными эмигрантами.

В этой заметке речь пойдет о литературном журнале совершенно иного типа, уходящем корнями в оппозиционный андеграунд 1980-х. Такие издания, так называемые "фэн-зин" или "арт-зин" (от англ. art magazine), как правило, небольшого объема, обычно составлялись группой энтузиастов, зачастую одноклассниками или студентами, выходили "тиражом" в несколько экземпляров, размноженных на ксероксе и передававшихся из рук в руки по знакомым. Ключевая и самая яркая фигура этого движения – литератор и издатель Павел Дунин-Вонсович, получивший широкую известность после блестящего успеха опубликованного им романа Дороты Масловской "Польско-русская война под бело-красным флагом"[1]. Важнейшее его детище – ежемесячник "Лампа", своим названием обязанный Константы Ильдефонсу Галчинскому. Вот как описывает рождение журнала сам главный редактор: "В 1991–2002 годах я издавал нерегулярный литературный журнал 'Лампа и искра божья'. Это было продолжение существовавшего с 1989 года арт-зина 'Искра божья', к названию которого я прибавил наименование упоминаемого К. И. Галчинским в его фельетонах 'Письма с фиалкой' выдуманного ежемесячника 'Лампа'. 'Божью искру' я оставил для издательства".

Идея вымышленных реалий и фантасмагорических представлений была, видимо, всегда близка Павлу Дунину-Вонсовичу: в 1997 году он пишет книгу с длинным названием "Призрачная библиотека, то есть выдуманные книги, или Записки о книгах, которых никогда не было, но кто-то о них написал", представляющую собой своеобразный каталог изданий, существующих исключительно в воображении авторов и на

© Полина Козеренко, 2011

1. См. ИЛ, 2005, № 2.

страницах их произведений. В 2010-м публикует "Фантастическую Варшаву" (фрагменты этих текстов печатались в "Лампе") — путеводитель по альтернативному городу, выдуманному писателями-фантастами XX века, где представлены различные варианты развития или упадка Варшавы будущего (это будущее, описанное в фантастической литературе начала и середины прошлого столетия, часто совпадает с нашим настоящим, что не может не заинтриговать сегодняшнего читателя).

История "Лампы" начинается в конце 80-х, когда в Польше мало кого из молодежи всерьез интересовала литература. Блокноту с авторучкой, эффектно повязанному шарфу и томному задумчивому взгляду "молодые и злые" предпочитали гитары, кожаные куртки и ирокезы, а если и брались за перо, то в результате получались тексты рок-песен, а вовсе не романы. Но тогда же старшеклассники Павел Дунин-Вонсович, Кшиштоф Шклярчик и Анджей Стефан Родыс сделали ставку на литературу, образовав редакцию самиздатовского журнала "Искра божья". В получившемся арт-зине преобладали гротескные рассказы, поскольку абсурд и гротеск казались молодым людям лучшими средствами изображения сюра тогдашней жизни в ПНР. Несмотря на многочисленные более или менее эпатажные попытки привлечь читателей и литераторов к активному участию в жизни журнала, писать в нем продолжала лишь небольшая горстка энтузиастов.

В 1991 году появилась возможность выплыть на более широкие просторы читательского океана: Павел Дунин-Вонсович оканчивает факультет журналистики Варшавского университета, начинает сотрудничать с варшавскими газетами и, по словам журналистки Анеты Кизёл, "может позволить себе купить компьютер, благодаря чему его арт-зин вошел в историю как первый самиздатовский журнал, сверстанный на компьютере". С этого времени журнал обретает название "Лампа и искра божья" и формирует свой круг авторов — писателей и, что интересно, художников и музыкантов, многие из которых сотрудничают с Дуниным-Вонсовичем по сей день: писательницы Дорота Масловская и Агнешка Дроткевич, поэт, прозаик и художник Казимеж Малиновский, писатель Марек Сеправский, такие культовые персонажи польского музыкального мира, как лидер и автор текстов группы "T. Love" Мунек Стащик, а также музыкант и автор текстов Кшиштоф Грабовский (Грабаж).

С 1993 года Павел Дунин-Вонсович начинает вести двойную жизнь — официально регистрирует издательство "Лампа и искра божья", а в апреле 2004-го выпускает первый номер "Лампы" в ее настоящем виде.

В чем же специфика "Лампы"? От российских литературных журналов ее прежде всего отличает внешний вид и интердисциплинарность. Обложки для всех без исключения номеров создает польская художница-комиксистка Агата "Эндо" Новицкая. И это не-

спроса: журнал целенаправленно пропагандирует комикс как полноправный литературно-художественный жанр. Продолжительное время на обложке даже фигурировал подзаголовок "Литература. Музыка. Комикс", замененный впоследствии более обобщенным вариантом "Литература. Музыка. Искусство". Авторы "Лампы" встали в авангарде творческих деятелей, пытающихся обратить внимание читающей и думающей публики на жанр комикса, изменить стереотипное его восприятие как переложение сложных художественных произведений в варианте "лайт" (то есть в картинках) для тех, кто не в состоянии прочитать больше трех страниц. На вопрос, почему в "Лампе" можно рядом найти серьезные стихи и "несерьезные" комикс и фантастику, главный редактор отвечал так: "Искусство может быть хорошим или плохим, это не зависит от жанра. Традиционная литература бывает ужасной, а комикс — превосходным". С самого первого выпуска "Лампу" открывает цикл рисованных философско-экзистенциальных историй авторства Мачея Сенчика. В одном из номеров даже появляется термин "экзистенциальный комикс". Такой "микс" жанров, стилей и направлений подчеркивается даже местонахождением редакции "Лампы" — до конца 2010 года она располагалась в частной альтернативной варшавской галерее "Растер", с владельцами которой Дунина-Вонсовича объединяют дружественно-симбиотические отношения: помещения галереи часто становились местом совместных музыкально-художественно-литературных инициатив.

"Лампа" — во многом площадка для дебютантов молодого поколения, которые нередко становятся впоследствии популярными действующими лицами медийного и литературного пространства. В период наиболее бурного расцвета журнала молодыми авторами, определяющими его облик, были стремительно ворвавшаяся в литературное пространство Дорота Масловская (именно ей "Лампа" обязана своим перерождением — на деньги, полученные за издание "Польско-русской войны...", Павел Дунин-Вонсович смог вывести журнал из положения нишевого и поставить на полки крупнейших книжных магазинов) и ее однокурсники Агнешка Дроткевич и Мирослав Нахач, многообещающую писательскую карьеру которого оборвало самоубийство в 2007 году.

Более традиционная составляющая журнала — интервью с известными деятелями искусства. Для "Лампы" тайники своей души и секреты ремесла раскрывали такие личности, как Станислав Лем, Анджей Вайда, Ольга Токарчук, Ежи Пильх, Мартин Светлицкий, Анджей Стасюк, Войцех Кучок, Павел Хюлле, Юрий Андрухович, Захар Прилепин и многие другие. Станислав Лем даже посвятил журналу один из своих фельетонов — "Vita brevis" — в котором, в частности, отмечал: "Читая журнал, чувствуешь особую ауру поколения. 'Лампа' дает представление о мире, в ко-

торый подобные мне старики не имеют ежедневного доступа". В 2007 году самые интересные и важные интервью были изданы в виде книги "Разговоры под лампой".

Нередко на страницах журнала появляются своеобразные "путевые заметки": описание путешествий писателей и музыкантов по разным странам (очерки Дороты Масловской об Израиле и Греции, впечатления от общения с современными российскими поэтами и писателями Казимежа Малиновского и Павла Голобурды).

"Лампа" направляет свои лучи в малоизведанные — если говорить о литературе — уголки Европы: в Украину, Румынию, Португалию. Итогом этого стал, например, специальный номер, целиком посвященный новейшей португальской литературе.

Еще одно увлечение редактора и авторов "Лампы" — музыка. Но не просто красивая запоминающаяся мелодия — главным и определяющим всегда является слово. В частности, в нескольких номерах печатались тексты песен рок- и рэп-исполнителей. В одном из выпусков были даже опубликованы фрагменты дипломной работы студентки-полонистки, изучавшей литературные особенности текстов песен лидера групп "Pidżama Porno" и "Strachy na Lachy" Грабажа (в 2008 году "Лампа и искра божья" издала отдельный сборник его песен-стихов). Кроме того, зачастую к журналу прилагается диск ("Радио Лампа") с композициями тех групп и исполнителей, чьи тексты печатаются и обсуждаются на журнальных страницах.

Обширный раздел занимают рецензии на книги, альбомы комиксов и музыкальные диски различных направлений. Причем основной задачей рецензентов является быстрота реакции и изложение понятным языком: "<...> в Польше выходит несколько сотен культурных журналов. Значительную их часть составляют университетские квартальники и ежемесячники, в которых преподаватели пишут для аспирантов. <...> Они, конечно, необходимы, но их количество непропорционально велико по отношению к изданиям, адресованным людям, которые не занимаются литературой профессионально, а просто любят почитать на досуге. Подобные академические журналы — даже ежемесячники, уделяющие много внимания новейшим произведениям, — печатают рецензии самое раннее через полгода после издания книги. Мы будем стараться быть более актуальными", — заявлял главный редактор "Лампы".

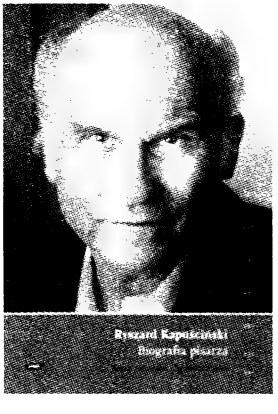
Конечно, и журнал "Лампа", и издательство "Лампа и искра божья" можно упрекнуть в том, что они по большей части держатся на энтузиазме их главного редактора и основателя, являясь в каком-то смысле его личной трибуной. "Без преувеличения можно сказать, что 'Лампа' — индивидуальный, визионерский проект одного человека, действующего самостоятельно и под собственную ответственность, с самого начала своего издатель-

ского (и частично писательского) пути последовательно реализующего выбранные им художественные цели", — так видит роль Дунина-Вонсовича автор статьи "Издательская мания, или О феномене 'Лампы и искры божьей'" Магдалена Лахман. Одновременно она замечает: "Парадоксально: владелец 'Лампы и искры божьей' при всем своем менеджерском энтузиазме демонстрирует не инструментальный, а идеалистический подход к литературе, не столько заботясь о популярности собственной персоны, сколько стремясь всеми доступными способами пропагандировать своих литературных фаворитов". Сам же редактор исходит из положения, что лучше культуру создавать, чем потреблять, и так описывает свою издательскую манию: "Чем больше мне нравится какая-то книга или диск, тем больше хочется, чтобы они нравились другим, поэтому я их кому-нибудь одалживаю, а потом они начинают кому-то так сильно нравиться, что ко мне уже не возвращаются. Единственный выход — издавать любимые книги самому". Энтузиазм Павла Дунина-Вонсовича и его достижения на издательском поприще не остались незамеченными — в 2005 году он получил премию "Паспорт 'Политики'" в категории "Креатор культуры". Таким образом, начав с тиражирования ксерокопий любительского молодежного арт-зина, он со временем вышел на профессиональный уровень, сохранив при этом творческую свободу. Без сомнения, сегодняшняя "Лампа" выросла из тенденций, сформированных в альтернативной писательской среде, которую Дунин-Вонсович решил поднять до уровня силы, наравне с другими факторами создающей новейшее литературное пространство. Его цель — превратить социологическое явление (движение арт-зинов, частные авторские инициативы и творчество, которое в целом можно охарактеризовать как "hand-made") в явление литературное; из явления полностью частного и неформального сделать публичное (при поддержке государственных институций); из проектов, не выходящих за рамки дружеских посиделок, — проекты масштабные; из маргинальных и альтернативных хэппенингов — мейнстримовый журнал. Одна из насущных задач культуры — найти общий язык с ее потребителями. И, как нам кажется, за 20 лет своего существования "Лампе" это вполне удалось.

Информация к размышлению
Non-fiction

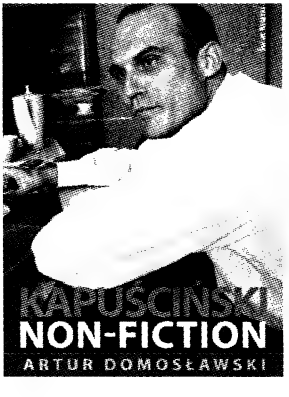
с Алексеем Михеевым

После кончины в начале 2007 года Рышарда Капущинского (см. о нем выпуск этой рубрики в мартовском номере "ИЛ" 2009 года) в Польше практически сразу стали появляться посвященные ему книги: беседы, интервью, тематические компиляции его текстов, сборники статей его иностранных переводчиков. Долго не заставили себя ждать и фундаментальные издания: уже в 2008 году краковское издательство "Знак" выпустило в свет 400-страничную книгу **Беаты Новицкой** и **Зигмунта Зёнтека** под названием *Рышард Капущинский. Биография писателя.* Авторы подробно описывают судьбу героя: детство в провинциальном Пинске (где в 1939-м семилетним ребенком он пережил начало советской оккупации, после чего его семья перешла на "немецкую" сторону и провела военные годы в небольшом городке под Варшавой), учебу в Варшавском университете и первые громкие газетные репортажи уже в период "оттепели" (прежде всего откровенный рассказ о действительной, неприглядной жизни на якобы образцовой социалистической стройке металлургического комбината в Новой Гуте), начало карьеры корреспондента-международника в Китае и Индии и ее логическое продолжение и развитие практически на всем пространстве Третьего мира (в 60-е — в обретающих независимость странах Африки, а в 70-е — в постоянно нестабильной Центральной и Латинской Америке), возвращение на родину тогда и именно туда, где и когда зарождается польская революция (то есть в Гданьск 1980-го), международный успех его книг о падении имперских и тоталитарных режимов (Эфиопия 1974—1975, Иран 1979—1980, СССР 1989—1991) и — на пике популярности — вполне обоснованные предположения о возможном присуждении ему Нобелевской премии по литературе. И хотя в книге не оставлены без внимания и некоторые скандальные моменты (например, обнародованные в ходе всеобъемлющей люстрационной кампании материалы о сотрудничестве Капущинского с органами внешней разведки ПНР), авторы упоминают о них скорее в полемическом плане (так, упомянутое со-



трудничество — для корреспондента такого ранга в те времена практически неизбежное — в случае Капущинского было скорее формальным); в целом же перед нами классическое жизнеописание формата ЖЗЛ, своего рода бытийная агиография.

А уже через два года, в 2010-м, разразился настоящий скандал: в варшавском издательстве "Мир книги" вышел подготовленный **Артуром Домославским** 600-страничный вариант биографии писателя — *Капущинский non-fiction*. В самом названии этой книги можно увидеть провокационную игру слов: с одной стороны, сам Капущинский стал современным классиком именно в жанре литературы non-fiction, с другой же — название однозначно прочитывается как "Невымышленный Капущинский": то есть очевидно подразумевается, что предыдущая его биография была в какой-то степени "приукрашенной". Конфликтная ситуация возникла уже на стадии подготовки книги к печати, когда с протестом против издания выступила вдова писателя Алиция. И по сей день многие защитники Капущинского рекомендуют по меньшей мере не обращать внимания на книгу, а уж тем более не читать ее (при этом на ее обложке помещены хвалебные отзывы таких писательских авторитетов, как Зигмунт Бауман и Анджей Стасюк).



В книге Домославского действительно можно найти более подробное описание некоторых периодов жизни Капущинского, о которых Новицкая и Зёнтек предпочли умолчать — например, из их биографии можно сделать вывод, что публиковаться он начал только с началом оттепели, в то время как Домославский показывает, что произошло это еще в конце 40-х, и цитирует оптимистические репортажи (и соцреалистические стихи) юного Капущинского о строительстве той же Новой Гуты. Однако суть спора лежит в несколько иной плоскости, нежели замалчивание или обнародование тех или других фактов биографии; речь идет скорее о том, что в своих репортажах Капущинский активно пользовался таким, например, приемом, как фабулизация — не столько в том смысле, что реальные факты и события он дополнял придуманными деталями, сколько в том, что свое внутреннее (субъективное) переживание реальных событий трактовал как их объективную регистрацию (например, когда вооруженный патруль останавливает в африканской "горячей точке" автомобиль журналистов, эта ситуация может быть описана как "мы чудом избежали расстрела").

Капущинский стал общепризнанным и несомненным авторитетом в том, что касается исследования механизмов государственной власти, — и его репортажно-аналитические работы о странах Третьего мира, бесспорно, имеют универсальный характер, позволяя увидеть — как в своего рода зеркале — и аналогичные европей-

ские механизмы (не случайно почти все поляки усматривали в книгах об Эфиопии и Иране прежде всего очевидные намеки на Польшу времен Герека). Безусловная ценность творческого наследия Капущинского и в том, что благодаря его непосредственным наблюдениям читатель получил возможность расширить горизонты не только видения иных культур, но и мышления о них. Благодаря Капущинскому мы погружаемся в недоступную нам (и в пространстве, и во времени) атмосферу экзотического мира "в его минуты роковые" и вместе с ним переживаем и осмысляем то, что́ и как происходит в эти минуты.

Однако, с другой стороны, мы — если поставить себе такую задачу — вряд ли сможем отличить, где в подобных переживаниях проходит граница между реальностью и литературой, между fiction и non-fiction. А ведь границ здесь несколько. Первая — между реальностью и ее субъективным переживанием (вооруженный человек на дороге — защита или угроза?). Вторая — между переживанием и описанием (сам перевод реального события в письменный текст — это операция, неизбежно трансформирующая его в иную бытийную плоскость). И, наконец, третья — между чтением и осмыслением (когда текст автора проецируется на уникальный внутренний фон читателя). Что остается в итоге от исходной "реальности" — вопрос скорее философский.

Применительно к книгам Капущинского часто спрашивают: на какую полку их правильнее ставить — fiction или non-fiction? Самым адекватным признан ответ "на полку *Капущинский*". И там же могут найти себе место обе — взаимодополняющие — его биографии.

P. S. Один из возможных примеров, иллюстрирующих проблему соотношения реальности и ее интерпретации, пришел мне на ум при чтении недавно вышедшей по-русски книги **Рышарда Капущинского** о советской перестройке *Империя* (М.: Издательство "Логос", 2010. Перевод с польского **Ксении Старосельской** и **Сергея Ларина**. — 320 с.). Представьте себе самолет, в котором большинство пассажиров (местные жители) серьезно молчат, а группа раскованных иностранцев ведет оживленную беседу. Описывая эту ситуацию (в СССР конца 80-х), Капущинский видит в ней столкновение вековой апатичной пассивности (усугубленной страхами сталинской эпохи) русского народа со свободным духом цивилизованного Запада. А теперь слегка сдвиньте эту же картинку во времени и пространстве — в Европу середины 90-х — и вы наверняка увидите не что иное, как столкновение строго соблюдающего нормы публичного поведения цивилизованного Запада с несдерживаемым хамством "новых русских". Вот вам и объективный non-fiction.

Польская литература на страницах "ИЛ" 2006–2011[1]

2006

Бжозовский Збигнев — *Волшебные истории.* Перевод К. Старосельской [1]

Встреча переводчиков. Беседа с переводчиками романа Д. Масловской "Польско-русская война под бело-красным флагом" на русский, французский и немецкий языки [2]

Ват Александр — *Мой век. Устные мемуары.* Фрагменты книги. Предисловие Чеслава Милоша. Перевод Н. Каменевой [5]

Шимборская Вислава — *Двоеточие.* Книга стихов. Перевод и вступление А. Эппеля [6]

Адельгейм Ирина — *Вчера, сегодня, завтра* [8]

Андерман Януш — *Фотографии.* Фрагменты книги. Перевод К. Старосельской [8]

Бауман Зигмунт — *Пять прогнозов и множество оговорок.* Перевод С. Макарцева [8]

Гловацкий Януш — *Из головы.* Фрагменты книги. Перевод И. Подчищаевой [8]

Дукай Яцек — *От составителя.* Перевод Ольги Чеховой [8]

Ермонский А. — *Магические свойства печатного слова. О журнале "Новая Польша", но и не только...* [8]

Залеский Марек — *Польская литература – какая она сегодня?* Перевод Вадима Волобуева [8]

Крушинский Збигнев — *Рассказы.* Перевод Ю. Чайникова [8]

Кучок Войцех — *Телячьи нежности.* Рассказ. Перевод Ю. Чайникова [8]

Лем Станислав — *Белый орел на фоне всеобщей нервозности.* Перевод И. Подчищаевой [8]

Либера Антоний — *Два эссе.* Перевод Светланы Леоновой [8]

Пёнтек Томаш — *Сопляки.* Рассказ. Перевод И. Подчищаевой [8]

Писатели о переводчиках. Перевод М. Габачовой [8]

Польское кино сегодня. С Тадеушем Соболевским, кинообозревателем "Газеты выборчей", и Агнешкой Одорович, директором Польского института киноискусства беседует Игорь Потапов. Перевод Игоря Потапова [8]

1. Предыдущий номер, посвященный польской литературе, вышел в августе 2006 г.

Рахаева Юлия — *Польский пазл.* Серия "Современное европейское письмо. Польша" издательства "Новое литературное обозрение" [8]

Рудницкий Януш — *Рассказы.* Перевод Е. Барзовой и Г. Мурадян [8]

Ружевич Тадеуш — *Телетрендели.* Сценарий для общественного и частного телевидения. Перевод К. Старосельской [8]

Светлицкий Мартин — *Стихи.* Перевод Дмитрия Веденяпина [8]

Свидерский Бартек — *Лебединая песня министра настроения.* Рассказ. Перевод Марины Курганской [8]

Ткачишин-Дыцкий Эугениуш — *Стихи.* Перевод Бориса Дубина [8]

Токарчук Ольга — *Последние истории.* Роман. Перевод Ирины Адельгейм [8]

Шубер Януш — *Стихи.* Перевод Бориса Дубина [8]

Ментцель Збигнев — *Все языки мира.* Повесть. Перевод К. Старосельской [10]

2007

Либерт Ежи — *Из трех книг.* Перевод и вступление Бориса Дубина [1]

Ковалевский Влодзимеж — *Дом Денглера.* Рассказ. Перевод Ольги Катречко [5]

Стасюк Анджей — *Ночь.* Пьеса. Перевод Марины Курганской.

Славянско-германский трагифарс. Беседа Марцелы Богацкой-Вундлих с Анджеем Стасюком. Перевод Марины Курганской [9]

Тувим Юлиан — *Любовь в дожде нараспашку.* Стихи и афоризмы. Перевод и вступление Анатолия Гелескула [11]

Ковалевский Влодзимеж — *Авторский вечер.* Рассказ. Перевод О. Катречко и М. Габачевой [12]

Щепанский Ян Юзеф — *Майя.* Очерк. Перевод П. Козеренко [12]

2008

Щепанский Ян Юзеф — *Ланч в Гарварде.* Рассказ. Перевод К. Старосельской [3]

Мрожек Славомир — *Валтасар.* Автобиография. Фрагменты. Перевод Вадима Климовского [6]

Не вижу оснований оскорблять человека. Со Славомиром Мрожеком беседует Ежи Кёниг. Перевод К. Старосельской [6]

Человек глазами Славомира Мрожека. Карикатуры [6]

Любельский Тадеуш — *Смерть отца.* Перевод М. Алексеевой [7]

Масловская Дорота — *Двое бедных румын, говорящих по-польски.* Пьеса. Перевод и послесловие Ирины Лаппо [7]

Пресс-конференция Анджея Вайды в Польском культурном центре [7]

Боровский Тадеуш — *Стихи.* Перевод и вступление Анатолия Гелескула [9]

2009

Дудко Божена — *"Не делать однозначных выводов".* Перевод К. Старосельской [1]

Осталовская Лидия — *Тут пока еще Польша...* Перевод Ирины Лаппо [1]

Стасюк Анджей	*Дойчланд.* Фрагменты книги. Перевод Ирины Адельгейм [1]
Щигел Мариуш	*Готтланд.* Главы из книги. Перевод Полины Козеренко [1]
Пильх Ежи	*Рассказы.* Перевод К. Старосельской [2]
Новак Тадеуш	*Стихи.* Перевод и вступление Анатолия Гелескула [4]
Лободзинский Войцех	*Моя война.* Из воспоминаний. Перевод С. Тонконоговой [5]
Климко-Добжанецкий Хуберт	*Колыбельная для висельника.* Фрагмент книги. Перевод и вступление Ирины Адельгейм [7]
Шимборская Вислава	*Литературная почта, или Как стать/не стать писателем.* Фрагменты книги. Перевод К. Старосельской [7]
	Глазами кролика. Подготовка материала и перевод К. Старосельской [10]

2010

Шимборская Вислава	*Здесь.* Книга стихов. Перевод Асара Эппеля [1]
Барт Анджей	*Фабрика мухоловок.* Фрагменты романа. Перевод и вступление К. Старосельской [5]
Орлось Казимеж	*Рассказы.* Перевод Ирины Адельгейм [5]
Токарчук Ольга	*Бегуны.* Фрагменты книги. Перевод Ирины Адельгейм [6]
Хаупт Зигмунт	*Рассказы.* Перевод и вступление К. Старосельской [8]

2011

Шейнерт Малгожата	*Остров ключ.* Фрагменты книги. Перевод К. Старосельской [1]
Ружевич Тадеуш	*Наш старший брат.* Фрагменты книги. Перевод и вступление К. Старосельской [5]
Грудзинская-Гросс Ирена	*Россия и Америка – две империи.* Глава из книги "Милош и Бродский: магнитное поле". Перевод Мадины Алексеевой [7]
Милош Чеслав	*Поздняя зрелость.* Стихотворение. Перевод Сергея Морейко [7]

Тадеуш Слободзянек
Tadeusz Słobodzianek
[р. 1955]. Драматург, режиссер, театральный критик. Лауреат польской литературной премии *Ника* [2010], а также многих театральных наград.

Автор пьес *Царь Николай* [*Car Mikołaj*, 1985], *Пророк Илия* [*Prorok Ilja*, 1992], *Мерлин. Другая история* [*Merlin. Inna historia*, 1992], *Сон клона* [*Sen pluskwy*, 2001] и др.
Пьеса публикуется по изданию *Nasza klasa* [Gdańsk: słowo / obraz terytoria, 2009].

Виктория Валентиновна Мочалова
Кандидат филологических наук, заведующая Центром славяно-иудаистических исследований Института славяноведения РАН.

В *ИЛ* опубликована ее статья, посвященная современному искусству Израиля [1996, № 2].

Петр Черский
Piotr Czerski
[р. 1981]. Прозаик, поэт, инженер. Лауреат награды *Лавр красной розы* Общепольского поэтического конкурса [2000].

Автор поэтического сборника *скорые, пассажирские* [*pospieszne, osobowe*, 2002], многих публикаций в польских и зарубежных журналах.
Текст публикуется по изданию *Ojciec odchodzi* [Kraków: Korporacja Ha!art, 2006].

Малгожата Шейнерт
Małgorzata Szejnert
Польский журналист, писатель. Одна из основателей *Газеты выборчей*, 15 лет руководила отделом репортажа.

Автор нескольких сборников репортажей и документального романа *Черный сад* [*Czarny ogród*, 2007], отмеченного литературными премиями.
Статья написана специально для этого номера.

Войцех Тохман
Wojciech Tochman
[р. 1969]. Репортер, автор документальных книг, один из основателей Института репортажа и Польской школы репортажа [2009]. Лауреат многих наград, финалист премии *Ника* [2001].

Автор книг *Лестниц не жгут* [*Schodów się nie pali*, 2001], *Ты будто камни грызла...* [*Jakbyś kamień jadła*, 2002], *Сегодня мы нарисуем смерть* [*Dzisiaj narysujemy smierć*, 2010] и др.
Публикуемый текст печатается по изданию *Wściekły pies* [Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2007].

Витольд Шабловский
Witold Szabłowski
[р. 1980]. Журналист, репортер, лауреат нескольких журналистских наград, в том числе награды имени Мельхиора Ваньковича [2008].

Публикуемый текст печатается по изданию *Zabojca z miasta moreli* [Wołowec: Wydawnictwo Czarne, 2010].

Влодзимеж Новак
Włodzimierz Nowak
[р. 1958]. Журналист. Лауреат многих польских и зарубежных наград, финалист премии *Ника* [2008].

Автор книг *Окружность головы* [*Obwód głowy*, 2007], *Сердце народа около остановки* [*Serce narodu koło przystanku*, 2009].
Текст публикуется по изданию *Obwód głowy* [Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2007].

Яцек Антчак
Jacek Antczak
[р. 1969]. Репортер, лауреат более десятка наград, в том числе — Союза польских журналистов.

Автор книг *В Радванице лучше всего расходятся любовные романы* [*W Radwanicach najlepiej idą romanse*, 2004], *Репортер. Беседы с Ханной Кралль* [*Reporterka. Rozmowy z Hanną Krall*, 2007], *Вроцлавяне* [*Wrocławianie (współautor Anna Fluder)*, 2008].
Репортаж Nadzieja w gruzach World Trade Center взят из антологии *Двадцать лет новой Польши в репортажах по Мариушу Щигелу* [*20 lat nowej Polski w reportażach według Mariusza Szczygła*. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2009].

Славомир Петелицкий
Sławomir Petelicki
[р. 1946]. Бригадный генерал Войска Польского, офицер разведки, организатор и командир армейского спецподразделения ГРОМ. Награжден многими отечественными и зарубежными орденами и медалями.

Текст публикуется по изданию *GROM. Siła i honor. Z generałem Sławomirem Petelickim rozmawia Michał Komar* [Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2010].

Михал Комар
Michał Komar
[р. 1946]. Сценарист, кинокритик, драматург, публицист.

Автор книг интервью с Владиславом Бартошевским [в 2 тт., 2006, 2008], Стефаном Меллером [в 2 тт., 2008], Кшиштофом Козловским [2009], а также *Повседневный бестиарий* [*Bestiariusz codzienny*, 2003], *Посвящение в тайны* [*Wtajemniczenia*, 2009] и др.
Текст публикуется по изданию *GROM. Siła i honor. Z generałem Sławomirem Petelickim rozmawia Michał Komar* [Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2010].

Марек Радзивон
Marek Radziwon
[р. 1970]. Театральный критик, переводчик, публицист. Секретарь Фонда премии *Нике*, в настоящее время директор Польского культурного центра в Москве.

Текст публикуется по изданию *Iwaszkiewicz. Pisarz po katastrofie.* [Warszawa: WAB, 2010].

Адам Поморский
Adam Pomorski
[р. 1956]. Переводчик с русского, немецкого, английского, белорусского и украинского языков, эссеист, литературный критик. Лауреат многих польских наград, в том числе польского ПЕН-клуба. С 2010 г. председатель польского ПЕН-клуба.

В числе его переводов *Фауст* И. В. Гёте [1999], *Братья Карамазовы* [2004] и *Бесы* [2010] Ф. Достоевского, *Мы* Е. Замятина [1989], избранные произведения В. Хлебникова [2 т., 2005], А. Ахматовой [2007], стихи Р. М. Рильке, У. Блейка, Т. С. Элиота и др.
Текст публикуется по изданию *Osip Mandelsztam. Nieograbiony i nierozgromiony. Wiersze i szkice* [Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Literackie Open, 2011].

Валентин Яковлевич Курбатов
[р. 1939]. Литературный критик. Член Академии современной русской словесности. Лауреат премий имени Толстого [1998], имени Горького [2008] и др. Живет в Пскове.

Автор двух десятков книг, посвященных русской классике, в том числе *Михаил Пришвин: Очерк творчества* [1986], *Евгений Широков: Портрет на фоне портрета* [1987], *Домовой. Семен Степанович Гейченко: письма и рассказы* [1996], *Долги наши. Валентин Распутин: чтение сквозь годы* [2007].

Дмитрий Юрьевич Веденяпин
[р. 1959]. Поэт, прозаик и переводчик поэзии и прозы.

Автор книг стихов *Покров* [1993], *Трава и дым* [2002], *Что значит луч* [2010], а также книги стихов и прозы *Между шкафом и небом* [2009]. В его переводах публиковались стихи англоязычных, немецких, французских, фламандских поэтов, а также сборники рассказов И. Б. Зингера *Последняя любовь* [1999], *Страсти* [2001] и *Каббалист с Восточного Бродвея* [2003]. В *ИЛ* напечатаны его переводы романов М. Каннингема *Дом на краю света* [1997, № 8–9] и *Часы* [2000, № 9], Б. Чатвина *Утц* [2005, № 4], рассказы И. Б. Зингера [2003, № 5], А. Миллера [2005, № 10], стихи Ч. Симика [2003, № 1], В. Шимборской [2003, № 5], А. Дагена [2004, № 4], М. Светлицкого [2006, № 8], Т. Кинселлы [2007, № 6], Ю. Комуняки и Л. Эмануэль [2007, № 9], статья *Еврейский-писатель-Зингер* [2009, № 6], эссе *...И совсем не вернется, или Он вернется совсем другой...* [2010, № 12] и др.

Лех Молинский
Lech Moliński
[р. 1985]. Кинокритик, организатор культурных событий. Один из создателей Академии документального фильма *MovieWro* [Вроцлав], лектор в рамках образовательных проектов Киноакадемия *Multikino* и *Новые горизонты кинообразования*. Сотрудничал с популярным порталом *Stopklatka*, был главным редактором портала *G-punkt.pl*, посвященного различным аспектам культуры.

Статья написана специально для этого номера.

Полина Сергеевна Козеренко
Переводчик с польского. Аспирант филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

В ее переводе изданы книга М. Щигела *Готтленд*, рассказы В. Береся, Я. Мельхиора, Я. Л. Вишневского. В *ИЛ* в ее переводе опубликован очерк Я. Ю. Щепанского *Майя* [2007, № 12], главы из книги М. Щигела *Готтленд* [2009, № 1].

Алексей Васильевич Михеев
[р. 1953]. Кандидат филологических наук. Лауреат премий *Человек книги* [2004], имени А. М. Зверева [2010], журнала *Октябрь* [2010].

В его переводе с польского напечатаны пьеса С. Мрожека *Портной* [*Суфлер*, 1995, № 4] и повесть Г. Херлинга-Грудзинского *Белая ночь любви* [*ИЛ*, 2000, № 8]. В *ИЛ* также неоднократно публиковались его статьи. Постоянный ведущий рубрики *Информация к размышлению*.

Переводчики

Ирина Евгеньевна Адельгейм
Литературовед, переводчик с польского, доктор филологических наук.

Автор книг *Польская проза межвоенного двадцатилетия: между Западом и Россией. Феномен психологического языка* [2000], *Поэтика "промежутка": молодая польская проза после 1989 года* [2005], а также статей по польской литературе. В ее переводе издавались произведения Г. Херлинга-Грудзинского, К. Янды, Ф. Байона, М. Гретковской, К. Грохоли, Т. Ружевича, М. Тулли, М. Вилька и др.
В *ИЛ* опубликованы ее переводы автобиографической повести К. Кеслёвского *О себе* [1998, № 11—12], стихотворений В. Шимборской *Две обезьяны Брейгеля, Утопия* [2003, № 5], повести П. Хюлле *Мерседес-бенц. Из писем к*

Грабалу [2004, № 1], эссе А. Стасюка *Сегодня умирают иначе* [2004, № 9], документальной повести В. Тохмана *Ты будто камни грызла* [2004, № 10], романа О. Токарчук *Последние истории* [2006, № 8—10], фрагментов романа О. Токарчук *Бегуны* [2010, № 6], статьи и рецензии.

Ксения Яковлевна Старосельская
Переводчик с польского, лауреат премий *ИЛ* [1986], польского ПЕН-клуба [2004], польского Института Книги *Трансатлантик* [2008].

В ее переводе издавались произведения Г. Сенкевича, Я. Ивашкевича, М. Хороманьского, Т. Конвицкого, В. Шимборской, Т. Новака, В. Мысливского, Е. Анджеевского, М. Хласко, Х. Кралль, С. Хвина, Е. Пильха, О. Токарчук, П. Хюлле и др. В *ИЛ* напечатаны ее переводы романов Т. Новака *Черти* [1975, № 3—4], В. Мысливского *Камень на камень* [1986, № 7—9], М. Хласко *Красивые двадцатилетние* [1993, № 12], С. Хвина *Ханеман* [1997, № 12], П. Хюлле *Касторп* [2005, № 12], повестей Е. Анджеевского *Врата рая* [1990, № 1] и З. Ментцеля *Все языки мира* [2006, № 10], теленовелл Т. Ружевича *Телетрендели* [2006, № 8] и фрагментов его книги *Мой старший брат* [2011, № 5], повести *Монолог из норы* [1999, № 1] и рассказов Е. Пильха [2009, № 2], фрагментов романа А. Барта *Фабрика мухоловок* [2010, № 5], рассказов З. Хаупта [2010, № 8], фрагментов книги М. Шейнерт *Остров-ключ* [2011, № 1] и др.

Мадина Михайловна Алексеева
Переводчик с польского, украинского и английского языков. Кандидат филологических наук

В ее переводе были изданы рассказы и эссе С. Лема, В. Кучока, С. Схуты и др.
В *ИЛ* в ее переводе опубликовано эссе Тадеуша Любельского *Смерть отца* [2008, № 7] и фрагменты книги Ирены Грудзинской-Гросс *Милош и Бродский: магнитное поле* [2011, № 7].

Ирина Васильевна Подчищаева
Филолог, литературовед, переводчик с польского.

В ее переводах издавались рассказы М. Хласко, К. Филиповича, Е. Сосновского, Т. Ружевича, О. Токарчук, эссе С. Лема, главы из книги Я. Л. Вишневского *Зачем нужны мужчины?*, роман М. Нуровской *Супружеские игры*.
В *ИЛ* напечатаны *Письма из Америки* М. Хласко [2000, № 2], повесть Я. Гловацкого *Последний сторож* [2003, № 8], фрагменты автобиографии Я. Гловацкого *Из головы* [2006, № 8; полностью книга вышла в издательстве НЛО в 2007 г.].

Денис Георгиевич Вирен
[р. 1988]. Киновед, переводчик с польского.

Автор ряда публикаций [в том числе переводов] о польском кинематографе.
В *ИЛ* публикуется впервые.

Марина Болевска
Переводчик с польского, с 1995 г. проживает в Польше, руководит собственным бюро переводов и частной школой по преподаванию русского языка.

Переводила театральные пьесы, киносценарии, литературу в жанре фэнтези и нон-фикшн.
В *ИЛ* публикуется впервые.

Виктор Александрович Хорев
[р. 1932]. Доктор филологических наук, профессор, литературовед, переводчик с польского. Удостоен польского Командорского креста со звездой ордена *Заслуги*, медали *За заслуги перед польской культурой*, медали *Объединения европейской культуры* [*S.E.C.*], премии Министра культуры и национального наследия Республики Польша.

Автор более 300 печатных работ. В числе последних публикаций — монография *Польша и поляки глазами русских литераторов* [2005].
Неоднократно печатался в *ИЛ*.

Наталья Горбаневская
Поэт, переводчик, редактор, правозащитник, журналист. С 1999-го — автор, переводчик и редактор в журнале "Новая Польша". Лауреат премий парижской *Культуры* и польского ПЕН-клуба за переводы.

Автор 19 сборников стихов, книг *Полдень. Дело о демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года* и *Прозой. О поэзии и поэтах*, двух книг стихотворений на английском и трех — на польском.
В ее переводе вышли *Венгерский дневник* В. Ворошильского, *Кладбища* М. Хласко, *Поэтический трактат* Ч. Милоша, сборник публицистики *От Вилии до Изара* Ю. Мацкевича, *Иной мир* Густава Герлинга-Грудзинского и др. Переводила также с чешского, словацкого и французского, в том числе *Приглашение* К. Симона [*Континент*, 1988, № 56].

RINET
Internet Service Provider

Интернет в квартиры и офисы

- Надежная связь и высокая скорость доступа — волоконно-оптический канал 1 Гбит/с в каждый дом
- Квалифицированное и оперативное обслуживание
- 15-летний опыт работы RiNet — гарантия качества и стабильности сервиса

Москва, 1-й Хвостов пер., д.11А

981-45-71

www.rinet.net

В оформлении обложки использован фрагмент картины польского художника Марии Нич-Боровяк *Композиция* [1925].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая") ;
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в редакции;
в киоске "Новой газеты" (Страстной бульвар, д. 4);
в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино (Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине клуба "Проект-О.Г.И." (Потаповский пер., д. 8/12, стр. 2, вход со двора; м. Чистые пруды, Китай-город);
в книжном магазине "У Максима" (МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й Гуманитарный корпус; м. Университет);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3);
в книжном магазине "dodo-space" (Рождественский бульвар, д. 10 / 7).

Электронный дайджест журнала:
http://magazines.russ.ru/inostran
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать

Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.

Отпечатано ОАО "Типография "Новости", 105005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.

Присланные рукописи не возвращаются и не рецензируются.

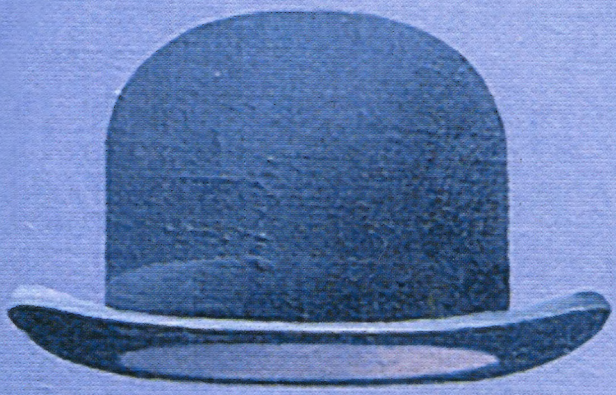
Номер опубликован
при финансовой поддержке
Польского культурного центра
в Москве,
www.ipol.ru,
и
Посольства Республики Польша
в РФ

---

[11] 2011

БЕЛЬГИЯ: СЛОВА И ОБРАЗЫ — РОМАН ГРЕГУАРА ПОЛЕ "ДА ПРОСТЯТСЯ ОШИБКИ КОПИИСТА" / ПОВЕСТЬ ФРАНСУА ЭММАНЮЭЛЯ "ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР" / РАССКАЗЫ АМЕЛИ НОТОМБ, ТОМАСА ГУНЦИГА, МИШЕЛЯ ЛАМБЕРА И ДР. / ПЬЕСА МАРГЕРИТ ЮРСЕНАР "ДИАЛОГ В ТРЯСИНЕ" / РЕНЕ МАГРИТТ И ДЖЕЙМС ЭНСОР В РУБРИКЕ "СЛОВА И ОБРАЗЫ" /ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ: СТИХИ ЖОРЖА РОДЕНБАХА

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Узнай завтрашних классиков!

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала "Иностранная литература" :
г.Москва, ул.Пятницкая, д.41

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2011, №10, 1-288

ISSN 0130-6545 11010

9 770130 654770